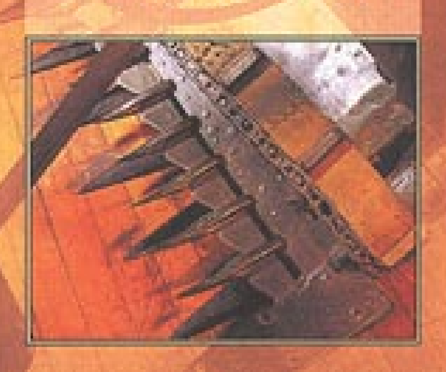
россия в мемуарах

Афанасий Фет

ЖИЗНЬ СТЕПАНОВКИ *или* ЛИРИЧЕСКОЕ ХОЗЯЙСТВО



Жизнь Степановки, или Лирическое хозяйство //Новое литературное обозрение, 2001
ISBN: 5-86793-137-4
FB2: "fb2design", 08 August 2011, version 2.0
UUID: 099B1648-C30F-47A3-9411-FDE00C2C932D
PDF: org.trivee.fb2pdf.FB2toPDF 1.0, 09.08.2011

Афанасий Афанасьевич Фет

Жизнь Степановки, или Лирическое хозяйство

Не все знают, что проникновенный лирик А. Фет к концу своей жизни превратился в одного из богатейших русских писателей. Купив в 1860 г. небольшое имение Степановку в Орловской губернии, он «фермерствовал» там, а потом в другом месте в течение нескольких десятилетий. Хотя в итоге он добился успеха, но перед этим в полной мере вкусил прелести хозяйствования в российских условиях. В 1862–1871 гг. А. Фет печатал в журналах очерки, основывающиеся на его «фермерском» опыте и представляющие собой своеобразный сплав воспоминаний, лирических наблюдений и философских размышлений о сути русского характера. Они впервые объединены в настоящем издании; в качестве приложения в книгу включены стихотворения А. Фета, написанные в Степановке (в редакции того времени многие печатаются впервые).

Содержание

Автор
Книга

«Лирическое хозяйство» в эпоху реформ

[Текст отсутствует]

Заметки о вольнонаемном труде

Авторитет умер, да здравствует авторитет! Тем лучше: следовательно, всяк — авторитет. Вот во имя этого *всякого* решился и я писать эти заметки.

Где-то я вычитал, что помещики переводят будто бы псовую охоту, но охотников до фраз у нас с каждым днем прибывает. Фраза — это ассигнация, давно потерявшая номинальную цену и обращающаяся за деньги только между людьми неопытными. Подобные фразы в нашей литературе сыплются градом со всех сторон. Читает их публика или не читает? Кто ее знает! Но рано или поздно придется фальшивую бумажку вынимать из обращения и кто-нибудь за нее да поплатится. Итак, прочь фразы, в какую бы сторону они ни гнули. Говорить о деле надо добросовестно и прямо. В заметках моих я выскажу не только факты, идущие, по-моему, к делу, но и те соображения и ощущения, которые вызвали меня на тот или другой шаг.

Словом, я буду рассказывать, что я думал, что сделал и что из этого вышло. Хорошо так хорошо; худо так худо, лишь бы правда была. Не одна тысяча людей пойдут теперь моею дорогой. Если мой читатель еще менее меня опытен в земледелии, то я порадуюсь возможности быть ему хотя сколько-нибудь полезным, крикнув впотьмах: тут яма, держи правей, я уж в ней побывал; а если он сам дока, то ему и книги в руки, а я с особенною радостью и жадностью стану слушать его советы. Заподазривать меня в пристрастии к старому порядку или в антипатии к вольному труду нельзя. Я сам добровольно употребил на это дело свой капитал и бьюсь второй год лично над этим делом. Последняя щепка на дворе у меня точно так же куплена и привезена за деньги, как и то перо, которым я пишу эти заметки. Итак, к делу, in medias res[1].

I. Осмотр имений

Года за три еще до манифеста бездеятельная и дорогая городская жизнь стала сильно надоедать мне. Правда, в Москве проживал я только осень и зиму, а на лето ездил в Орловскую губернию, в имение сестры моей Б. Прекрасный старый сад, чудная река Зуша, шоссе в 6 верстах, хорошее соседство — кажется, чего бы еще хотеть? Но сделаться зрителем, быв всю жизнь деятелем, тяжело, и я стал сильно подумывать о постоянной деятельности. Мне пришла мысль купить клочок земли и заняться на нем сельским хозяйством; но первое условие, чтобы мне никто не мешал делать, что и как я хочу, и чтобы то, что я считаю своим, было мое действительно. Для меня всякое неопределенное состояние тягостнее всего. Мысль о подобной покупке преследовала меня все более и более, и в 1859 и 60-м годах я пустился в розыски земли, подходящей под мои требования. Не стану исчислять все мои попытки. Я искал непременно незаселенной земли, хотя с небольшим лес-

ком, рекой, если можно, и готовою усадьбой, не стесняясь губернией, лишь бы не слишком далеко от моей родины Мценска. Разумеется, это *не слишком далеко* иногда, при сговорчивости с самим собою, выходило и очень далеко: в Ярославле, Смоленске, под Москвой и т. д. Попав прямо со школьной скамьи на коня во фронт, я всю жизнь не имел никакого понятия о ходе земледельческих занятий, но, подумав, что этим делом правят у нас на Руси и безграмотные старосты, я махнул рукой на земледельческую школу и решился приступить к делу в качестве слепца. При мысли отдохнуть среди своих полей, где, как говорит Гораций:

Вкруг тебя с ревом пасутся коровы.
Ржет кобылица, в четверку лихая, —

меня не покидала и другая: не затевать пустой игрушки, которая не окупит положенных на нее трудов и издержек, а, следовательно, надоест и отобьет охоту к занятиям, чего мне не хотелось. Я хотел, хотя на малом

пространстве, сделать что-либо действительно дельное. Для этого первое условие, чтобы земля по местным данным не обошлась слишком дорого. Представился случай купить имение под Серпуховом. Владелец просил за 250 десятин с крестьянами по 30 р. серебром за десятину, а когда я заговорил об уступке ста десятин чистой земли, он запросил по 40 р., да за домик в три комнатки и плохой скотный двор 2000 р., следовательно, 6000 р.; да купчая, да переноска старых и постройка новых необходимых строений, закупка скота, орудий — и выйдет, что надо истратить 10 000 р. Почва серенькая, кругом десятин сорок мелкого березника, десятин 20 плохого покоса да десятин по двенадцати в трех клинах. Я стал расспрашивать о заработной плате и узнал, что в Московской губернии годовая цена не ниже 60 р. да прокормить рабочего дай Бог за 30 р., а урожай на пресной (ненавозной земле) много-много 6–7 копен, следовательно, от 3 до 4 четвертей (и то много на десятине), кроме семен. Все эти подробности я узнал от местных крестьян и извощиков, которых постоянно обо всем рас-

спрашивал. Стоило только свести счеты, чтобы прийти к следующему результату. На двенадцати десятин в поле надо трех работников: прибавив кухарку, пастуха и так называемого подпаска, выйдет, что на пять рабочих надо издерживать не менее 500 р.; да надо же если не на прикащика, то хотя на старосту (он же и ключник) положить 150 р., итого 650 р. Прибавив по 6% с 10 000 р. затраченного капитала 600 р., получишь расхода 1250 р., а прихода: 12 десятин ржи по 3 четверти — 36 четвертей, продавайте хоть по 4 р. на месте — 144 р. Что касается до ярового, то оно едва ли могло дать столько же, так как овес в Москве в то время я из лавки покупал по 2 р. за четверть, а когда в предлагаемом имении взглянул на сено, то, увидав какой-то темный мох, оставил надежду получать от него выгоду. Итак, самое поверхностное столкновение с действительностию на этот раз совершенно разочаровало меня в возможности вольного земледельческого труда в этой местности. Какая же это земля, которую надо возделывать в явный убыток? Это было весной 1860 года. Разочарованный, я поехал в Орловскую гу-

бернию. Здесь, по разным соображениям, я готов был на все возможные с моей стороны уступки, лишь бы поселиться вблизи Мценска. Нашлась и тут ненаселенная земля, и уже не 100, а 600 десятин, не по 40, а по 60 р. Это не Московская, а Орловская губерния. Вспомнив, что Т., зная мою опытность в сельском хозяйстве, еще в Петербурге взял с меня слово ни на что не решаться, не посоветовавшись с его дядей, я обратился к последнему за советом. После многих усилий с своей стороны, почтенный Т. сумел унять мой пыл, доказав мне цифрами, что, заводясь вновь на такой значительной даче и взяв в соображение грунт не первого качества, нельзя и помышлять, при вольнонаемном труде, не только о барыше, но и о возможности вести какое-нибудь хозяйство. Оставил я и это дело. В начале августа 60-го года был я у родственника моего Ш., проживающего в своем имении по старой мценско-курской дороге, в 60 верстах от Мценска и в 35 от Орла. «Ты ищешь землю? — спросил меня Ш., - близ меня продается земля. Дорого — 80 р., но земля отличного качества: чернозем, 200 десятин в одной ме-

же, от нас верстах в трех через поля, а в объезд — верст пять. Строенья всего — новый, еще не отделанный домик отличного лесу да новый скотный двор. Надо многим обзаводиться, а наличных, верно, у них нет; вот они и продают. Есть и лесок». — «Есть ли вода?» — «Колодезь, но можно по местности вырыть пруд». — «А река близко?» — «Река верстах в семи». — «Это неутешительно, однако нельзя ли посмотреть?» Нам подали верховых лошадей, и мы отправились в недальний путь. «Видишь ли тот лесок, — сказал Ш., - а под ним черную полосу? Это взмет на твоей земле». — «На моей, если куплю». — «Посмотри, какой чернозем, — заметил он, когда мы стали переезжать через поле, приготовленное под сев ржи, — и как славно возделана земля, поверь, никто не придерется». Действительно, лошади тонули по щиколки в пухлой пашне. Наконец завиднелся одинокий домик с соломенною кровлей и подле него скотный двор, с которого спускали стадо, когда мы подъехали к забросанному свежею щепой крыльцу, сопровождаемые злобным лаем двух лохматых собак. Мы объявили свое

желание видеть дом. Молодые хозяйские дочери повели нас по недоделанным и кое-чем меблированным комнатам с извинениями, что семейство только неделю тому назад переехало сюда и что все еще кое-как. И очень: над рамами были сквозные щели в ладонь, заложенные стружками; а заводя хозяйство, надо тут жить самому. «Ну, — подумал я, — это все успею сделать. Мебель какая-нибудь на время есть, а там из Москвы подвезут». — «Расположение комнат мне нравится», — сказал я по-французски Ш., не желая вводить продавцов в наш разговор. «Il y a encore une cuisine ici»[2], — отозвалась неожиданно и довольно неисправно одна из молодых хозяек, отворяя дверь. Оказалась действительно премилая кухня, там, где она ничему не мешает, а между тем близко.

Вообще домик в семь небольших комнат для двоих достаточен и удобен. Не отделан, но это дело прихоти. «Ну как тебе понравился твой будущий хутор, — спросил Ш. тем же шутливым тоном, когда мы возвращались домой. — А заметил ты табун?» — «Ну, брат, нечем похвастать!» — «Напрасно ты так гово-

ришь. Лошади худы, но ты их видел мельком. А они хорошей породы, я это знаю». — «А как ты думаешь, — спросил я в свою очередь, — что может стоить полное устройство этого хутора, считая орудия, постройки, земляные работы, пруд, скотину, одним словом, все, без чего нельзя хозяйничать?» — «Да тысяч до 33, а может быть, и побольше». — «Сколько же он может, по-твоему, дать доходу?» — «Сочти сам: 55 десятин в поле. На этой земле надо считать 400 четвертей в продажу ржи по 3 р. — 1200 р. да ярового на 500 — из этого на рабочих». — «А какая тут цена рабочим годовым?» — «Твой продавец нанимает по 25, а тебе десяти человек довольно». — «Да ведь это отлично. Следовательно, можно получить до 1500 р. в год, то есть то же, что дает 25 тыс., капитал по 6%. Я не гонюсь за барышами, лишь бы убытку не было». Разговор до самой усадьбы Ш. продолжался в этом роде, и я был совершенно доволен, что наконец-таки нашел, чего искал. При вторичном осмотре в сопровождении самого продавца, с которым уже я сходился, оказалось все в удовлетворительном виде: и рогатый скот, и лошади, и се-

нокосы до 30 десятин, давшие в текущем году до 3000 пудов сена. Надо было решиться. И при каких же более благоприятных условиях пускаться на вольнонаемную обработку земли? Почва прекрасная, рабочие дешевы, сбыт не слишком затруднительный. От добра добра не ищут. Я решился.

II. Покупка

Когда мы сошлись в цене с продавцом, человеком, далеким от науки, но не от практики, он в виде любезности высказал мне некоторые советы, тем более что я без зазрения совести сознавался в моем неведении. Однако неведение неведением, а надо же составить какой-либо план и что-нибудь делать. Он первый подал мне мысль разделить пашню на четыре поля, указав на убыточность трехпольной системы при вольнонаемном труде. Намек этот я тотчас же принял к сведению и в настоящее время развил его в особенную систему, которая, вероятно, уже существует в науке, и потому честь изобретения не останется за мной. Но об этом в своем

месте. Накануне, можно сказать, необходимости стать лицом к лицу с самим делом я на первый раз не столько заботился отыскать для себя материяльную, сколько моральную исходную точку. Надо было прежде всего иметь в руках рабочую силу, а когда она есть, можно исправить даже ошибку, не говоря уже об исполнении здравого плана. Итак, прежде всего мне нужно было определить мои отношения к рабочим. Там, где нет дружбы, признательности и т. п., отношения должны основываться на справедливости, а в деле обязательств справедливость состоит в добросовестном их исполнении. Нанимая рабочего, я обязуюсь его тепло поместить, сытно кормить здоровою пищей, не требовать работ свыше условия и исправно платить заработки. Кроме этого, мне хотелось, чтобы они чувствовали, что я дорожу их благосостоянием. Желая раз навсегда покончить с содержанием, скажу, что и сколько именно дается у меня рабочим харчей в неделю: 3 дня щи с салом 1 1/2 фунта на 15 человек; 3 дня щи с солониной по 1/2 ф. на человека; 2 постные дня с конопляным маслом 2 ф. в неделю

на 20 человек. Молока, если можно, по штофу на человека, хлеба и картофелю сколько поедят. Зимой соленые, летом свежие огурцы и лук. Круп ровно вдвое против солдатского пая, из которого в артели выходит хорошая каша. Едят три раза в день: за завтраком, обедом и ужином. Кроме того, каждый берет с собою хлеба за пазуху, если хочет. Эта статья, как потом оказалось, довольно важна. На днях пришел ко мне наниматься работник. Отчего же, спросили его, ты не остаешься на прежнем месте? или капитал (так они называют харчи) плох? «Нет, капитал ничего, да после еды хлеб запирают». И он идет искать места, где хлеб можно жевать целый день. Но исполнением обязанностей к рабочим не исчерпываются мои к ним отношения. Вопрос главный и трудный в том, должен ли я стоять к ним близко или отдаленно и действовать через посредствующее лицо, прикащика или старосту? Первый способ, которого придерживался мой предшественник, имеет свою выгоду. Если хозяин, поступив бестактно, нанесет вред экономии, то платит за собственные промахи, а при посреднике он рискует

расплачиваться за чужие. О жалованье и содержании надсмотрщика, падающих на экономию, я уже и не говорю. С другой стороны: надсмотрщик идет будить рабочего, звать на работу и становить на нее Ивана, когда на нее хотелось бы Сидору, и его непременно встретят ропотом, а спросонья и бранью. Кроме того, если не послушались надсмотрщика, есть инстанция выше — хозяин; а не послушались хозяина, надо судиться. Сообразив всё это, я решился взять надсмотрщика. Но хорошо решиться, а где его взять сейчас в степи? Продавец, выпросив у меня позволение оставить свое семейство на неделю в доме и отвести для меня небольшой кабинет, взялся и тут помочь мне и рекомендовал, как он говорил, доброго и честного старика Глеба. Послали за Глебом. Явился Глеб, более похожий на седого сыча, чем на человека. Ну, да тут некогда быть разборчивым! Надо с тем, что есть, приступать к делу. Я приговорил Глеба. Лицом к лицу с самим делом пришлось мне стать 13 августа 1860 года. Вечером, когда рабочие кончили возку ржи, мы с прежним владельцем велели позвать их, чтобы с глазу

на глаз свести с ними счеты, так как в качестве годовых они обязаны были дожить до условленного срока у меня и дополучить причитающиеся им деньги. Я между тем послал взять водки в ближайшем кабаке, чтобы для первого знакомства поднести всем по чарке. Наступала вторая половина августа, дел предстояло много впереди, и я второпях поселился в кабинете безо всего. Со мной не было даже слуги, а обедать я ездил верхом ежедневно к Ш. Водку привезли, но надо же было ее из чего-нибудь наливать во что-нибудь. Я вспомнил про стоявший у меня рукомойник, а вместо среднего стакана нашлась порядочного объема чайная чашка без ручки, и дело уладилось. Казалось, еще легче было бы уладить дело с рабочими. «Вот я им продал имение, ребята, — сказал продавец, — и теперь, передавая все с рук на руки, я должен передать и расчеты с вами. Ну ты, Андрон, живешь до заговин (15 ноября)?» — «Так точно». — «Тебе остается получить 2 р. 20 к.? а остальные ты получил?» — «Получил». — «Ну, а ты, ну, а тебе?» — и т. д. «Ну, а ты, Гаврило? Ты тоже до заговин?» — обратился он к

рыжеватому с прямыми волосами как солома и прыгающими глазами дюжему мужику. «Точно так-с», — ответил Гаврила каким-то небрежно-внушительным тоном. «Ты взял у меня четверть ржи в счет жалованья?» — «Точно, взял-с (тем же внушительным тоном), мы не отказываемся. Никогда не могим этого сделать». — «Тебе приходится 5 р.?» — «Так точно-с — 5 р.». — «Да за рожь мы с тобой клали 2 р. 50 к. Вот тебе и следует получить 2 р. 50 к?» — «Помилуйте-с, как же — это мне, значит, задарма приходится жить?» — «Как задарма?» — «Да это уж нам отчинно обидно». — «Но ведь тебе следует 5 р.; 2 р. 50 ты получил рожью, да 2 р. 50 получишь деньгами». — «Да помилуйте-с, это нам...» — и т. д. Кое-как эти словопрения кончились. Я взял в руки поданный мне лист, на котором были записаны имена всех рабочих с обозначением годовой платы и полученных рабочими денег. Всех годовых было пять, из которых четверо получили по 25 р. серебром в год, и только один красивый малый Иван, как значилось, получал 30 р. «Вы получаете по 25 р. в год?» — спросил я. «Точно так, батюшка». —

«А ты, Иван, 30 р.?» — «Так точно-с». Умывальник между тем делал свое дело. Глеб таинственно подошел ко мне шепнуть: «Водки осталось, не прикажете ли по получашечке еще?» — «Пожалуй». Все поблагодарили, и аудиенция кончилась. Я отдал приказание касательно работ следующего дня и совершенно покойный отправился читать на сон грядущий. Каково же было мое удивление, когда на другой день Глеб объявил мне, что у нас неблагополучно. «Что такое?» — «Да рабочие не хотят идти на работу и говорят, что не будут жить». — «Почему?» — «Да они как узнали, что Ванька получал 30 р., а они только по 25, так обижаются». Я обратился к прежнему владельцу с просьбой разрешить мне эту чепуху. Ведь это вольный труд. Никто никого не принуждал наниматься на год за известную плату. Что же тут обидного, что другой получает более меня из той же экономии? Воображаю, как бы изумился редактор журнала, если бы, взяв большую часть денег за статью, автор отказывал ему в рукописи только потому, что узнал накануне о двойной цене, платимой редакцией другому. По-

добного человека даже не назвали бы бесчестным, а просто помешанным. Сказать в их оправдание, что они договаривались с одним лицом, а имеют дело с другим — нельзя. Во-первых, им плата за работу, а не за личные отношения, во-вторых, они сами это осознают и не делают различия между нанимающими, а только требуют высшей против условия платы, потому что один по каким-либо соображениям получает такую. «Вы сделали, — сказал мне продавец, — вчера большую ошибку, объявив цену Ивана. Мужикам ничего не надо объявлять подобного, теперь их сам черт не уломает». Я подумал, что черта искать далеко, а уломал бы становой, живущий за 25 верст, да ведь мне надо приучать, а не отучать от себя рабочих. И что за радость начинать дело судебным разбирательством, тратить и так почти уже упущенное время, рассылать лошадей и людей и под конец, хотя бы дело и решилось в мою пользу, три месяца возиться с людьми недовольными? «Что же вы мне посоветуете делать?» — спросил я. «Да я им скажу, что вы по расчету от себя набавляете помесячно против Ивана. Это вый-

дет копеек 40 в месяц. Всего каких-нибудь 5 р. до заговин». В сравнении с предстоящими издержками 5 р. действительно ничего не значили, но дело не в них, а в том, что почва уже зыблется под ногами. Если повар, кучер и т. п. вздумают пускаться в такую логику, то я еще могу как-нибудь заменить их на время. Все-таки это аксессуар. А вольнонаемный земледельческий труд без рабочих в последнее рабочее время — это страшный дефицит на целый год. Я воспользовался данным мне советом и скрепя сердце, против принципа, прибавил по 1 р. 20 к. на человека. Дело пошло мирно.

III. Необходимое устройство

Разделив, пока только в уме, свою запашку на 4 клина по 40 десятин в поле, я расчел, что, полагая по 5 десятин на рабочего, мне надо иметь 8 рабочих и 16 рабочих лошадей (крепостные рабочие, если взять в соображение господскую запашку и их собственный надел, обрабатывали в наших местах гораздо большее количество земли). Прибавьте к этому заводчиков, жеребят и подростков, всего будет 25 или 30 лошадей, да 8 или 10 штук рогатого скота, всего штук 40. Это уже последнее minimum, так как вольный земледельческий (не буду употреблять более последнего эпитета, потому что только о нем и говорю) труд только и может рассчитывать на возможно улучшенный и высший способ хозяйства. Возможным я буду называть экономически, а не материально возможный способ. Алюминий химически и материально очень возможен. Из него продают безделки. Но экономически он пока невозможен; овчинка не стоит выделки. Не забираясь на особенную

высоту и отбросив четвертое поле, мы имеем в трех клинах по 40 десятин, всего 120 десятин. Порядочный хозяин при крепостных рабочих обходил свои поля удобрением в десять лет. Высота не чрезмерная, но мне приходится добиваться возможности удобрять по этому расчету 10 десятин, что, принимая самое умеренное удобрение по 360 возов на казенную десятину, составит 3600 возов. Я застал у моего предшественника штук 50 скота, и результат — удобрена всего одна десятина. Старый Глеб знал прежнее хозяйство как свое и чуть ли не помогал прежним хозяевам. «Помилуй, Глеб, — спросил я, — да где же ваш навоз?» — «Да вот, сударь, туда да сюда, да и весь тут». — «Куда же туда и сюда?» — «Да вот на эту десятину». (Заметьте, около самого скотного двора.) — «Как же: от пятидесяти штук скота только одна десятина?» — «Да помилуйте, скотину-то нельзя сказать, чтобы зимой кормили, а бедствовали, не приведи Бог. Силы нет самому засеять и ужать; все исполу да исполу, все равно как и в нынешнем году, как вам известно. Стало быть, и хлеба-то только наполовину с грехом пополам. Риги

нет, молотильного сарая тоже, а вьюга по неделям не дает молотить; вот и кормили снопами, да колодезь неглубокий и в низком месте, и промерзает, и засыпает его снегом; так, бывало, руки в кровь обдирают, докапываются до воды; скотина по два дня стояла не пивши; вот весной ее за хвосты и подымали». — «Положим, что ржи мало, и на этот год мы приняли с тобой всего триста копен. Вы и в нынешнем все исполу да исполу; но отчего же у вас в этом-то году свой овес и гречиха из рук вон плохи, а кругом порядочные?» — «Да тоже неуправка-с. В прошлую осень под яровое поднять не успели, а весной по непаханому раскидали семена да и запахали, вот оно и пропало».

Картина разлагающегося хозяйства может ли быть еще полнее? Остается только одна ступень ниже: не засевать полей и уморить скот с голоду. Не забудьте, что предшественник мой — человек в десять раз практичнее меня и выросший на полевом хозяйстве. Но вот что наделало новое хозяйство без значительного капитала для обзаведения и оборота. И на какой почве? На первейшей, можно

сказать, в мире! Сообразив эти печальные факты с настоящим моим положением, я отбросил все научные требования насчет количества скота по отношению к количеству земли. Тут уже не в том дело, много ли скота, а как бы не потерять того, который есть. Ведь и мне предстоит такая же зима и те же 300 копен ржи, 100 копен овса да 50 копен пустой гречихи, которая много что даст всего 6 или 8 четвертей, — а мне их на посев и кашу надо, по крайней мере, 40 четвертей, тот же овин, в три копны, без молотильного сарая, и тот же колодезь, который придется разрывать окровавленными руками полтораста раз, а рабочего времени остается не более двух месяцев. Что же необходимо сделать для избежания бедствий и, пожалуй, драматических катастроф? Во-первых, нужна контора для приказщика и помещение для моей личной прислуги, которая должна же когда-нибудь явиться; во-вторых, молотильный сарай с кузовом для будущих молотильной и веяльной машин; в-третьих, ледник, без которого, не говорю уже о моей кухне, рабочие должны оставаться все будущее лето без мясной пищи. Ледник надо

набивать льдом, а где он? Стало быть, в-четвертых, надо пруд, а при разбивке молодого сада, требующей поливки, и другой в саду, да, в-пятых, надо сейчас же сад и усадьбу окопать рвами и обсадить ракитником; по расчету выходит верста канавы. В-шестых, нужен погреб для рабочих и картофельная яма. Ко всему этому надо, по расчету времени, приступить не только сию же минуту, но, если бы возможно было, — вчера.

Семейство продавца наконец уехало в город, оставив мне, разумеется за деньги, кое-какую мебель, и ко мне приехал мой слуга. Возвращаясь верхом от Ш., вижу ежедневно в моем лугу стада свиней, которые взрывают и портят его немилосердно. Вольное хозяйство без травосеяния невозможно. Поэтому в моем хозяйстве нет и не будет свиней, а это свиньи соседних крестьян и дворников. Еще до травосеяния далеко; не истребляйте хотя того, что посеяно природой! Надо отрывать людей от необходимых работ и загонять свиней. Являются хозяева с плачем и лживыми клятвами, но назавтра те же свиньи в саду, в огороде, по лугам, та же гонка за ними и та же по-

теря времени, а луга испорчены.

Однажды вернувшись от Ш., вижу, полы в доме отвратительно мокры. «Или тут мыли полы?» — спрашиваю я слугу. «Помилуйте-с, это сильный дождь шел, так сквозь потолок, как сквозь решето, льет; ведь потолки не насыпаны». Все это мило, подумал я, но ведь мне уехать отсюда нельзя, не устроив необходимого. Глебу впору будить рабочих, а где же ему распорядится таким сложным делом, какое предстоит нам. И без того на вопросы мои, отчего не допахали, он, вздернув слезливо нос, отвечает: «Мочи моей нет, не слушают. Просишь, просишь: ребятушки! время запрягать, а они норовят за хлеб, а не то за трубку». Однако потолки-то надо обить войлоками да насыпать возов сорок золы; без этого тут не проживешь до декабря. Строиться в городе и в степи — две вещи совершенно разные. Там специалист вам скажет, что делать, а подрядчик за деньги даст рабочих. Здесь придумай сам; ошибся — сам плати за ошибку, в которую тебя, из-за каких-нибудь личных расчетов, втягивает рабочий; да прежде чем нанять, скачи во все стороны

отыскивать специальных рабочих, которых часто во всей округе нет.

На мое счастье, неожиданно явился подрядчик-копач, бессрочный солдат Михайло, по наружности расторопный и честный. Но как судить по одной наружности? «Есть у тебя вид?» — «Могу достать у командира гарнизонного батальона». — «Доставай и приходи; без вида не возьму». Мы осмотрели местность прудов, из которых один приходилось рыть в сажень глубины, а другой только в пол-аршина. Условились, по дорогой по здешней цене, по 1 руб. с кубической сажени. «Сколько же ты поставишь рабочих?» — «Человек двенадцать». — «Стало быть, и тачек тебе надо столько же?» — «Точно так». — «А сколько досок?» — «Штук сорок». — «Хорошо, ступай да приходи поскорей, не то не успеешь вырыть прудов и канав». — «Помилуй Бог, ваше высокоблагородие, как не успеть! Только уж явите божескую милость, не передавайте никому другому работы». — «Зачем же я стану передавать, если ты ее сам сделаешь? Ведь мне все равно, кто бы ни сделал». — «Ну, на этом покорнейше благода-

рим». Что касается до небольших построек, и тут уже не ладилось. К моему счастию и превеликому горю всей округи, начиная от 12-ти и даже до двух верст, сводят с неистовством последние одинокие лески. Разумеется, свой я берегу как зеницу ока, а то летом придется сгореть на солнце. Срубы я купил сходно; нанял плотников и подрядил подводы. Разумеется, последнее страшно дорого. И камень на ледник нашелся за семь верст по 4 р. за сажень да перевозка столько же. Класть печи и ледник и исполнить всю каменную работу взялся Василий, красивый, зажиточный, сметливый и в высшей степени плутоватый мужик из имения Ш. Он занимается всем и всюду поспевает. Каменную и штукатурную работу хоть во дворец, бьет конопляное масло в большом количестве, выделывает кожи, ездит в извозы; словом, на все руки, но иметь с ним дело — пытка. Никакая логика не может вытащить его на предварительную смету или условие. Явился и Михайло-копач, и к нему стала подходить артель. Давай досток, материялу на тачки и чугунных колес.

Но главным камнем преткновения явился левиафан — молотильный сарай. На него одной соломы, не говоря о решетнике и хворосте, нужно возов 200, а у меня на все продовольствие, дай Бог, 200. Соломы в прошлом году родилось мало; я приценился, и с меня крестьяне просили рубль серебром за воз. Рубить и строить новый такой сарай не успеешь. Положим, с соломой материялу в нем на 300 р. серебром; да надо под него 300 подвод, а подвода стоит 30 к. серебром; да наем плотников. Следовательно, не успеешь, и страшно дорого. При ежедневных свиданиях с Ш. я жаловался ему на невозможность поспеть с молотильным сараем. «Купи у меня, — заметил мне Ш. — Мне надо молотить, а сарай мой мне мал. На хуторе (версты за две от его усадьбы) у меня есть сарай побольше, так я сделаю вот что. В том, который ты купишь, молотить будут до тех, пока хуторский не наденут на него как чехол, а тогда я велю твой вынуть и отвезть к тебе, поставить и покрыть. Когда мой будет готов — твой поставят в неделю. А то мой теперешний пропадет даром, и его растаскают на дрова». Мы со-

шлись в цене, и я поуспокоился.

IV. Осенние хлопоты

Посреди всевозможных хлопот август и сентябрь промчались незаметно. Озими взошли прекрасные, но от свиней и лошадей отбою нет. Я пожаловался становому, и тот объявил, что если я буду добродушничать, отдавая загнанный скот, то никогда не отобьюсь от него. Камень привезен, яма для ледника выкопана в четыре аршина глубины, и артист Василий поставил брата своего класть стены. Когда рыли ледник, уже на двухаршинной глубине показалась вода, но в ясную погоду он высох совершенно. Тем не менее я заметил Василию, что он стены кладет без бута. «Помилуйте-с, да разве нам впервой! Я головой отвечаю, что ему ничего не сделается. Все равно: стены становятся на материк, и бут станет на материк». Я, к несчастью, дозволил себя убедить и имел потом причину горько в этом раскаиваться. Плотник-подрядчик нашелся и перевезть, и поставить контору; но людей у него мало. Надо поспешать да го-

товить сруб на ледник. Поэтому я нанял еще плотников помесячно, по совету подрядчика, и отдал их ему под присмотр. Возка лесу, работа в саду, щепа и мусор на дворе, ненужные канавы, которые надо засыпать, — необходимо взять поденщиков. Глеб говорит, что у них на Неручи много. Явились и поденщики: 1 р. 30 к. в неделю, 5 р. 20 к. в месяц. Дорого, но делать нечего, лишь бы работы подвигались. Посреди рабочих торчит если не подрядчик, по крайней мере колоновожатый Алексей с вострым носом и физиономией коростеля. «Уж мы для вас постараемся, равно для себя. Вот и Глеб Михалыч про нас известны». Хомутов и телег немного, надо будет зимой все это завести и хорошо, и вдоволь. А между тем при возке лесу всякий день то клеща пополам, то ось, то колесо. Мужик, видно, не свое ломает, а мое. Но да делать нечего, надо как-нибудь вертеться. Глеб все более и более жалуется на непослушание рабочих. Да сохи давно не допахивают десятины (на моих переменных лошадях). Наконец, некоторые без спросу прямо с поля уходят на ночь домой за семь верст, бросая лошадь и соху на руки то-

варища, который и свою-то не уберет как должно, а ушедший придет завтра утром уже на поле и примет свою лошадь готовою из рук товарища, который терял время на запряжку двух сох. Независимо от убытка, что за беспорядок и какова наглость! Если нужно, спросись и ступай, а то каков пример? Будто это вольный труд? Это воровское безначалие. Однако этого терпеть нельзя, и я выехал утром в поле, где нашел лошадь и соху Андрона без пахаря. «Где Андрон?» — спросил я остальных. «Он сейчас придет». — «Я не спрашиваю, скоро ли он придет, а где он?» — «Дошел до дому». — «Хорошо». Я поехал осматривать пашню, довольно мелкую и с огрехами (непропаханными кусками). У помещиков-хозяев не допускалась даже мысль об огрехах, за которые с виновных взыскивалось строго. Но там можно было взять во внимание, что пахарь бережет собственную лошадь, а тут — уж не мою ли, которую он бросает без призору, и уходит домой? Явился и Андрон. На этот раз я объявил о том, что если подобная выходка повторится, я не пожалею послать за становым, хоть придется целых

пятьдесят верст сделать, и буду просить о примерно строгом взыскании. На рвах, где вырывают ракитник, чтобы засыпать и сровнять канаву, я увидел поденщика Алексея с грязною тряпкой на глазу. «Что это у тебя?» — «Да застегнул ракитником глаз». — «Давно ли?» — «Третьего дня». — «Что ж ты мне ничего не сказал?» — «Да думал: авось ничего». — «В обед приходи ко мне».

В двенадцать часов явился Алексей. «Сними тряпку». Глаз очень красен и воспален, и на зрачке начинает образовываться бельмо. Человек может окриветь и непременно окривеет, если не помочь ему. «Сегодня едут в Орел, и ты поезжай. Вот тебе записка к инспектору врачебной управы, а между тем вот чистые тряпки и капли». Я вспомнил, что в полку, на пыльных степных маневрах, я и себе и солдатам нередко лечил глаза свежею водой, в которую вливал несколько капель одеколону. В Орле я просил приятеля и соученика доктора осмотреть пациента и прописать что нужно. Прописали мушку за ухо и какие-то капли. На третий день посланный вернулся с Алексеем и привезли лекарства,

разумеется, на мой счет. Я простриг больному затылок, налепил мушку и показал употребление капель. Через три дня он был на работе, с ясным и здоровым глазом, а через два дня затем явился Глеб с восклицаниями: «Как вам угодно, сударь! Или вы меня извольте отпустить, или Алешку прогоните». Я стал ему говорить, что пора на работу, ведь они эва какую цену лупят! а он меня всячески иссрамил при всех и говорит: «Я тебя прежде боялся, а теперь я тебя знать не хочу и живу здесь только из-за денег». Какова логика? Как будто он делает одолжение, что берет даром деньги? В настоящую минуту, когда я уже обстрелян достаточно, я бы ограничился простым актом изгнания нелепого поденщика. Это не годовой рабочий, я с ним ничем не связан, а всех дураков учить ни времени, ни охоты недостанет. Но тогда этот факт меня возмутил. Третьего дня я его вылечил на свои деньги и, можно сказать, своими руками, а сегодня он готов на все гадости! Мне удалось усовестить Алексея, и с этого дня он во всю осень изо всех поденщиков стал отличаться кротостию и трудолюбием; после он умолял дать

ему весной работу. Но вот годовой рабочий Иван, яблоко раздора в первый день между рабочими, румяный и здоровый малый, получавший больше всех годового жалованья, объявляет, что не будет доживать до срока. «Как же ты это не хочешь?» — «А если ж я болен и не могу работать?» (Я узнал, что его переманивают в город в дворники, где он и по сей день.) Денег за ним не было, и я отпустил его, избегая жалоб, хлопот и проч. Но как подрывается принцип? Куда теперь! В страшных хлопотах не до принципов, лишь бы довести дело до новой наемки. Однако при этом обстоятельстве я начал смутно понимать, что это не вольный труд, а что-то не то.

Контора моя воздвигается; зато сруб ледника мало подается вперед. Яковрядчик очень просто расчел, что ему выгодней отпустить своих рабочих и взять от ледника моих. Таким образом, он за контору получил деньги огульно по подряду и делает дело на мой счет. «Что ж, Яков, где ж твои рабочие?» — «Да вот, разошлись по дворам молотить, а как мы контору-то кончим, я вашей милости поставлю народ на ледник». — «Мы

опоздаем». — «Помилуй Бог! с чего?» Разумеется, и опоздали, и я заплатил вдвое. Где же разбирать, чей рабочий клал то или другое бревно?

Михайло-копач с своею артелью пыхтит, а дело подвигается туго. Большого пруда вырыта половина, а за маленький и не принимались. Утром, у крыльца, мне попались два приземистые мужика, с пушистыми светло-русыми бородами на подобие веера. «Что вы?» — «Копачи. Слышали, что работка есть». — «Есть, да отдана вся». — «Видели, батюшка, да ведь они не управятся». — «Я и сам так думаю. Да как же быть?» — «А пусть их работают свое, а мы в саду пруд возьмемся копать». — «Для меня все равно, кому деньги платить. Я ни харчей, ничего не знаю и плачу 1 рубль с кубика (кубическая сажень)». — «Вестимо. Что ж? мы с удовольствием». — «Да ведь надо же мне переговорить с Михаилом, а то, пожалуй, обидится». — «А что с ними говорить, коли они не управляются». — «Да ты по себе посуди. Я найму тебя теперь на пруд, ты начнешь рыть, а я другому сдам дальше. Хорошо ли это будет?» — «Вестимо. Какое ж

хорошо?» — «Так надо с Михайлой столковаться». — «А что же с ним столковываться?» И посмотрите на этого копача. Сейчас видно, человек бывалый и себе на уме. Что же выражают его слова? Простоту, возлюбленную косность или безнравственное презрение к чужим правам? Разумеется, Михайло и просил, и умолял оставить за ним работу, которой он очевидно не в силах был одолеть. А когда юхновец соглашался добровольно скинуть с кубика по 20 к., то есть стать по 80 к., Михайло стал доказывать, что на садовом пруду *климат* (почва) другой и что, только имея в виду такой легкий, торфяной *климат*, он стал на более глубокий глинистый. Как я ни старался доказать ему, что он не управится, Михайло стоял на своем. Бранил нового рядчика, валялся в ногах, плакал — словом, мука, да и только. Дело кончилось бы тем, что я остался бы без пруда, но хитрый юхновец все уладил, уступив из рядной суммы, то есть из 1 р. с кубика 20 к. в пользу Михаилы. Я ничего не терял, а выигрывал — вероятность иметь два пруда вместо одного. Мы так дело и порешили, и оба юхновца стали рыть

замок под плотину. Я объявил им, что деньги будут выдаваться по мере вырытого количества земли, а задатку я не дам ни копейки. Это им не понравилось, потому что чрез день или два они поджидали артель, которой надо поприготовить харчей. «Да пожалуйте хоть рубля три». — «Ни копейки: что выроешь, за то и получишь». Делать нечего; они пошли ни с чем. Рано утром на другой день я увидал их вдвоем на месте, размеченном мной под плотину. Широкие и острые лопаты ловко и, по-видимому, легко отрезали слой за слоем и выкидывали землю. Я подумал, недаром юхновцы слывут за первых землекопов. Вечером того же дня человек доложил о приходе юхновца. «Что тебе надо?» — «Да пожалуйте, ваше благородие, хоть рублика четыре». — «Я тебе сказал, не дам ни копейки кроме того, что будет следовать за работу». — «Да мы кубика четыре, должно быть, выкидали вдвоем». — «Что ты врешь, братец, вздор!» — «Потрудитесь примерить». Я пошел с уверенностию снова наткнуться на обычную ложь; но каково же было мое удивление, когда полутороаршинной в глубину и саженной в ши-

рину канавы оказалось ровно восемь сажен? Предоставляю специалистам решить, в какой мере баснословно громадна эта работа. Положим, что, как говорил Михаиле, тут климат другой, но его же работники, и даже самые досужие, выкидывали не многим более полукубика в день. Следовательно, каждый из двух юхновцев сработал чуть не вчетверо против обыкновенного работника. Это действительно орлиный труд и чисто вольнонаемный, со всеми своими преимуществами перед невольным, обязательным. Такой труд, где рабочий напрягает свои силы чисто и единственно для себя, есть идеал вольного труда, идеал естественного отношения человека к труду. Но как достигнуть обществу этого идеала? Вот вопрос, который не так легко разрешить. Далее мы, быть может, увидим, что труд вольного рабочего никак не подходит под эту категорию и нисколько не заслуживает имени вольного, хотя, за неимением другого выражения, мы его так называем. Между тем и другим трудом, и по сущности, и по результатам, бездна. Возвращаюсь к простому рассказу. Молотильный сарай Ш. окон-

чен, и, слава Богу, можно разбирать проданный мне. Земля, того гляди, застынет, и тогда плохо будет становить его у меня. Но это, по условию, не моя забота, а я должен припасти хворост и решетник. Забота тоже немалая, и при моих рабочих силах — труд гигантский. До сих пор не могу понять, как я с ним управился: правда, у меня были поденщики, но из пяти годовых осталось, за выбытием Ивана, четыре, которым пришлось всю осень подымать под яровое, и поднято таким образом 33 десятины. Пахали до тех пор, пока сошники воткнулись в мерзлую землю.

Недели за две до сроку Карп, крестьянин барона Т., племянник Гаврилы, крупно разговаривавшего во время приемки с моим предшественником, пришел изъявить мне свое сожаление о том, что его требуют в тягло и не дают дожить у меня. Я был доволен Карпом как усердным и ловким малым, но требовать его из барской экономии значило заводить тяжбу из-за двух недель. Я знал, что его требует не экономия, а негодяй Гаврило, которому лень была дотянуть тягло. Восклицать о нелепой несправедливости подобных выхо-

док считаю излишним. Я отделил в моем суждении негодяя Гаврилу от исправного Карпа, вычел у него за недожитые две недели по расчету 70 к. и дал ему от себя сверх причетов 50 к. серебром. Читатель, вероятно, уже заметил мое стремление держаться середины, не допускать самоволия, разрушающего корень производства, и не забывать знаменитого изречения: «преступник прежде всего плохой счетчик», заменив в моем положении слово *преступник* словами *несговорчивый, придирчивый, тяжелый хозяин.* Как пролавировал я между этими Сциллой и Харибдой, предоставляю на суд читателя. Замечу только, что лавировать между двумя помянутыми принципами трудней, чем между гомеровскими чудовищами. Сцилла и Харибда равно гибельны, но не противоположны, как крайности помянутых принципов.

Молотильный сарай перевезен и поставлен Ш. с необычайной быстротой. Я наконец успел его разместить. Остается накрыть, и это, по условию, должен сделать Ш. Я не перестаю ему напоминать об этом. «Накрою». — «Но ведь это легче сказать, чем исполнить.

Наступили заморозы, и сарай раскрыт». Ш. как-то приехал завтракать. За рюмкой портвейну я напомнил ему о соломе. «Везут. Сейчас будут, я их обогнал». — «Да когда же перевезут 200 или 300 копен? Помилуй, стынет. Кто же кроет зимой? Когда же перевезут всю солому?» — «Сегодня. Вот посмотри в окно, уже везут». Действительно, по дороге к моему хутору тянулась длинная вереница подвод. Рядом с первым возом ехал мужик верхом, с последним тоже. «Кто эти люди?» — спросил я. «Старосты двух барщин». Нельзя себе представить более стройную картину сельского труда. Лошади у всех мужиков исправные, а у многих превосходной породы, от господских лошадей. Я насчитал сто подвод, и вся эта сильная стройная вереница потянулась к сараю. Кто не понимает наслаждения стройностью, в чем бы она ни проявлялась, в движениях хорошо выдержанного и обученного войска, в совокупных ли усилиях бурлаков, тянущих бечеву под рассчитанно-однообразные звуки «ивушки», тот не поймет и значения Амфиона, создавшего Фивы звуками лиры. Так по этому вы видите идеал в этом кре-

постном обозе, и вы против эманципации? Все мы ужасно прытки на подобные заключения. Но воевать с мельницами и скучно и некогда, а на вопрос, вижу ли я в этом обозе идеал, отвечу прямо — и да, и нет. В принципе нет, в результате — да. Это заведенный порядок, старинный порядок, которому надо подражать, несмотря на изменившиеся условия. Я не хочу ни под каким видом быть китайцем, а если заведу фарфоровую фабрику, хочу, чтоб у меня так же искусно делали фарфор, как у китайцев. Как будто звание европейца возлагает на меня обязанность делать все зря, нелепо и негодно? Я этому никогда не поверю. Напротив, каждому легко убедиться, что со вступлением России в новый период деятельности заветные слова *авось*, да *небось*, да *как-нибудь* должны совершенно выйти из употребления и остаться в одних лексиконах с *понеже, поелику* и т. п. Только над этим надобно много еще поработать, а барщина Ш. - стройный результат прежнего порядка. При вольном труде стройность еще впереди. Прежде труд ценился мало; теперь он стоит высоко в цене и все более и более становящи-

еся на его место машины не терпят малейшего невнимания, не только нерадения. Лошадь, не кормленная два дня, *авось* дотащится, а машина, несмазанная и несвинченная, наверное не будет работать. Кроме того, машина, этот плод глубоко обдуманных и стройных производств прилежного Запада, есть наилучший и неумолимый регулятор труда. Машина не требует порывистых усилий со стороны прислуживающего при ней человека. Она требует усилий равномерных, но зато постоянных. Пока она идет, нельзя стоять, опершись на вилу или лопату, и полчаса перебраниваться с бабой. Отгребаешь солому, так отгребай точно так же в двадцатую четверть часа, как и в первую, а не то она тебя засыплет. Это качество машин, с непривычки, пока очень не нравится нашему крестьянину. Небогатый землевладелец Г. поставил молотилку и нанял молотников. Машина так весело и исправно молотила, что Г. приходил ежедневно сам на молотьбу. Через три дня рабочие потребовали расчета. Г. стал добиваться причины неудовольствия, предполагая в плохом содержании или тому подоб-

ном. Наконец один из рабочих проговорился: «Да что, батюшка, невмоготу жить. Сами ходите под машину: ишь она, пусто ей будь, хоть бы запнулась».

V. Приближение зимы

Свободы ищет и добивается человек на всех поприщах, политическом, общественном, умственном, художественном; словом сказать, на всех. Слово *свобода* у всех на языке и, быть может, на сердце; а между тем многие ли уяснили себе его значение? Свободу понимают как возможность двигаться во всех направлениях. Но природа не пускает меня ни в небо, ни в землю, ни ко дну океана, ни сквозь стену. Для духовного движения есть также свои океаны и стены. Интересно осмотреть остающееся в нашу пользу пространство, по которому мы действительно можем двигаться. Пространство это и обширно, и тесно, смотря по избранному нами направлению; но, куда ни пойди, непременно наткнешься на стену, будет ли эта стена вечность, запертые ворота, зверь или другой подобный нам

человек — закон бессознательной природы или сознательный закон общества.

Но нет пограничного столба со словом закона: «далее нельзя», который бы тем самым не говорил: «а до сих пор можно». Другими словами: нет обязательного закона, который бы не заставлял предполагать известное право. Вот сознание-то этого закона и определяемого им права и составляет сущность свободного существа в сравнении с несвободным. Человек, увязивший ногу между твердых тел, будет неподвижно ждать освобождения; но ни одно животное не в состоянии понять необходимости не двигаться, и не было примера, чтобы в подобном случае любое животное не сломило себе кости. Только сознание законных препятствий и связанных с ними прав дает то довольство, тот духовный мир, который составляет преимущество свободного перед рабом. Я вижу препятствие и знаю, что если *туда* нельзя, зато *здесь* я полный хозяин. С другой стороны, свободный человек не примет молча поставляемого ему препятствия, которого он не понимает, а будет посильно протестовать против него во имя сво-

его сознания. Свободный человек, понимая несвоевременность известного явления в данный момент, не станет ратовать против него в прошедшем и поймет его заслуги там. Свободный человек, несмотря ни на Венеру Милосскую, ни на Аполлона Бельведерского? не предастся культу олимпийцев, но не станет называть за него греков дураками. Свободный не оттолкнет никакого изучения, следовательно, и изучения древности хотя бы каракалпакской, но не забудет в то же время, что идеал всякого живого организма в будущем, а не в прошедшем. Потому-то нам и не нужно ни общинного владения, ни крепостного права, что они были, да сплыли или, Бог даст, сплывут. Свободный знает, что хлопотать о народности какого бы то ни было народа то же, что убиваться из-за древесное™ леса. Поэтому напряженно откапывать какое-нибудь наречие для литературного и образованного круга, в то время как лучшие представители его давно усвоили себе наречие более развитое, то же, что сказать: не ешь жаркого вилкой, потому что она орудие не народное. Кто-то отыскал в русских пес-

ниях:

> *Бабища кабацкая*
> *Турыжная, бабища ярыжная.*

И долой Пушкина: то несериозно, а вот эта гадость сериозна.

Свободный человек, поняв, например, что мы сидим в грязи, не ограничит свою деятельность праздною перефразировкой этого речения, а поищет средств вылезть из грязи. К этому первый шаг — сознание, как и насколько мы в грязи.

С этой точки обращаюсь от моего долгого отступления к продолжению моих заметок.

* * *

Что такое предложение и требование, которыми свободно устанавливаются цены, говорить я не буду, как не стану и гадать о том, каково будет отношение предложения рабочих рук к требованию на них в будущем. Я говорю здесь о настоящем и вижу, что большая часть моих соседей мало-помалу заводят вольный труд и требуют рабочих на тех же основаниях и условиях, на каких требует их и моя экономия. Около Мценска есть уже боль-

шие экономии на чистом вольнонаемном труде. Чтоб объяснить себе условия найма рабочих, нужно сказать, для какого они времени нанимаются и кто они такие? Я уже упомянул, что мне для обработки моих полей нужно восемь человек, я нанимаю еще девятого на лето для облегчения работ. Кроме того, мне придется принанимать посторонних во время уборки. Первое, что при этом кинется в глаз каждому практику, будет несоразмерно большое число годовых рабочих. Зачем же нанимать восемь годовых, когда и на лето в крайнем случае достаточно восьми? Такое замечание справедливо. Но там, где все хозяйство основано на вольнонаемных, кто поручится, что рабочие, не нашедши около себя мест, не подрядятся в даль, на дороги, на юг и т. д., и тогда что же делать с открытием весны? Нанимать издельно? Прекрасно. Но, во-первых, надо будет с потерей времени отыскивать желающих; во-вторых, никто не пойдет на чужую работу, не кончив своей, а между тем драгоценное время ушло, вы без овса, навоза, гречихи, сена и т. д. Вольнонаемное дело у нас еще в младенчестве, и по-

этому нечего удивляться, что крестьянин, не привыкший заранее рассчитывать, на всякое делаемое ему предложение, даже самое для него выгодное, отвечает одно: «Как люди, так и мы». И сколько бы вы ни перебрали людей, они все будут искать образцов; а если вам удалось склонить хотя одного, очарование снято, этот один делается *людьми*, и подражатели выползают со всех концов, даже на умереннейших против первого условиях. Надо сказать правду, наемщики, с своей стороны, хотя и не говорят громко заветного: «как люди, так и мы», но, в сущности, поступают так же. Как бы то ни было, для спокойствия необходимо в настоящее время нанимать рабочего годового, имея преимущественно в виду его летнюю работу. Остается рассмотреть, кто нанимается в работники? Домашняя прислуга, кучер, лакей и пр. составляют отдельный вольнонаемный класс. В счет заработной платы идет его помещение, пища и т. д. Ему прежде всего необходимо где-нибудь приютиться и затем уже получать плату, и на его труд время года не имеет влияния. Тут отношения между наемщиком и рабочим просты.

Не нравится один другому, и они расходятся так же просто, как и сошлись; зато никто и не даст вперед, без особых обстоятельств, денег неизвестному слуге. Не таковы отношения наемщика к полевому работнику. Этот последний также землевладелец, не нуждающийся в помещении и продовольствии (я говорю о найме в земледельческой полосе); осенью ему нужны деньги на уплату повинностей или на свадьбу, и он нанимается в работники. Не коротко знакомым с делом покажется странным, что отец или брат *малого, которого женят*, просит на одно празднество бракосочетания весь годовой заработок жениха, а иногда и более того; но это и служит новым доказательством крайней нерасчетливости нашего крестьянина. Интересна будет статистика браков 1861 года. Свадеб было без конца. Если бы нанимающийся перебился осень без денег, то весной он, быть может, и вовсе не пошел бы в заработки, и двоетрое стали бы ковырять у себя там, где при бабах и одного довольно. Но ему нужны деньги не в будущем, а сейчас, безотлагательно, и он идет наниматься, ставя первым условием,

чтобы половина денег была ему уплачена вперед. При таких обстоятельствах всякого рода советы, как, например: не нанимайте с осени полного числа рабочих, не давайте денег вперед — бесполезны; необходимость принуждает и нанять с осени, и деньги дать вперед. Независимо от приведенных причин, заставляющих хлопотать о прочности годового условия с рабочим, есть еще одна, о которой не могу умолчать. Предположим, что рабочий не нуждается в немедленном получении денег и согласен наниматься помесячно. У нас, по окончании полевых работ, можно иметь по 3 р. в месяц сколько угодно рабочих; мало того, рабочие с удовольствием станут по 10 р. за все шесть зимних месяцев. Но смешно было бы ожидать, чтобы рабочий месячный остался в покос и уборку за 3 р. в месяц, когда он легко заработает в это время 10 р. Итак, еще раз: самый ход дела заставляет нанимать рабочего годового заблаговременно и давать ему большой задаток. Эти неблагоприятные для хозяйства условия оттого изменяют сущность и качество вольнонаемного труда, что его, по справедливости, нельзя и назы-

вать этим именем. Деньги получены вперед и истрачены полгода тому назад; к Святой получена еще часть. Много ли затрат остается на все лето, когда другие, рядом, зарабатывают гораздо более? А тут-то и наступает истинно трудовая жизнь, когда, проработав весь день на жаре, надо ночью гнать лошадей в поле и караулить их в так называемом *ночном.* Много надо философии, чувства да и разных добродетелей для того, чтобы человек не забыл давнопрошедшего одолжения и условия; и как ожидать этих выспренних качеств от неразвитого крестьянина, когда они так редки у нас и между образованными? Человек, взявший деньги взаймы, через несколько времени не только забывает одолжение заимодавца, но даже смотрит враждебно на его притязания, и не будь закона, ограждающего последнего, многие ли получили бы обратно ссуду? Но пока я раздумывал о существующих условиях найма рабочих, нужно было приступить к самому делу. Что предложение было невелико, видно из того, что я только приискал необходимое число новых, а старых, бывших уже у меня и по-

желавших остаться на следующий год, не переменял; зато цена несколько изменилась. Во избежание просьб насчет обуви (лаптей) и рукавиц, я прибавил на то и на другое 1 р. 50 к., и всем годовым обязался платить 31 р. 50 к.

* * *

Михайло-копач насилу дорыл свой пруд, между тем как юхновцы живо окончили работу, но их пруд оказался против чаяния совершенно сухим, между тем как у Михаила стала набегать ключевая вода. Необходимость заставила обрыть один клин канавой в защиту от беспощадных набегов соседской скотины. Старик Глеб между тем оказался решительно неспособным вести хозяйство; я его расчел, взяв на время у Ш. хорошего мужика в старосты. Этот мужик на все приказания отвечал однообразным: «Слухаю, батюшка», а в сущности бесполезно топтался на месте не хуже Глеба. Надо было подумать о более расторопном и смышленом помощнике, и мне отрекомендовали молодого малого, проживающего в Москве. Дали ему знать, и он явился с полною готовностию приняться

за дело усердно.

Прежде всего старался я объяснить новому прикащику необходимость прямых и честных отношений.

— Ради Бога, изгони раз навсегда всякую ложь. Проси, что тебе надо, и говори правду. Сделай замечание в случае, если найдешь распоряжение мое неудобным; но если и затем я останусь при первом приказании, исполняй его.

— Слушаю.

Рабочих годовых мы наняли только шесть и затем несколько поуспокоились в надежде принять еще двух в марте. Между новыми оказался взъерошенный чернолицый и кряжистый, хотя несколько сиротливый, Тит. На работе он с первого разу показался весьма усердным, но все у него как-то не клеилось. Лошадь ли станет запрягать, запряжет криво и косо; солому ли примется навивать, то же самое.

Ледник окончен и готов принять лед. Но где взять льду? Возить за 7 верст с Неручи — слишком неудобно. В большом пруде вода едва покрыла дно, в верхнем конце, и замерзла;

но если она промерзла до дна, льда нельзя колоть, глыбы не будут отделяться. Разумеется, пошли толки вроде: «Да как его колоть, не изымешь. Вишь он! его теперь прихватило». Взглянув на берега, я расчел, что около плотины глубина воды уже должна быть около двух аршин, и потому для пробы велел прорубить четвероугольник. Рабочие, как видно, считали это дело нелепою затеей. Действительно, углубление было сделано почти в аршин, а воды все нет. Я уже и сам стал терять надежду, но, подумав, что весной все равно не достанешь льду, так как по местности неполный пруд должен быть во время зимы занесен снегом сажени на две, велел колоть далее, и долго затем длилось мое неловкое положение. Еще несколько ударов топором и пешней, и один из рабочих крикнул: вода! Вода точно брызнула фонтаном. Ледник успели набить более чем вполовину, а потом поднялись метели и лед замело.

* * *

Приходя к окончанию заметок о первом, кратковременном, но тем не менее хлопотливом сезоне, не могу не высказать еще одного

убеждения, к сожалению моему, почерпнутого из опыта. При настоящем положении вольного хозяйства должно всеми мерами избегать сложных производств. Никакой глаз присмотрщика не уследит за всеми злоупотреблениями, от которых нередко и производство окончательно погибнет в один час. Вот один из таких примеров. В числе прочих хозяйственных обзаведении я купил у предшественника за сходную цену сорок ульев пчел; при этом он выпросил у меня позволение оставить на пасеке до зимы четыре колодки, проданные им куда-то на сторону. Старик, бывший у него пасечником, остался до зимы у меня и так хорошо рассказывал о своих способностях ходить за пчелами, что любо было его слушать. В конце августа надо было осмотреть пчел и подрезать излишний мед. Мы выбрали удобный на это день. Приготовив чистые липовые кадушки, мы отправились на пасеку. Старик вынул у первой колодки колозни (закладки), помолился на восток, сделал ножом крест на сотах и начал подчищать. В это время я получил известие, по которому немедля должен был отправить-

ся в Москву. Делать было нечего; я велел готовить лошадей. Однако через час сборов пошел заглянуть на пасеку и нашел уже одну липовку полную сотами, а другую вощиной. «Сколько тут будет меду?» — спросил я пчельника, полагая по объему посуды пуда четыре. «Пуда, должно быть, три есть». — «А много подчистил?» — «Восемь колодок». Оставалось подчищать еще тридцать две колодки. И я уехал, рассчитывая, по крайней мере, на двенадцать пудов меду. Каково же было мое изумление, когда по возвращении я узнал, что меду собрано со всех сорока колодок три пуда! Эти три пуда я сам видел, так украсть их уже нельзя было. К чему же, спрашивается, молился и закрещивал соты набожный пасечник? Беда была еще бы невелика, если б он украл только мед. Как впоследствии оказалось, он так обчистил пчел, что они едва перезимовали. Здесь позволю себе маленький анахронизм и забегу вперед. В феврале 1861 года я стал искать пасечника. Явился старик, который, желая убедить меня в своем знахарстве, совершенно для меня неожиданно нагнулся ко мне и с необыкновенною быстро-

той начал причитать какую-то специальную молитву о пчелах. Думая, что он долго останется у меня, я не поторопился тогда же записать молитву, но помню из нее несколько слов, особенно меня поразивших.

Божия Матерь,
Отворяй ворота,
Чтоб моя пчела
На полет летала (шла на работу),
Чужую пчелу побивала.

Сильные пчелы, как известно, иногда ходят на разбой к чужой пчеле. Мошенники пчеловоды нередко нарочно возбуждают своих пчел к убийству, ставя им водку. Конечно, мошенничество бывает везде, но обращаться с ним к небу в молитве — значит считать его безупречным. Долго еще неуклонному закону придется бдительно стоять на страже, пока русский человек не забудет своего наивного произвола и наследственной лжи. Мне припомнился теперь рассказ своего соседа Ш. В качестве церковного старосты Ш. в своем большом и зажиточном приходе по праздни-

кам сам продает свечи. «Нередко, — говорит Ш., - подойдет мужик с просьбой: копеечную свечку, — и, наклонясь на ухо, прибавит: в должок. Да как же брать деньги-то? Помилуйте, отдам, ужели я Господа Бога-то обману? Ну, и подашь ему свечку. А сколько я своих денег за такие свечи заплатил!..»

Когда выпал первый снег, приехали какие-то крестьяне с запиской на подъем четырех колодок. Это было около завтрака. Я велел прикащику отпустить четыре колодки в ряду у входа направо. Так говорил мне сам продавец и показывал их моему старосте. У меня, помнится, был кто-то посторонний, потому я и не выходил.

Часу в четвертом пришел прикащик:

— Пожалуйте в пчельню. Мужики шумят. Подавай им на выбор лучшие колодки из середины.

Я пошел на пчельню и уже издали услыхал страшный спор и шум.

— Что вы за люди? — спросил я толстых и с виду богатых мужиков в новых полушубках.

— Крестьяне князя К***.

«А! — подумал я. — Вот почему вы и кричите».

— Ну, любезные, вы здесь не шумите, берите то, за чем приехали, будете кричать и выдумывать свое, я велю вас прогнать и дело пойдет через станового. Вот ваши колодки. Где староста? — Пришел староста. — Укажи колодки.

— На вот, батюшка, извольте посмотреть, — и он показал мне на задней стороне четырех колодок метки красного карандаша продавца.

— Видите. Теперь убирайтесь вон.

— Много довольны вашей милостью, — и они, забрав пчел, уехали.

Неутешительную перспективу представляла наступившая зима. Дом продувало со всех сторон, зимовать в нем не было возможности. Надо было зимой привезть железа на крышу, кирпичу, песку, лесу, алебастра и прочего материяла для весенней перестройки.

А чем кормить скот и как перемолотить без машин, в трехколенном овине, четыреста копен хлеба? Пришлось бы кормить снопами,

как делал мой предшественник. Но и тут кое-как выручил меня Ш., предложив возить к нему немолоченую рожь и брать назад солому. Сена оставалось в декабре не более 1000 пудов.

VI. Зимняя деятельность

В начале декабря наступила стужа, поднялись метели. Новые, необшитые и неоштукатуренные стены дома решительно не защищали от ветру. Зимовать очевидно было невозможно, да к тому же дела звали в Москву, куда я и прибыл около половины декабря. Здесь первою заботой моею было заказать молотилку и веялку, без которых полевое хозяйство будущим летом было бы невозможно. Знакомый мой, опытный хозяин, посоветовал мне обратиться к г. Вильсону, у которого на механическом заводе приготовляются большею частию так называемые хуторские двуконные молотилки. Я послушался совета, немедля обратился к г. Вильсону и тут же заключил с ним условие, по которому он обязался поставить мне к 1 февраля хуторскую

молотилку с чугунным приводом, для большей легкости на три, а не на две лошади, и ручную веялку, могущую в случае нужды действовать и конным приводом. В деревне между тем было поручено прикащику исправно уведомлять меня о ходе приуготовительных работ по предстоящей отделке дома, которую мне хотелось окончить как можно ранее весною, чтобы быть совершенно свободным для полевых занятий. На этот конец я условился о покупке и доставке в деревню к февралю необходимых материалов: лесу, кровельного железа, кирпичу, извести (на обкладку стен), песку, который в нашей черноземной полосе добывать довольно затруднительно, и т. п. Для внутренней отделки я велел нанять столяров, а сухим ясеневым деревом мне заблаговременно назвался соседний лесоторговец, у которого я в течение осени забрал довольно различного лесного материялу. Полы в доме, хотя и новые, были весьма неплотны, и я решился лучше заказать паркет в Москве. Казалось, все наперед было обдумано и рассчитано, но, зная, как все дела у нас делаются, я никак не мог успокоиться в

Москве и распечатывал каждое письмо прикащика не без замирания сердца. Предчувствие не обмануло меня. В начале февраля я получил довольно лаконическое извещение, что ничего из *приказанного* не делается, что столяров нанято трое и они уже напилили брусьев и фанер для дверей, но ясень оказался сырой и всю заготовку порвало в щепки. Молотилка и веялка должны были скоро быть готовы к отправлению, и г. Вильсон, у которого, сверх полной стоимости машин, оставалось в конторе 20 р. серебром моих денег, совершенно успокоил меня насчет скорой их отправки, а равно насчет присылки в мае машиниста, который должен по условию установить машины на месте и пустить их в ход, получая у меня по 75 коп. в день харчевых. Кроме того, я обязался отправить его на мой счет в Москву. На другой день по получении рокового письма худые почтовые лошади валяли меня с боку на бок по невообразимым ухабам московско-харьковского шоссе, и через трое суток я прибыл домой. Оказалось, что прикащик ничего не преувеличил в письме своем. Я застал столяров, грациозно

полирующих присланную из Москвы мебель, а за ними груды потрескавшегося ясеня. Строительный материял не только не привезен, но даже и не куплен. Дороги адские. Ни плотников, ни кровельщиков нет, а между тем надо сейчас снимать крышу, переделывать стропилы и крыть железом.

Как? и это все в феврале? Да что ж делать? С крышей, при усердной работе, надо провозиться месяц, а в марте пойдут весенние дожди, потолок протечет и вся привозная мебель должна погибнуть. Оставить же дело до июня значит обречь себя на столпотворение в продолжение всего лета. Во время полевых работ нужно жить дома, а как жить в нем, когда крыша и двери сняты, стены и потолки штукатурятся, а полы выломаны? Дополняя картину неустройства, я должен прибавить, что единственно спасительная мера перевозки хлеба к Ш. и соломы обратно от него ко мне оказалась на практике весьма неудобною. При значительной раструске дорогой мелкого и крупного корма двойная перевозка до того была обременительна для лошадей, что я застал вообще всю скотину в самом

жалком виде. На жеребятах от худобы показалась даже сыпь. К счастию, я не продавал ни зерна ржи из моего небольшого запаса и тотчас же велел давать от четырех до пяти фунтов муки в сутки на каждую голову. Это усиленное, но дорогое средство спасло скотину. Плотников на крышу я нанял издельно. Лес привезли. За невозможностию в скором времени отыскать для столяров сухого ясеня, я нашел старого дубу, и работа немедленно началась.

Недаром русская пословица говорит: «на добрых воду возят». Эта пословица очевидно произошла из опыта. Если у вас есть между рабочими лошадьми замечательно добрая, будьте уверены, никакой присмотр, никакие увещевания не спасут бедного животного от ежеминутных попырок. Сена ли привезть, хоботья ли насыпать, соломы ли навозить, кого взять? — рыжего. Послать куда поскорее — на рыжем. Одним словом, бедный рыжий за все отвечает. Понятно, что в дальней дороге или на тяжелой работе всякому приятнее иметь лошадь, не требующую ежеминутных понуканий; но возить корм около дома решитель-

но все равно, слишком или не слишком ретива лошадь. Но рыжий недаром слывет добрым, и поэтому оброть уже сама его ищет по двору между всеми другими отдохнувшими лошадьми. При окончательном разгроме дома я поневоле должен был прибегнуть к прошлогодней системе, то есть поселиться на жительство у Ш. и к себе приезжать ежедневно по утрам на несколько часов.

Надобно нанять кровельщиков. Мне сказали, что мценские и сходней, и искусней орловских. Кроме того, необходимо было по делам побывать во Мценске; но дороги были так дурны, что я предпочел поехать туда через Орел, где надеялся сам купить кровельного железа, которое в то время страшно поднялось в цене. Накануне отъезда я велел прикащику приготовить необходимое, по количеству железа, число подвод и ехать с ними в Орел за материялом, считая по дурной дороге от 20 до 25 пудов на лошадь. В Орле я купил железа, велел накладывать, а сам поехал далее. Вернувшись из Мценска, спрашиваю:

— Что? привезли железо?

— Слава Богу, привезли благополучно и сложили. Только что-то наш рыжий невесел, корму не ест, а всю дорогу шел передом (впереди обоза) и вез слишком тридцать пять пудов.

Неудивительно, что он невесел и не ест корму. Однако пойдем просмотрим его. Я нашел бедного рыжего в общем деннике с сильнейшим отделением злокачественной мокроты из ноздрей. Очевидно, у него открылся сап.

Заведовав в продолжение пяти лет в качестве полкового адъютанта конным лазаретом, я волею и неволей присмотрелся к разнородным явлениям конских болезней и в особенности

сапа, долго свирепствовавшего в нашем полку. Эта ужасная и в высшей степени прилипчивая болезнь до того упорна, что никакие врачебные пособия, ни самые энергические меры полкового командира при первом появлении заразы не могли избавить от нее полка. Самое здание конного лазарета оказывалось заразительным. Ни обмазывание известью, ни хлор, ни изысканная чистота не

помогали злу. Только поход во время венгерской кампании, в продолжение которого опустевший и растворенный конный лазарет вымерзал две зимы, избавил полк от давнишнего бедствия. Сап заразителен не только для лошадей, но и для людей, приходящих в соприкосновение с больными животными, и в этом случае никакие средства не помогают. Мучительная смерть неизбежна. Мне сказывали, что в К. гусарском полку погибли два служителя при конном лазарете, которые, несмотря на строгое запрещение, завертывались на ночь в попоны с больных лошадей. Все сказанное я считал необходимым объяснить прикащику, старательному молодому человеку. Тем не менее он с какою-то полуулыбкой уверял меня, что это голова у рыжего болит и что, когда мокрота сойдет, ему будет легче.

— Однако вот отдельное стойло, — сказал я, — загони его туда и, сделай милость, присмотри, чтоб он не приходил ни в какое соприкосновение с остальными лошадьми. Корм и водопой должны быть отдельные, иначе все лошади пропадут и весь двор надо

будет бросить.

— Слушаю.

На другой день приезжаю и, представьте себя на моем месте, застаю рыжего в общем деннике. Повторяю, прикащик человек старательный и практически не глупый. Но что сделаешь против рутины? Разумеется, лошадь была тотчас же совершенно отделена от здоровых и, несмотря на уверения прикащика, что ей гораздо лучше, на третий день пала.

Много у нас было писано со всех концов России о высокознаменательном событии прошлого февраля и о том, как принят был крестьянами благодетельный манифест, но, говоря в свою очередь о прошлогоднем феврале, не могу не прибавить несколько слов от себя. Предварительных толков в образованных классах было довольно. Наконец ожидания разрешились рассылкою манифеста. Оставалось только его обнародовать, то есть прочесть крестьянам по церквам. Нельзя отрицать, чтобы большая часть людей мыслящих не смотрела на будущее воскресенье почти с тем же чувством, с каким мореходец

смотрит на ярко-прекрасную зорю, обещающую перемену ветра, и на бессознательное море, которое, Бог его знает, взволнуется или не взволнуется. Однако воскресенье пришло, а море и не думало волноваться. У него даже не зарябило в глазах от лишней чарки водки. Крестьяне обычным порядком разъехались по дворам, и, вероятно, каждый в своей семье занялись истолкованием совершившегося события. Мы с Ш. встретили на пороге только что вернувшегося от обедни старосту его именья.

— Что, Михайло, слушали манифест?

— Как же, батюшка! слушали.

— Что ж? вы его поняли?

— Как не понять! Поняли одно, что надо теперь всех слушаться от мала до велика.

Приходилось мне спрашивать и других крестьян о том же. Ответы были в подобном же смысле.

Возвращаюсь к рассказу.

Нужный для построек песок отыскался в лугу крестьян деревни С***, смежных с хуторскими мужиками моего соседа Ш., верстах в трех от меня. До меня никто не покупал пес-

ку, как никто не покупал воды и снегу, несмотря на то что в трех верстах оттуда и помещики, и крестьяне давно торгуют белым камнем. Но то камень, а это песок. Я послал попросить у старосты деревни С*** позволения брать песок и, рассчитав, как трудно добывание его в зимнее время, сам назначил за четверть 30 к. серебром. Очевидно, крестьяне этой деревни, которым всего сподручнее было воспользоваться предстоявшими заработками, сочли продажу и возку песка химерой. Песок мне брать позволили; но никто из крестьян и не тронулся рыть и возить его.

Зато хуторские мужики Ш. деятельно принялись за работу и песку мне навезли немало. К концу февраля наступили оттепели, по дорогам образовались зажоры и возка сделалась страшно затруднительною. Тогда только крестьяне деревни С*** догадались, что, верно, можно и песком торговать, когда их соседям да за их же песок платят чистые деньги. Они наотрез отказали крестьянам хуторским в песке, говоря, что уж лучше они сами будут брать деньги. Мало того, что С-ские мужики стали наперебой между собою возить песок

по выдуманной мною цене, у них за эту же цену явились конкуренты за 7 верст от меня, которые, по невозможности за дурною дорогой доставлять песок одиночками, возили его парами. Как нова и дика была для крестьян мысль о ценности личного труда, я еще яснее увидел впоследствии. При сложных на него требованиях с моей стороны, мне приходилось подобным же образом и с одинаковым успехом назначать от себя положительные цены по разным отраслям труда. С открытием весны, когда крестьяне уже опытом научились брать с меня деньги, они все-таки остались при внутреннем убеждении, что торговали несуществующими ценностями, то есть, по их же выражению, брали деньги даром. Вся округа говорила про меня: «Верно, у него денег много, когда он нам их даром раздает». — «Да за что же он вам их дает?» — «А Бог его знает! Мы и сами не знаем». Я не только не давал даром деньги, но платил цены весьма умеренные. Впоследствии мы увидим, что в знакомых уже крестьянам отраслях труда и промыслах они не так сговорчивы на дело и не так податливы в цене. Возить, напри-

мер, хлеб на рынок мужик готов, но ломит цену неслыханную. «Это дело — хлеб, а то песок». Невероятно, а правда.

После долгих и напрасных поисков нашелся простой мужик-штукатур. Мы поладили в двух словах, условясь в плате за квадратную сажень. Он получил 15 р. серебром задатку и пошел набирать рабочих. Ш. тоже искал штукатура. На другой день явился великий краснобай из-за Мценска, положительно уверявший, что нанятый мною мастер не в силах сделать моей работы. К стыду моему, краснобай меня уговорил. Так как Ш. в свою очередь нуждался в штукатуре, то мы предложили первому рядчику стать на новую работу на тех же условиях, на что он легко согласился. Но меня краснобай жестоко наказал за мою доверчивость. Он взял, правда, небольшой задаток; но с тех пор я его не видал, и, что еще хуже, я поджидал его артель в то время, когда уже нужно было работать. Разумеется, не желая прибавлять к убыткам новые убытки, я его и не разыскивал, хотя знал его имя и место жительства.

Всякая законность потому только и законность, что необходима, что без нее не пойдет самое дело. Этой-то законности я искал и постоянно ищу в моих отношениях к окружающим меня крестьянам и вполне уверен, что рано или поздно она должна взять верх и вывести нашу сельскую жизнь из темного лабиринта на свет Божий. Но единицам добиться в этом отношении цели в настоящее время не только трудно, а едва ли возможно. Вздумав однажды утром взглянуть на работу поденщика Алексея, поступившего ко мне по примеру прошлого года, я увидел весьма бедно одетого крестьянина, державшего на веревке тощую косматую корову, едва ли не из числа виденных Фараоном во сне. Надо прибавить, что тощий крестьянский скот, особенно лошади, в нашей стороне исключение. На это есть свои причины, о которых я, быть может, скажу в своем месте несколько слов. На этот раз мужик и его корова не представляли образцов довольства.

— Что тебе надо? — спросил я мужика.

— Да вот, батюшка, привел коровку к вашему бычку. Сделай божескую милость, не

откажи.

— Ты откуда?

— Да вот мы с Алексеем из одной деревни, он меня знает! Частые истребительные падежи скота в наших местах вынуждают быть крайне осторожным насчет сближения своей скотины с чужою. Поэтому прошлою осенью я отказал гуртовщику в просьбе прогнать по моей отаве гурт, хотя он мне за это предлагал порядочную плату. А тут неизвестная, да еще болезненная на вид корова. Несмотря на это, первым моим побуждением было уступить просьбе бедного мужика, не в пример другим. Авось так пройдет! Я знал, однако, что сделать это без всяких условий значило бы привлечь к себе на двор целую округу. Поэтому я обратился к мужику с следующими словами:

— Я ни своей скотины на чужую землю, ни чужой на свою не пускаю. И всякую приведенную или пущенную сюда корову буду забирать и отсылать в стан; на этот раз, так и быть, выручу тебя по-соседски. Почем у вас бабы продают кур? (Мне нужны были куры, и я скупал их у соседей.)

— Да кто их знает? Бабье дело.

— Однако ж? дороже четвертака не продают?

— Точно, что не продают.

— У тебя есть продажные?

— Есть.

— Сколько?

— Да с пяток будет.

— Ты поедешь в воскресенье мимо меня?

— Как же, батюшка, поеду.

— Привези же мне четырех, или, как ты говоришь, пяток кур, а я тебе заплачу по четвертаку.

— Слухаю, батюшка. С чего ж?

— Да ты смотри не обмани.

— То-то, ты смотри, Митрий, не обмани, — вмешался вслушавшийся в наш разговор Алексей. — Ведь это, брат, обмануть не своего брата мужика. Не приходится.

Я стал объяснять мужикам, что обман все обман, к кому бы он ни относился, в чем оба были совершенно согласны, и, в доказательство окончательного уразумения моих слов, Алексей с ударением повершил:

— Ведь это обмануть не своего брата мужика, это не приходится.

Просьба мужика была исполнена, а кур он мне не привез.

Приводить новых примеров понимания и исполнения условий и договоров со стороны наших крестьян я более не буду, хотя мог привести их сколько угодно.

VII. Контракт

С наступлением марта явилась необходимость нанимать недостающих годовых рабочих и одного летнего на подмогу. Первым годовым цена уже была определена с осени, а с летним надо было торговаться. Прошлогодний горький опыт окончательно убедил меня, что давать задатку рабочим, без обеспечения насчет исполнения ими условий договора, нельзя. Но чем себя обеспечить? Контрактом? Что же писать в этом контракте? Говорить в нем о штрафах — нечего и думать. Ни один рабочий не пойдет к вам ни за какие деньги. После многих соображений я выставил в контракте следующие пункты: «Обязан

я (имярек) 1) вести себя честно и трезво; 2) никуда, ни под каким предлогом без разрешения начальства не отлучаться; 3) всякую порученную мне работу, во всякое время, исключая годовые праздники, исполнять усердно и без отговорок; 4) за порученными мне вещами смотреть старательно и хранить их в целости; 5) довольствоваться здоровою и сытною пищей и особого какого харча и содержания не требовать. А буде я вышесказанного не исполню, то подвергаю себя за то ответственности перед законом».

Написав последние слова, я невольно улыбнулся. Как будто закон, карая меня за противозаконные поступки, справляется, давал ли я подписку подвергать себя ответу перед ним или не давал! Но при составлении контракта я более всего имел в виду тот врожденный трепет, с которым русский человек смотрит на всякую грамотку. Я не ошибся в моем предположении. Этот страх оказался так велик, что я рисковал остаться без рабочих, на что я, впрочем, и решался, лишь бы только не иметь перед собою грустной перспективы остаться с незаконтрактованными

рабочими. С другой стороны, я был уверен, что стоило мне с законтрактованными рабочими прожить год, так чтоб о контракте, как о неприятном предмете, не было и помину, то я буду спасен. Но как поймать первого рабочего? Случай на этот раз помог мне. Читатель, быть может, не забыл прошлогоднего исправного работника Карпа, которого негодяй Гаврила так бесцеремонно взял у меня до срока. Вот этот-то Карп явился наниматься *на лето.* В цене мы скоро сошлись; но главное затруднение было убедить его подписать составленный мною контракт.

— Ты помнишь, — сказал я ему, — как твой дядя в прошлом году снял тебя до срока. Теперь, чтоб этого не могло быть, я никого, кто просит вперед денег, не нанимаю без контракта. Грамоте ты сам не знаешь; сходи к дворнику на Кресты, попроси его прочесть то, что я тебе прочел; дай ему руку, он за тебя подпишет, и тогда приходи за задатком. Ты слышишь, здесь в бумаге написано то же, что ты мне обещаешь на словах. Я тебе, быть может, и на слово бы поверил, но дяде твоему не поверю и без контракта тебя не возьму.

Задатку Карп, нанявшийся за 27 р. 50 к., просил 10. После долгих колебаний контракт был подписан; оставалось только отдать деньги, за которыми он хотел прийти вечером. Между тем тотчас же после обеда явился дядя его, Гаврила, со словами:

— Пожалуйте деньги.

— Я тебе денег не дам, потому что нанимался не ты, а твой племянник, на имя которого и написано увольнительное от помещика свидетельство. Приведи Карпа, и я при тебе ему отдам десять рублей.

— Нет, малый не может получать деньги, потому что я ему хозяин. (Этот хозяин постоянно обирает бедного Карпа, который вследствие того всегда одет весьма плохо.) Такого и закона нет, чтобы малый мог без меня наниматься.

Напрасно старался я объяснить Гавриле, что теперь, напротив, нет закона, чтобы кто-нибудь мог отдавать другого в работу. Он стоял на своем.

— А коли так, значит, я сниму малого.

— Ты ни отдавать, ни снимать его не можешь, потому что он нанят у меня по кон-

тракту, и я знаю его, а тебя и знать не хочу.

Тут новые объяснения безопасности контракта, и за всяким разом возглас:

— Оно так, да на что ж вы малого-то под *кундрах* подвели? Мы люди темные, так что нам *кундрах*. Мне *кундрах* не нужен.

— Я писал контракт не для забавы и писал его не для темных людей, а для себя, и если он тебе не нужен, то он мне нужен, а ты если будешь приставать со вздором, то я тебя не велю сюда пускать.

Вошел Карп.

— Вот, Карп, если тебе нужны деньги, возьми десять рублей.

— Нет, как можно деньги брать вперед, — вдруг неожиданно заговорил Гаврила, — надо их прежде заработать, а тогда уж свое и получить. Мы деньги вперед не возьмем.

Они действительно так и сделали и взяли первые 10 р. только после Святой. Карп благополучно дожил до последнего дня срока. Гаврила более не показывался. О контракте не было все лето помину; но он произвел магическое действие бумаги (грамоты) на людей темных, хотя, в сущности, исполнение его не

было гарантировано. Что бы я стал с ним делать, если бы подписавший его нарушил условия? Повел бы дело во время уборки, судебным порядком, что ли? Предположим даже, что я выиграл бы его через два года, спрашивается: что бы я выиграл этим выигрышем? Все это очень ясно; а тем не менее, желая усилить магическую силу грамоты, я из писаных превратил контракты в печатные бланки и в прошлую осень не иначе нанимал годовых рабочих, как по таким документам. Карп проторил темную дорогу контракта. Мимоходом скажу несколько слов о дальнейшей судьбе Гаврилы. С выбором посредников выбирали и сельских старост. Неудивительно ли, что крестьяне села, в котором живет Гаврила, не нашли никого хуже его в сельские старосты? Этот пьяный, нахальный, вечно хитрящий и между тем странно тупой и бестолковый мужик, сделавшись старостой, накуролесил так исправно, что его пришлось, как я слышал, арестовать, оштрафовать, телесно наказать и сменить. Стало быть, прошел все, что мог.

О крестьянах того же села рассказывали у нас в том же году довольно оригинальный анекдот. В помещичьем саду стояли, да и теперь еще стоят, небольшие медные пушки, из которых стреляли в торжественные дни. Довольно значительная стоимость пушек соблазнила каких-то охотников до легких заработков. Когда два вора сняли две пушки с лафетов и, навалив на воз, поскакали с ними через деревню, помещичий староста, заметив похищение, вскочил на лошадь и бросился в погоню. На деревне он стал звать мужиков на помощь; но они отозвались, что сегодня не барский, а крестьянский день и потому им воров ловить не для чего.

VIII. Весенние затруднения

В начале апреля снег сошел и, несмотря на значительные холода, кое-где начала пробиваться молодая травка. Скудость зимнего корму заставляла думать о том, как бы поскорее выгнать скотину в поле. Желая осмотреть сенокосный луг, я поехал туда верхом и застал все стадо и весь табун соседей купцов К*** на моем сенокосе. Пастух даже не торопился сгонять стадо. Тут только, желая отбить и загнать к себе корову или лошадь, я убедился, как трудно, если не совершенно невозможно, исполнить это одному. Подо мной была резвая и очень поворотливая лошадь, так что я легко мог и догнать, и заворотить любую скотину. Но едва вы ее завернули, она огибает вас за крупом лошади, и заворачивание начинается снова, и таким образом можно вальсировать до бесконечности.

Я уже говорил о близости воды в нашей почве. Это хорошо в агрономическом отношении, но для построек невыносимо. Еще в марте, во время полой воды, пришлось выби-

раться из выхода под домом. Несмотря на каменные своды, вода прибывала в нем ежедневно, и наконец весь выход превратился в подземный водоем, в котором невыбранные овощи плавали в самом живописном беспорядке. Вот и земля оттаяла, а вода в выходе не убывает. Она может остаться почти на все лето, и тогда придется завалить выход и сделать новый на ином месте. Удобней всего ему быть там, где он есть, да и кто поручится, что и на новом месте он будет сухим выходом, а не колодцем? Долго думал я, как тут быть. Устроить машину неудобно: выход под самим домом. Черпать ведрами еще хуже: эта работа Данаид будет повторяться каждую весну. Наконец я, как Архимед, воскликнул: нашел, нашел! Лучше всего сделать подземный каменный тоннель, провести его из выхода в ближайшую садовую канаву, которую придется углубить, и этим путем спустить воду в пруд. Хотя тоннель и придется устраивать на четырехаршинной глубине, но все-таки такое устройство обойдется дешевле нового погреба. Я объяснил свою мысль поденщику Алексею, привычному ровокопу, и он взялся за

условленную плату исполнить ее. Надо было прорыть глубокую канаву к самому фундаменту и потом на четырехаршинной глубине подрыться под фундамент и под кухню, и только тогда можно было попасть на каменную стену выхода, чтобы проломать в ней отверстие. Уже при наружной работе стены глубокой канавы беспрестанно отседали, и земля огромными глыбами обваливалась, а когда дошли до фундамента, то и Алексея, и меня начало брать сильное раздумье. Ну как и тут земля станет валиться и мы завалим фундамент на дом, да, пожалуй, подавим саперов? Судя по обстоятельствам, надо было непременно ожидать этих бедствий, и мысль о них до того меня запугала, что я дал Алексею новые деньги за то, чтоб он поскорее засыпал часть своей же работы. Вдруг неожиданно является прошлогодний солдат-копач, Михаиле Посмотрев на нашу затею, он решительно объявил, что ему, то есть Алексею, этого не сделать.

— Ну, а ты сделаешь?

— Сделаю, ваше высокоблагородие. Тут надо подпорка, и мы будем работать сидя.

— Сделай милость, работай как хочешь, лишь бы успешно. Если окончишь, получишь от меня кроме условленной платы особое награждение.

С этими словами я уехал на несколько часов по одному делу. Вернувшись к полдню, застаю Михаила на крыльце.

— Что тебе надо?

— Ваше высокоблагородие, позвольте слово сказать.

— Хоть два.

— Оно точно, что погреб-то весь под домом, да рукав-то с каменного лестницей, ведь он нижним-то концом, то есть нижнею площадкой, вышел под галдарею. Там, сказывают, воды-то, что в погребе, что на площадке, глубина одна. Я и сам видел, лестницу-то каменную высоко залило. Зачем же нам идти канавой под дом? Позвольте нам за угол обвести да привесть к площадке. Вода все едино до капли должна сбежать. А фундамента мы нигде не тронем.

Эта здравая и совершенно простая мысль, не пришедшая, однако же, никому из нас в голову, привела меня в восторг.

Я не мог при всех плотниках и каменщиках не признать Михаила молодцом и не выдать ему тотчас же обещанного награждения. Тоннель действительно и прокопали, и выложили камнем в три дня, и вода сбежала вся.

Ай да Михайло! исполать! Никогда не забуду, как отрадно было мне среди тупого непонимания и нежелания понимать встретить самостоятельную усердную догадку.

IX. Песня

Погода установилась ясная и теплая. Хотя мне еще нельзя было жить дома, но я приезжал по-прежнему ежедневно сводить счеты с рабочими и, сидя за работой в комнате, нередко уже отворял окно на галерею. Всем известна привычка русского ремесленника петь во время работы. Пахарь не поет, зато плотники, каменщики, штукатуры — почти неумолкающие певцы. Последнее слово напоминает очаровательный рассказ Тургенева: но я не был так счастлив, чтобы встретить что-нибудь похожее на описанных им певцов. Много переслушал я русских песен, но

никогда не слыхал ничего сколько-нибудь похожего на музыку.

«Грустный вой песня русская». Именно вой. Это даже не известная последовательность нот, а скорее какой-то произвольно акцентированный ритм одного и того же неопределенного носового звука. У женщин пение — головной визг. И то и другое крайне неприятно. Говорят, на Волге поют хорошо. На Волге я не бывал. А может быть, когда завоют на Волге, скажут, что на Урале хорошо поют. Как бы то ни было, прошлою весной я жил в мире русских песен, или, лучше сказать, русской песни, потому что меняются одни слова, а песня все та же. Она неслась с крыши, с балкона, с кирпичных стен, отовсюду, и я уже не обращал на нее никакого внимания, как некогда, живя в десяти шагах от морского прибоя, не обращал внимания на его шум. В плотничьей артели был красивый, сильно сложенный и щеголеватый малый. Имея дело с подрядчиком, я не знал плотников по именам и даже мало обращал на них внимания, но этого нельзя было не заметить. Невысокая поярковая шляпа с павлиньим пе-

ром так красиво сидела на густых, вьющихся белокурых волосах, образовавших под ее небольшими полями тугой и пышный венок. Кудри эти были всегда тщательно расчесаны. Однажды, сидя у растворенного окна, я увидал этого парня, усердно пробивающего топором паз в столбе для стеклянной рамы на галерее. Он затянул песню, которая тотчас обратила на себя мое внимание, не напевом или гармонией, голос песни был один и тот же стереотипный, но словами, и я начал вслушиваться.

Парень затянул известный романс:

Отгадай, моя родная,
Отчего я так грустна
И сижу всегда одна я
У заветного окна.

«Каково! — подумал я. — Вот оно куда пошло». А между тем я смутно чувствовал, что содержание романса, несмотря на свою незатейливость, далеко не по плечу певцу.

Романс трактует чувство девушки, волнуемой еще беспредметною любовью, в которой она не может дать себе отчета. Кто не слыхал,

как в устах людей, не усвоивших собственных имен русской географии, стих известной песни «и колокольчик дар Валдая», превращался: в «колокольчик *гаргалгая*»? Подобные варианты встречаются даже у институток. Чего же я должен был ожидать от крестьянина? Однако строфа вытягивалась за строфой, не представляя никаких диковинок. Наконец дело дошло до куплета:

Лягу я в постель, не спится,
Мысли бродят вдалеке,
Голова моя кружится,
И сердечушко в тоске.

Как, подумал я, справится певец с этими отвлеченностями? Он затянул:

Лягу я в постель не спится — э-э-эх
Никто меня не береть.

Нужно же ему было объяснить, почему ей не спится, а следующий стих:

Мысли бродят вдалеке, —

не имеющий для него никакого значения, как ничего не объясняющий, заменен весьма

понятным:

Никто меня не береть.

Что за беда, что он в явной вражде с содержанием романса! Зато понятен.

А что ж? Дай Бог, чтобы русские крестьяне поскорее, подобно моему парню, почувствовали потребность затянуть новую песню. Эта потребность сделает им трубы, вычистит избу, даст человеческие постели, облагородит семейные отношения, облегчит горькую судьбу бабы, которая напрасно бьется круглый год над приготовлением негодных тканей, тогда как их и лучше, и дешевле может поставить ей машина за пятую долю ее труда; явятся новые потребности, явится и возможность удовлетворить их. Не беда, что, быть может, еще и через сто лет русский крестьянин-земледел не в состоянии будет сознательно произнесть стиха: «Мысли бродят вдалеке»; но на пути к этому стиху он найдет много нравственных и материяльных благ, доселе ему недоступных. Нравственное развитие не гвоздь какой-нибудь, который можно произвольно забить в народ, как в стену.

Оно уживается только с материяльным довольством. А нельзя отрицать заметного стремления русского крестьянина к прогрессу в последние 25 или 30 лет — и он уже поднял много добра по этому новому пути. Это особенно заметно по костюму. Старинный зипун с кружками из шерстяного шнурка на спине, без которого еще в детстве моем ни мужика, ни бабу нельзя было себе представить, исчез окончательно. Убийственно тяжелая и крайне безобразная *кичка* держится только по захолустьям. Зимой, вместо обычной пеньки вокруг горла, у тулупов поднялись высокие овчинные воротники. А как это важно в поле, вы можете убедиться на деле. Попробуйте в воскресный день, когда мужики возвращаются рысью, в несколько саней одни за другими, причем замечательно, что здоровяк-хозяин сидит в отличном тулупе с поднятым воротником, а бабы и мальчишки жмутся от холода в плохих шубенках, попробуйте, говорю, остановить такого носителя воротника. Поверьте, для сведения каких-либо счетов он, подобно обозникам г. Успенского, не станет прибегать к держанию кошеля

перед грудью, представлению себя двугривенным, а товарища пятиалтынным, или строганию лучинок. Сознанная потребность теплого воротника поможет ему рассчитаться хотя и не по арифметике, но скоро и безошибочно. В прошлом году главный плотник, принесший за излечение старика-отца к нам на поклон 10 яиц, уже получил в ответ не деньги, а немного чаю и сахару, чем остался гораздо довольнее. Я отчасти сочувствую иносказательной увязнувшей колымаге, о которой была как-то речь в газете «День», колымаге с оторвавшимся и ускакавшим форейтором. Действительно, форейтор оторвался и ускакал, но это слава Богу. Если б он не оторвался, то, вероятно, сидел бы с колымагой и до сегодня в грязи. Но, летая вкривь и вкось по всем направлениям, он немало обозрел местностей и поразведал дорог. Теперь, при его указании, стыдно будет закиданному грязью кучеру опять засесть в трясину. И не форейтору спрашивать совета у вахлака-кучера, а пусть кучер расспросит хорошенько у бывалого форейтора про дороги. Форейторские лошади, слава Богу, проскакали через узкий мо-

стик, кажущийся таким опасным для колымажных лошадей. Известное дело, не видывали и заноровились, И тут старая манера бить кнутом только испортит дело. Пусть-ка форейтор несколько раз переедет мостик на своих под самым носом колымажных лошадей, так колымажные-то очнутся и сами тронут следом за передними. Все бы хорошо. Но тут еще другая беда. Хотя форейтор, в сравнении с кучером, парень бывалый; но, несмотря на долгую скачку вдоль и поперек, он все еще не выветрился. Сейчас видно, что они, и тот, и другой, не только одной семьи, а братья родные, которым, как говорится, в немце (то есть в порядке и сдержанности) тесно. Вот форейтор-то и вышел балагур хоть куда, он теперь может хоть с какою ни на есть особой разумом пораскинуть, а на деле до сих пор у чужих разных господ перенял только кафтан немецкого сукна, розовый галстук да папиросы. Что станешь делать с широкими натурами! Кроме крученых папирос он до страсти полюбил: «Шпилен-зи полька!» «Бутылочку похолоднее!» А разверните-ка ему немецкие-то полы, так увидите, что под ним седло

все истыкано, один войлок торчит, да что еще! Сказывают, лошадей-то он мало что не кормит, а успел где-то заложить. Старик-кучер смотрел, смотрел, слез с козел — да в кабак, благо около кабака завязли. Говорят, кучер-то позапасливей и бережет мелочь в сапогах, да что-то плохо верится. Где, кажется, пьющему человеку быть запасливым около кабака. Прежде точно и кучеру, и форейтору думать много не нужно было. Лошади были свежие, еще не умотались; чуть стали запинаться, «валяй по трем, коренной не тронь». Великое и прямое дело было в то время кнут. Но теперь форейтор догадался, что когда лошадь заноровилась, то что ни больше пори кнутом, то хуже. А вот о другом-то, таком же известном свойстве лошади они не догадываются. Иная худо зимовавшая лошадь с первого или со второго разу заноровится, так что бьются-бьются с ней, да и бросят. Глядишь, поступила на хороший корм, справилась и затем тронет с места без малейшего норова. «Люби кататься, люби саночки возить». А последнего-то ни кучер, ни форейтор терпеть не могут. Они точно не понимают, что синий

кафтан — следствие исправных лошадей и что по грязной дороге, и в еще более грязной избе, такой кафтан случайная прихоть, а не насущная потребность.

Выше я радовался возникающим в народе потребностям некоторых удобств. Но эти факты действительно отрадны только там, где они являются выражением более высокого уровня жизни.

В запрошлом году, в сезон тетеревиной охоты, мне привелось побывать у одного из героев тургеневского рассказа: «Хорь и Калиныч». Я ночевал у самого Хоря. Заинтересованный мастерским очерком поэта, я с большим вниманием всматривался в личность и домашний быт моего хозяина. Хорю теперь за восемьдесят лет, но его колоссальной фигуре и геркулесовскому сложению лета нипочем. Он сам был моим вожатым в лесу, и, следуя за ним, я устал до изнеможения; он ничего. Попал я в эту глушь как раз на Петров день. Хорь сам quasi-грамотный, хотя не научил ни детей, ни внучат тому же. У него какая-то старопечатная славянская книга, и подле нее медные круглые очки, которыми

он ущемляет нос перед чтением. Надо было видеть, с каким таинственно-торжественным видом Хорь принялся за чтение вслух по складам. Очевидно, книга выводила его из обычной жизненной колеи. Это уже было не занятие, а колдовство. Старшие разошлись из избы по соседям. Оставались только ребятишки, возившиеся на грязном полу, да старуха сидела на сундуке и перебирала какие-то тряпки близ дверей в занятую мною душную, грязную, кишащую мухами и тараканами каморку.

Старуха, верно, для праздника поприневолилась над пирогами и потому громогласно икала, приговаривая: «Господи Исусе Христе!» И посреди этого раздавались носовые звуки: «сту-жда-ю-ще-му-ся». Часа в три после обеда втащили буро-зеленый самовар, и Хорь прошел в мою каморку к шкапу с разбитыми стеклами. Там стояли разные бутылки с маслами и прокислыми ягодами, разнокалиберные чашки, помадная банка со скипидаром, а рядом с нею из замазанной синей бумаги выглядывали крупные листья чаю. Тут же, на другой бумажке, лежал кусок сахару, до неве-

роятия засиженный мухами.

— Не хочешь ли, старик, я тебе отсыплю свеженького чайку?

— Пожалуйте. Да ведь нам чай надолго, — прибавил Хорь. — Пьем мы его по праздникам. Попьем, попьем да опять на бумаге высушим. Вот он и надолго хватит.

Кто после этого скажет, чтобы грамотность и чай были в семье Хоря действительными потребностями?

X. Еще о пчелах

Хотя я и не желал говорить более о пчелах, но как перевозка их производилась на наемных подводах прошлою весной, то я не хочу упустить случая сказать несколько слов о крестьянских лошадях, этой важной отрасли общего сельского хозяйства. Читатель, верно, помнит, как я бился, приискивая порядочного пасечника, и наконец пришел к убеждению, что, будучи сам малосведущ по этой части, я не могу вести правильно пчеловодство. Пришлось перевесть пчел на пасеку к Ш. Но мне сказали, что пчелам надо до перевозки

дать облетаться, а перевозить их — после захождения солнца, когда они соберутся в ульи, и если на недальнее расстояние, то все ульи разом. Иначе пчелы утром прилетят на старое место и подымут с оставшимися губительный бой.

Для достижения этой троякой цели я дождался теплого весеннего дня и нанял крестьян Ш. с тем, чтоб они приехали со всем необходимым количеством подвод разом и под вечер. Потому ли, что крестьяне знали о тяжеловесности моих ульев или по другой какой причине, но вечером они явились, как на подбор, на таких отличных сытых лошадях, что я невольно на них порадовался. Но радость эта была, однако, непродолжительна. Мужиков оказалось мало по количеству подвод, да и тем пришлось сбиваться в кучу для осторожного подъему ульев, так что при лошадях, в числе которых нашлись матки и жеребцы, осталось мало людей. Пока хлопотали затыкать летки у ульев, стало темно. Нетерпеливые лошади не хотели смирно стоять, двигались и ломали молодые деревья. Поднялся шум, ржание; мужики старались около

ульев, и я напрасно пытался восстановить какой-нибудь порядок. Повалить воз с ульями значит побить пчел, потому что они потонут в оторвавшихся сотах. Кое-как ульи разложили по подводам, но на беду из лесу приходилось подыматься по косогору. В темноте, только что задний извощик станет помогать переднему поддерживать воз, лошадь его, порываясь за тронувшимся возом, хватит в свою очередь на пригорок, заберет в сторону, и воз с ульями грохнет со всего маху оземь. Ось или оглобли пополам, надо их переменять; подняли, переменили, два воза прошли, и опять та же история и та же мука. Вдруг слышу грохот воза и вопли прикащика: «Ноги, ноги!» Тяжелый воз, который он было бросился поддержать, действительно, повалясь, прихватил ему ноги. Надо было ожидать перелома костей, но, к счастию, этого не случилось.

Приятно видеть исправных крестьянских лошадей, но на эту исправность есть свои причины, о которых не мешает поразмыслить. Что такое наука, как не ряд наблюдений над известными явлениями, и что такое

искусство, как не произвольное соединение известных условий для определенной цели? Ни с точки зрения науки, ни с точки зрения искусства хозяйство нашего крестьянина не выдерживает даже самой снисходительной критики. Тут нет ни опыта, ни умозрения, а царствует безрасчетная рутина. Так, например, хлеб, зерно, добытое в поте лица, единственная надежда и подспорье крестьянина-земледельца, ему решительно нипочем. К вороху подошла корова, лошадь, свинья — пусть роет, мнет и сорит. Это свой *живот*. Может быть, семья после нового году будет без хлеба, этого крестьянин не соображает. Тогда он займет, а к новине отдаст вдвое за то, что без пользы пропало под ногами лошадей, кур, свиней и проч. Крестьянин до сих пор уверен, что с осени зеленям только лучше от вытаптывающей их скотины.

Полное равнодушие к собственному хозяйству продолжается у крестьянина до тех пор, пока дело не дошло до *животов*, то есть скотины и преимущественно лошади.

Бывают и тут примеры нерадения и лени; но такие примеры — исключение. Зерно, бо-

рона, хомут и пр. безразличны, а лошадь индивидуальна; она уже не вещь, она лицо, и едва ли не первое лицо в семействе. Это превосходно понял Кольцов в своем «Пахаре»:

Я сам-друг с тобою,
Слуга и хозяин.

И тут порою трудно определить, кто слуга и кто хозяин. Каждая кроха, за которую бы и ребятишки сказали спасибо, идет *животам.* Представьте себе теперь двух соседей: крупного фермера, помещика, и маленького крестьянина. У крестьянина 8 десятин земли, а у помещика 500. Первый всякую живность продает, а второй всякую живность покупает у первого, потому что домашнее ее содержание обходится дороже покупки. У нас, например, осенью молодая индейка покупается за 20 к. серебром. Разве есть возможность выкормить ее дома за эту цену? Мы только что сейчас говорили о сытости крестьянских лошадей в наших местах. Какой помещик-хозяин похвастает такими? Долго еще им придется этого дожидаться, да и едва ли когда дождутся. Вот что значит собственный присмотр и

призор, скажут на это. Действительно, собственная непосредственная деятельность тут много значит, но далеко не все. Оставя в стороне исправность крестьянской скотины, взглянем на ее численность. На восьми десятинах у хорошего крестьянина от трех до четырех лошадей, а с подростками до шести; от одной до двух, а быть может, и трех штук рогатого скота; да от десяти до двенадцати штук овец и свиней. Положим, что у крестьянина только по одной штуке крупного и по одной мелкого скота на десятину, — итого шестнадцать штук. Представим себе у помещика соразмерное числу десятин количество скота, и мы получим на 500 десятин 1000 штук. Не только такое количество, но даже 300 штук, и не при теперешнем состоянии хозяйства, а при искусственном разведении трав, едва ли возможно. В чем же заключается главный секрет успешного крестьянского скотоводства? Секрет простой: у мужика скотина и, главное, лошади все лето по чужим парам, сенокосам и хлебам, а зимой лошади в извозе. Мальчишку бьют в семье, если, имев возможность запустить лошадей на чужое поле, он

прокормил их на своем. Кроме того, до сей поры крестьянин пахал барский пар, возил на этот же пар удобрение, возил с поля снопы, сено и т. д. Ясно и естественно, что его лошадь кормилась там же, где и работала.

Прошлого весною нанимались крестьяне за семь верст возить купленный мною на постоялых дворах навоз на мой пар. На этом пару они жили две недели и, разумеется, там же кормили своих лошадей и в полдень, и ночью, во все продолжение их работы. Не помню, была ли даже об этом речь при условиях найма, до того это вытекает из сущности дела. Не могу же я ему сказать: твоя лошадь целый день работала, так ты к вечеру сгоняй ее за семь верст покормить, а утром пригони назад на работу. Если же по новому положению хозяйства большие фермы, не находя достаточного количества наемных конных рабочих во всякое время за сходную цену, будут вынуждены заводить собственных лошадей, то право или, лучше сказать, необходимость кормить лошадь там же, где она работает, перейдет с крестьянских на фермерских, и крестьяне должны будут или с большею готовно-

стию идти на конную вольную работу, или уменьшить количество своих рабочих лошадей, которые будут представлять в их хозяйстве ненужную тягость. Я говорю ненужную, потому что, полагая на тягло по две десятины в клину, одной лошади почти достаточно на три тягла, у которых теперь по крайней мере девять лошадей. Что же станут делать и есть остальные восемь или семь лошадей? Мне кажется, что естественное следствие нового порядка вещей точно так же побудит крестьянина к летнему конному вольнонаемному труду в поле, как недостаточность зимнего продовольствия гонит теперь зажиточного крестьянина зимой в извоз.

XI. Филипп и Тит

Приведу два примера особенного виду затруднений с рабочими. Филипп, доживший осень и до годового срока, поступил ко мне в годовые на новый срок и по новой цене; Тит годовой нанят в то же время на место убылого. В первые дни по приезде моем из Москвы прикащик объявил мне, что Филипп нам не годится, оказавшись нечистым на руку. «Когда его посылали в лес с его же малым, он из 1/2 сажени привез только 7 плах. Я и спрашиваю, — говорит прикащик, — а где же полсаженок? Да вот, весь тут. Это они с малым дома дров-то и скинули. А то еще Степан приходил да говорит: как бы чего не было? Филипп нас подговаривал из сараю набить воз сена ночью». — «А много ли за ним теперь наших денег?» — «Десять серебром». — «Ну тут уж не до денег, надо такого человека с рук сбыть». — «То-то и я думал, да как его сбыть-то? Это всякий станет деньги брать вперед да нарочно что ни есть сделает, чтобы согнали». И тут случай помог мне. На другой

день после нашего разговора является ко мне незнакомый черный, высокий мужик. «Что тебе надо?» — «Явите, батюшка, божескую милость. Ваш работник Филипп меня больно обидел». — «Чем?» — «В запрошлое воскресенье зашли мы с ним на постоялый двор. Дело было праздничное. Он меня угостил, и я его. Выпили на порядках. Я стал рассчитываться да распахнул грудь, а он у меня на кресте и увидал кошель. Там была красненькая, синенькая да рубль серебром. Рубль-то я достал, а те в кошеле были. Нечего греха таить, пьян был довольно. И легли мы с ним оба спать. Поутру проснулся: ни Филиппа, ни кошеля на кресте: срезан». — «Об этом ты проси станового. Этого дела я разобрать не могу». Надо же было представиться такому стечению обстоятельств, что становой, который бывает у меня раза два в год проездом на следствие, явился в дверях в то же время, когда сильно опечаленный проситель уходил от меня.

Я объяснил становому дело, прося избавить меня от искусника Филиппа, но так, чтоб он по злобе не наделал какого зла. Проситель-мужик объяснил свою претензию, ста-

новой в тот же день через сотского вытребовал Филиппа, и я рад был, что мои 10 р. исчезли вместе с ним. Во время весенней пахоты Тит, вероятно, попростудился и занемог. У него появился озноб, жар и головная боль. Как всегда в подобных случаях, употреблены были домашние средства, и через неделю больной видимо поправился, но на работу не вышел; проходят еще три дня, другие в поле, а он в избе. Наконец он приходит ко мне.

— Позвольте мне до двора.

— Да ведь ты слаб?

— Я как-нибудь дойду.

— Когда же ты придешь?

— Как поправлюсь. Дело Божье. А может, я и все лето прохвораю. Власть Божья. А мне позвольте домой.

— Ты был болен?

— Был.

— Тебя заставляют работать?

— Нет.

— Лечили?

— Лечили.

— Ты здоров?

— Здоров. Да я слаб, не смогу работать.

— Не работай. Но домой тебе незачем. Ты можешь идти, коли хочешь, самовольно; но я тебя не отпускаю.

На другой день спрашиваю у кухарки, где Тит?

— Он с утра ушел домой.

— А как он теперь ест?

— С рабочими за стол не садится, а как они со двора, так только и подавай. Ест как должно.

На этот раз случившийся в нашей стороне исправник, которому я объяснил дело, помог беде. Послали сотского на подводе за Титом.

— Сколько ты забрал денег?

— Пятнадцать рублей.

— Как же ты смел без позволения уйти оттуда, где забрал вперед деньги? Ступай, и если ты через три дня не будешь на работе, то тебя сотский представит в уезд. Там доктор тебя освидетельствует: болен — в больницу; здоров — на заработки пятнадцати рублей. Ступай.

На другой день я нашел Тита под навесом; он справлял телегу.

— Что, Тит, знать лучше тебе стало?

— Маненько отошло будто.

На третий день рано утром он был на пашне с товарищами, а осенью, отходя в срок, объяснял, что, если бы не нужда дома, остался бы еще жить. «Много доволен и вами и прикащиком», — и за две прогулянные недели прислал дожить бабу.

XII. Систематическая потрава

Около половины мая, когда трава уже значительно подымается в лугах, однажды вечером, при вечернем рапорте, прикащик объявил мне, что у нас на лугу свежие следы конские.

— Надо, — прибавил он, — взять кого-нибудь верхом и часу в первом ночи изъехать в луг.

— Хорошо. Возьми кого-нибудь из кучеров. На другое утро, увидав его, спрашиваю:

— Ну что, были в эту ночь?

— Помилуйте, да мы с кучером Ефимом сели в полночь на лошадей — да в луг. Только что поднялись на пригорок, глядим, а на на-

шем лугу человек десять з — ских и к — ских мужиков запустили табун лошадей в сорок. Мы к ним. «Что ж это вы, ребята, делаете?» — говорю я им. Они на нас. Тут по голосу я узнал нашего прошлогоднего работника Ивана, да и говорю ему: «Как же тебе не стыдно, Иван, на такие дела пускаться?» Ну, он немного и того — будто поедался. А те, з — ские, ко мне, кричат: «Бей их! Мы вас отучим по ночам шляться. Вяжи их, ребята!» Ефим видит, дело плохо, повернул лошадь да прочь. А я соскочил с лошади, да и говорю: «Ну, коли вы разбойники, вяжите меня». Тут уж Иван стал их уговаривать, и согнали лошадей. Пуще всех Фомка з — ский озорничал. Я ему сегодня стал на меже говорить, а он мне: «Чего ты? Я тебя и в глаза не видал».

Однако становой допросил Ивана, уличил и наказал Фомку в пример другим, — и потрава лугу из систематической превратилась, по крайней мере, в эпизодическую. О мелких, тем не менее в совокупности весьма ощутительных потравах я говорил уже столько, что не хочу дальнейшим о них воспоминанием тревожить себя и докучать читателю.

XIII. Философия и история одной молотильной машины

Найдутся, вероятно, читатели, которых может заинтересовать обещанное будничное отношение крестьян к новому для них и для всех, вольному земледельческому труду; а быть может, тем же читателям никогда не доводилось видеть молотилки или составить себе о ней ясное понятие.

Для них я мог ограничиться немногими словами, а именно: молотильная машина есть снаряд, состоящий из двух главных частей: привода и собственно молотилки. Привод — зубчатое горизонтальное колесо, вращаемое вокруг неподвижной оси рычагами, к которым припряжены лошади, и сообщающее посредством врытого в землю вала (незримого) вращательное движение так называемому маховому колесу. Самая молотилка — ящик с горизонтально вращающимся цилиндром, вооруженным железными зубьями, проходящими в своем движении от подобных же неподвижных зубьев на таком

расстоянии, что зерна растений не раздавливаются, а только выбиваются из оболочки и отделяются от стебля. На наружной стороне молотильного ящика, на самой оси цилиндра, небольшое колесо. Стоит связать это колесо с маховиком привода посредством ремня и заставить лошадей ходить и двигать рычаги (водилы), как беспощадные зубья цилиндра начнут протаскивать через одно отверстие ящика подносимые к ним растения и выбрасывать их истерзанными в противоположное. Вот и все. Стоит ли об этом толковать долго? Так думаете вы. Но для меня молотильная машина имеет не одно значение. Мы видели выше, что она не только работник, но и регулятор работ, самый бдительный надсмотрщик. Пока она работает, никто из ее помощников не может не работать. Но всего этого мало. Посмотрите на этих бедных лошадей! С каким усилием, с какою ревностию тащат они за собою тяжелые водилы! Как задней, по ее мнению, лошади, хочется догнать переднюю! Сколько пути придется несчастной четверне пройти в один день! И завтра то же, и послезавтра опять, и опять то

же! Бедные животные! Они без отдыха идут вперед и вперед, все с одинаковым напряжением, и увы! все по тому же заветному кругу, из которого им не дано выступить ни на шаг. И как бескорыстно-добросовестны эти усилия! Вот оно, истинное искусство для искусства! Трудолюбивые двигатели, они не замечают скрытую под их же ногами связь с молотилкой, единственно от которой им так и трудно совершать свой путь. Для постороннего поверхностного наблюдателя эти двигатели заняты самым бесплодным и даже смешным делом вечно кружиться на одном месте. Такая деятельность напоминает ему работу Данаид, и он с насмешливою улыбкой уходит из небольшой пристройки, служащей театром бесполезных кружений. «Точь-в-точь философская деятельность духа в обширном значении, — думает поверхностный наблюдатель. — Неужели они не видят, что ходят на привязи, с которой не могут сорваться? Вон, вон отсюда! Здесь душно, темно, сыро: туда, в большой, светлый сарай — там, по крайней мере, кипит плодотворная деятельность». Действительно, в большом сарае ис-

тории уже нельзя сомневаться в результатах. Сокрушительные зубья цилиндра с быстротою молнии прохватывают все, что бы им ни попалось к роковому выходу. И очищенное зерно, и переработанная солома вылетают из-под них могучим золотистым каскадом. Нет такого проросłого и, по-видимому, никуда не годного снопа, из которого бы машина не выделила здоровых зерен. Попадись препятствие, щепка, палочка, машина дрогнет, но препятствие уже разлетелось прахом.

Все это прекрасно, господин наблюдатель, но отчего вы не постараетесь стать на точку, с которой бы вы могли обозревать единовременно оба явления и уяснить себе взаимное их соотношение? Вы бы сейчас заметили, каким сильным толчком отозвался на лошадях-двигателях удар, полученный машиною от попавшей в нее щепки. Вы бы поняли, что единственною целию механики было соединить в двигателях две силы: центрального влечения и силу центробежную. При каждой отдельно взятой не было бы самого движения и той плодотворной игры сил, которая вас так пленяет в большом сарае. Вам бы ста-

ло ясно, что движение во всем механизме одно, но что, будучи в приводе горизонтальным, оно в молотилке переходит в вертикальное. Вы бы поняли, что у хозяина две равносильные заботы. Первая, чтобы лошади шли тем естественным ходом, на который рассчитан весь механизм, и не порывались придавать усиленными движениями необычайной быстроты молотилке. Этого механизм не выдержит. Или молотилка полетит вдребезги, или связь между ею и приводом лопнет. Вторая забота, чтоб под могучие зубцы машины как можно реже попадали посторонние тела, вроде щепок, камней и т. п.; в противном случае, при чрезмерном толчке, произойдут те же самые явления, то есть порча машины или разрыв между ею и приводом. Вам не случалось видеть этого разрыва во время самого ходу, когда, например, ремень соскакивает с *маховика?* Разумеется, машина еще прежним импульсом повертится-повертится да и остановится; но лошадей тут-то и не остановишь. Откуда прыть возьмется! Они почувствуют удивительную легкость. Тут уже философская деятельность пе-

реходит в софистику...

Но я слишком долго остановился на сравнении. Я хотел рассказать историю *одной* молотильной машины и потому возвращаюсь к ней.

Во второй половине февраля по отвратительным дорогам обе машины, молотилка и веялка, более или менее благополучно прибыли из Москвы по назначению. Имея в виду средних рабочих лошадей, я при заказе просил г. Вильсона прислать мне привод не о двух, а о трех водилах, что он и отметил в книге при мне. Присланный привод, к сожалению, оказался о двух водилах. Делать было нечего; надо было пособить этому горю домашними средствами. В мае, по условию, г. Вильсон должен был прислать машиниста для установки машин на месте и приведения их в полное действие. Однако май приходил к концу, а обещанный машинист не являлся, и разобранные части машины лежали нетронутые. Я написал к г. Вильсону и получил ответ, что машинист на днях должен выехать и явиться ко мне. Май и половина июня прошли в напрасных ожиданиях. Я возобновил

мою просьбу и получил новые уверения в скорой высылке машиниста; но когда он и в последних числах июля не являлся, я послал уже г. Вильсону письменные вопли, указывая ему на необходимость молотить рожь для предстоящих посевов. На этот раз я не получил никакого ответа, и в начале августа принужден был домашними средствами ставить машину. Не стану описывать пытки, которую мне пришлось выдержать с неискусными в этом деле деревенскими мастерами; довольно того, что машина наконец была установлена и, худо ли, хорошо ли, стала молоть. Нужно прибавить, что она ломалась почти ежедневно, а когда в конце осени наступила сериозная молотьба, то я уже и сказать не могу, сколько раз отдельные ее части пребывали в кузнице и на орловском литейном заводе. Когда *ролик*, надавливающий горизонтальное колесо привода на шестерню после долгих и многоразличных мучительных капризов окончательно сломался, я вынужден был прибегнуть к помощи соседнего машиниста-дворового. Разумеется, он нашел в машине все неудобным, условился привести все

в наилучший вид, взял с собою *ролик,* обещав установить его назавтра самым прочным образом, выпросил задатку и уехал; через два дня мой посланный вернулся с восстановленным роликом и известием, что механик уехал за полтораста верст и когда вернется — неизвестно. Вновь привернутый ролик отлетел при втором обороте колеса, и мое драматическое положение дошло до конца 5-го акта. Но тут судьба сжалилась надо мной и привела ко мне механика-дилетанта, который и выручил меня из окончательной беды. По его указаниям, исправленная и уложенная машина молотила всю зиму, хотя и не совсем оставила милую привычку ломаться от времени до времени. Легко представить, как сетовал я на г. Вильсона, от которого уже и не ждал механика. С тем я и поехал в половине декабря 1861 года в Москву и дня через два по приезде отправился к г. Вильсону.

— Однако, г. Вильсон, вы поступили со мною безжалостно. Я измучился над вашею машиной.

— О! В этом отношении вы можете быть покойны, — был ответ. — Не вы одни на меня

сетуете. Я в нынешнем году *надул* всех моих доверителей. Это общая их участь в нынешнем году.

Признаюсь, этот ответ так меня озадачил, что я на минуту замолчал, но тотчас же прибавил:

— Я должен вам заметить, г. Вильсон, что в настоящее время готовлю статью о сельском хозяйстве и считаю моим долгом рассказать в ней все наше дело, как оно было.

— Я вас даже сам буду об этом покорнейше просить. Тогда, быть может, войдут и в мое положение. Вот в этом ящике у меня восемь паспортов машинистов. Все они забрали вперед по семидесяти да по восьмидесяти рублей серебром и поехали ставить машины по покупателям, да вместо того разъехались по своим деревням. Писал я, писал к местному начальству и пишу до сих пор, паспорта у меня; но ни денег, ни мастеров по сей день не вижу.

На такой красноречивый довод я не нашелся ничего сказать. Впрочем, г. Вильсон обещал непременно прислать ко мне машиниста в нынешнем году. Посмотрю, буду ли я

на этот раз счастливее.

XIV. Скачка по гречихе и последствия скачки

Прошлогодний яровой клин мой, большую часть которого, по возвышенному положению, можно обозревать из усадьбы, одною стороною прилегает к землям деревни П., а другою к значительной даче О. На эту сторону б — ские крестьяне выезжали всею барщиной подымать пар, и мы принуждены были бдительно наблюдать за тем, чтобы лошади, пасущиеся на пару, не побивали нашего ярового. Однажды — это было тотчас после обеда — прикащик заметил о — ского крестьянина, без церемонии проехавшего верхом с своей межи на противоположную, прямо через наши овес и гречиху. Верховой проехал в деревню П. и очевидно должен был возвращаться к своим тою же дорогой, то есть опять по хлебу. Ближе к усадьбе наши рабочие в свою очередь подымали пар. Прикащик, выждав немного, поехал верхом на жеребце на перехват проехавшему верховому; но вместо

верхового, поднимаясь на пригорок, захватил пешего мужика, шедшего по хлебу в одном с исчезнувшим верховым направлении. Я в это время гонял на корде лошадь и, увидав сначала верхового, а потом пешего мужика, захотел лично убедиться, что за причина такого бесцеремонного путешествия по моему яровому? С этою целию я пошел пешком вслед за уехавшим прикащиком. Еще далеко не дошел я до ярового, а прикащик уже поворотил мужика к усадьбе, куда он и пошел видимо без всякого сопротивления. Продолжая идти навстречу идущему ко мне крестьянину, я решился быть как можно хладнокровнее.

— Что же это вы, ребята, — говорю я подошедшему крестьянину, — среди белого дня ездите и ходите по яровому? Разве это хорошо? Я на вас буду жаловаться.

— Виноваты, батюшка, грех такой случился.

— Какой тут грех! Если б еще лошадь занесла, а то я сам видел, как сперва малый проехал рысью через весь клин, а за ним и ты пошел, как будто так и следует.

— Виноваты, батюшка.

— Ты о — ский?

— Точно так.

— Как тебя зовут?

Он назвал себя по имени, отчеству и двору, и я записал его в памятную книжку. После этого я хотел его отпустить; но, вспомнив, что он мог назваться вымышленным именем, я спросил еще раз, точно ли он тот, кем назвался. «Да меня ваших два работника знают». Небольшой луг отделял нас от наших рабочих, и поэтому я позвал его дойти до них для справки. Показание его оказалось верным, и я его отпустил. В эту минуту на глазах у всех нас происходило довольно оригинальное зрелище. Вернувшийся на клин прикащик столкнулся с возвращавшимся через наш клин верховым мужиком. Увидев прикащика, мужик пустил лошадь по гречихе во весь дух. Но прикащиков жеребец скоро догнал лошадь крестьянина, и, несмотря на увертки последнего, было ясно, что угонки через две мужик будет пойман. Убедясь в невозможности отвертеться верхом, мужик соскочил с лошади и стал делать пешком такие зигзаги,

что ему позавидовал бы любой заяц. Брошенная мужиком лошадь побежала к своему табуну, а прикащик, видно, в свою очередь смекнул, что ему верхом не уследить за изворотами пешего. Соскочив с жеребца, он пустился пешком догонять мужика. «Э-э-эх! догонит он его! И-и-ишь, как припустил!» — раздавались возгласы наших рабочих. Действительно, в минуту мужик был пойман. Повидимому, не одних наших рабочих заинтересовала происходившая сцена. О — ские мужики, побросав сохи, гурьбою двинулись к меже; отпущенный мною мужик подошел к борцам, я тоже пошел к ним навстречу, а они все трое повернули ко мне. Этим и следовало окончиться всей скачке и беготне, но судьбе было угодно еще усложнить дело. Брошенная спасавшимся мужиком лошадь, вероятно, была матка, и потому прикащиков жеребец понесся за нею следом и скоро очутился на чужой земле, в чужом табуне. Заметив бегство жеребца и боясь, чтобы чужие лошади не избили его в табуне, прикащик оставил шедших ко мне навстречу мужиков и бросился со всех ног в погоню за жеребцом. Взволнован-

ный и ошеломленный собственным усиленным движением, он мчался как угорелый к чужой меже, но не успел он добежать до нее, как вся барщина с криками и гиканьями кинулась на него. На этот раз уходить пришлось уже ему, и он бросился бежать уже в мою сторону, с каждым мгновением отделяясь все более и более от гикающей и бегающей по моему овсу барщины. Между тем оба мужика, старый, отпущенный мною, и молодой, пойманный прикащиком на гречихе, подошли ко мне.

— Как же это ты нашел конную дорогу по хлебу?

— Батюшка, позвольте мне вашего кнутика, — обратился ко мне старик.

— На что тебе?

— Да одолжите на одну минуту.

Не понимая, в чем дело, я передал старику арапник. В то же мгновение молодой парень в белой рубахе упал на колени и пополз ко мне, а старик начал его преусердно хлестать по спине, приговаривая:

— Это сын мой, батюшка!.. Я из-за тебя, подлеца, сам душою покривил на старости

лет. Как вижу, что он поехал по хлебам, и я, делать нечего, побежал, хоть в П — х перенять его. Вот тебе наука: во всю жизнь не забудешь отцовского наставления. И не проси милости.

Я уже вынужден был укротить пыл расходившегося не на шутку старика. В это время, преследуемый издали ревущею барщиной, прикащик добежал до меня с воплями, что разбойники хотят его убить и не отдают убежавшего жеребца.

— Что за вздор ты говоришь? — перебил я его возгласы. — Что за чепуха там у вас творится? — обратился я к старику.

— Да все с глупого, знать, разума, — отвечал старик. А между тем я быстрыми шагами пошел навстречу бежавшей по овсу толпе. Оба мужика и прикащик неподалеку следовали за мною. Увидев меня, несущаяся фаланга тотчас же заколебалась и, оборотясь назад, медленно пошла на свою межу. Только человек десять левого фланга, стоявших не на овсе, а на лугу, сбились в кучу на дороге и отступали так медленно, что я мог их догнать.

— Что вы тут делаете?

— Да мы так. Да нашего парня изловили. Да мы ничего. Мы, значит, только так, значит, — послышалось из толпы.

— Разве вашего парня обижали или били? Разве вы судьи в своем деле? Разве можно оравой бегать по чужому хлебу? Отчего же вы не даете жеребца?

— Да все, батюшка, сдуру, — перебил меня шедший за мною старик. — И уйдут все, и сейчас сами поймаем и приведем жеребца.

Все сказанное стариком было немедленно исполнено, и мир восстановился.

Сами факты небольшой трагикомедии так красноречивы, что я не прибавлю от себя ни слова.

XV. Испольная десятина

Выше было говорено, что предшественник мой, не управляясь с запашкой, был вынужден отдавать большую ее часть исполу, то есть за пользование отдаваемою землею получать только половину продуктов свезенными и сложенными на гумно. По-видимому, что может быть проще и удобнее этой системы, тем более, что чистая прибыль, получаемая при наилучшей организации полного собственного хозяйства, если взять в соображение все сопряженные с ним расходы, едва ли превысит прибыль испольную? Наемщик при обработке испольной десятины не менее хозяина заинтересован доброкачественною подготовкою почвы и охранением хлеба от побоев и потрав. Чего же лучше? и покойно, и безубыточно. Но дело в том, что наемщик, свозя с вашего поля половину продуктов, тем самым лишает вас возможности удобрять его, и в несколько лет земля будет совершенно истощена. Всякая система где-нибудь да пригодна. Может быть, в Малороссии, где, по

большому количеству нови, возможно обходиться без удобрения, испольная раздача земель действительно выгодна, а не разорительна, но в наших местах об этом не может быть и речи. Как мы видели выше, половина моей озимой запашки в прошлом году была моим предшественником роздана исполу, и, хотя я записал по порядку имена главных съемщиков и количество снятых каждым из них десятин, тем не менее весной не мог понять, как они разберутся со своими участками. Главные наемщики раздавали свои участки дробными частями, что привело к окончательной запашке и уничтожению меж, которые мне по окончании осенних работ пришлось восстановлять с неимоверными усилиями. Можно ли вести вольнонаемное хлебопашество без ясно обозначенных меж? Если, как мы видели, так трудно уберечь сенокосы, то еще труднее уберегать отаву, и потому в наших местах тотчас по уборке сена на лугу пускают скот на подножный корм. Это время самое утомительное для рабочих, и потому, скрепя сердце, иногда проходишь молчанием небольшие побои и потра-

вы, причиненные в *ночном* собственными лошадьми, под надзором истомленных дневными трудами рабочих. Когда у нас не будет потрав со стороны соседей, явится травосеяние и с ним ночное продовольствие рабочих лошадей на конюшне кошеным кормом. Тогда прекратится и нелепая, обременительная для рабочих гоньба в *ночное,* отрадная для одних конокрадов. Но скоро ли наступит для русского земледелия это вожделенное время? Недели через две после уборки сена я узнал, что ночью наши лошади наделали следов по ржи. Я велел подтвердить рабочим о более бдительном надзоре; но не делал из этого никакой истории, тем более что потоптанной ржи не поможешь. Рожь поспела и, усердно принявшись косить собственный посев, я дал знать половинщикам, чтоб и они принимались за работу. В самый ее разгар, проезжая окраиной луга, недалеко от одного из наемщиков я заметил, что он машет, делая знак, чтобы я остановился. Я задержал лошадь, и мужик пошел ко мне навстречу.

— Что тебе надо? — спросил я его.

— Потрудитесь, батюшка, доехать до моей десятинки. Извольте посмотреть, что тут такое, — продолжал мужик, когда мы остановились около его десятины, вдоль которой пролегали два или три следа, а пятая часть была значительно спутана.

— Что ж мне, батюшка, с нею делать? Ведь вот это место ни сжать, ни скосить. Мы уж было зачали, да измучились.

— Во-первых, ты говоришь вздор. Спутанная рожь, я вижу, недурна, и ее можно сжать. Да к чему ты меня привел сюда? Чем же я тебе могу пособить?

— Мне, батюшка, очень обидно. Вот рядом тоже моя десятина; я про ту ничего не говорю, та цела, а эта извольте видеть! Больно обидно. Уж вы прибавьте что-нибудь за побои. Пастух сказывал, это ваши работники в *ночном* потоптали.

— Ты прежде ее всю сожни и скоси да сложи в копны. Видишь, немного остается. Вечером я буду тут проезжать, и тогда мы с тобой перетолкуем.

— Слушаю, батюшка.

Действительно, я подъехал к этой десятине в то время, когда скашивались последние копны.

— Ну что? сколько копен стало на ней? — спросил я.

— Да восьмнадцать копенок. Что ж, батюшка, положите что-нибудь.

— За что же я тебе стану платить? Я с тебя ничего не полагаю за то, что смотрел за вашими десятинами так же, как за своими, все лето. И хвастать мне этим нельзя. Зная, что хлеб испольный, я берег столько же свое, как и твое, а если грех случился над нашим общим хлебом, то грех пополам: мы терпим убыток пополам.

— Да мне то уж больно обидно, батюшка! Скотинка-то твоя, и твои рабочие побили хлебушка. Ведь я его год ждал.

— Разве я меньше ждал? Подумай. Чего ты у меня требуешь? Нашу общую с тобою десятину потоптали рабочие, потоптали, как оказывается, не больно ей во вред. Ты видишь, рядом с твоими десятинами у меня в целом ярусе стало не по восьмнадцати, а только по одиннадцати копен, и за это ты с меня же хо-

чешь взять деньги. Ты говоришь, что твоя работа пропала. Изволь, я тебе заплачу за твои семена и за работу, а ты отдай мне весь хлеб.

— Нет, как можно!

— Не то выбирай любую из моих десятин. Там одиннадцать копен, а у тебя восьмнадцать.

— Да ведь эта какая десятина-то! Это новь. Мне ее-то уж больно жалко. Вам, батюшка, следует за побой выворотить с твоих работников.

— Как же я с них стану выворачивать? Уговору у нас такого не было, и теперь я не в силах этого сделать.

— Ты, батюшка, скрути-ка их хорошенько, так они духом виноватого найдут. Ты их во как скрути, — прибавил мужик, сжимая свой кулак, — чтоб из них, подлецов, сок потек.

— Значит, ты хочешь, чтобы я судом с них требовал уплаты за побой. Но я на них не ищу, а если ты такой ретивый и добрый человек, что желаешь у нас порядок завести, ступай, проси на них. Я от себя дам восьмнадцать серебром на хлопоты.

— Нет, кормилец, лучше вся десятина пропадай, чем по судам за нею ходить. А вы их сами прикрутите, так небось! Что на них глядеть-то? Мошенники, только деньги брать, а хозяйского добра не жалко!

Убедясь окончательно в невозможности вразумить мужика, я переменил тон и объявил, что если он не согласен ни на одну из предлагаемых мною сделок, то ничего не получит.

Тем дело и кончилось, что не помешало тому же крестьянину позднею осенью возобновить свою попытку сорвать с меня хотя что-нибудь. Он приходил опять толковать о том же и так же безуспешно. Пробуют.

Выше я упомянул о возке зернового хлеба на рынок, в противоположность с возкою песку; теперь скажу об этом предмете несколько слов. Осенью я запродал часть ржи орловскому купцу, обязавшись доставить хлеб к известному сроку. Прослышав, что мне нужны подводы, окрестные крестьяне с разных сторон частенько приходили ко мне наниматься за тридцатипятиверстное расстояние. Первый запросил с меня неслыханную

цену 60 копеек серебром с четверти, то есть около 8 копеек с пуда. Я не давал ему и половины, и он уехал. Но ни странно ли, что мужики, приезжавшие вслед затем из совершенно других местностей, затвердили те же 60 копеек?

Вечное *«как люди так и мы»* у них не только переходит из уст в уста, но, кажется, разлито в воздухе. Была единственная надежда на Алексея-плотника, простоявшего у меня с артелью все лето. Он заблаговременно объявил мне, что не только пришлет подвод шесть своих, но соберет еще охотников в своей деревне. Не дороги мне были его шесть подвод, а нужен был его пример. Я знал, что, повези он на шестерне хотя по три копейки с пуда, все повезут по той же цене. Дорожить двумя-тремя лишними рублями он не мог, получая у меня, *по душе*, многое без ряда. Но и тут я ошибся, — и он стал дожидаться каких-то людей. Наконец снег выпал, и охотников по назначенной мною цене, даже с уступкой, явилось много.

XVI. Федот и праздник Михаила Архангела

Хотя мимо меня, в полуверсте, пролегает старая мценско-курская большая дорога, но по случаю шоссе почтовые станции на ней упразднены и спасительные в зимние метели старые ракиты безжалостно истребляются соседними крестьянами и проходящими гуртовщиками. Зато почти на половине пути, на самой большой дороге, сидит зажиточный, некогда богатый двор Федота. Отец Федота, бывший крепостной, откупился с своею семьей на волю, купил у барина сто десятин земли, в том числе несколько десятин строевого дубу, выстроил на большой дороге постоялый двор и на превосходных лошадях держал вольную станцию. Старик, само собою разумеется, был отличный хозяин, держал детей в страхе Божием, и семейство при нем процветало.

Двор их я знаю уже лет двадцать пять и помню их патриархальный быт еще в то время, когда теперешний хозяин Федот и пья-

ный брат его, мценский ямщик, возили, молодыми парнями, проезжих на превосходных отцовских лошадях. Этот промысл перешел к ним от отца, но мало-помалу — особенно стало это заметно в последние три-четыре года — все у Федота пошло под гору. В праздник Федот неминуемо пьян, и добрые лошади от дурного корму и присмотру еле-еле таскают проезжие экипажи.

Как бы то ни было, за неимением почтовых, нам при поездках в Мценск приходится или высылать своих на подставу к Федоту, или, доехав до него, брать его лошадей.

Шестого ноября мне нужно было побывать в Мценске, куда должен был приехать и Ш. Дорога от осенних проливных дождей была отвратительная; тем не менее я доехал до Федота на своих без особых приключений. Федота не было дома, так называемая горница для проезжих была не топлена, чего в прежние времена не случалось, и я был вынужден отогреваться в общей избе, состоящей из двух старых, покривившихся и подпертых срубов. Трудно себе представить более грязное и запущенное человеческое жилище. Я застал

двадцатилетнюю хозяйскую дочь одну, если не считать старуху-мать, от головной боли валявшуюся под грязным полушубком на лавке. Девушка, сама в грязной рубахе и не менее грязном сарафане, мела дырявый скачущий пол, покрытый перьями.

— Или кур щипала? — спросил я ее, закуривая папироску и начиная ходить взад и вперед по избе, чтоб отогреть ноги.

— Как же, к празднику, к Михаилу Архангелу. У нас престол. Уж я их щипала, щипала! В одни руки. Ишь мать-то от головы другую неделю валяется.

Проходя взад и вперед от двери к печке, я заглянул в так называемую *загнетку* (площадку перед устьем). В углу ее, небольшою пирамидой, возвышались обгорелые, паленые бараньи головы.

— Эка вы баранов-то надушили. Куда вам такая пропасть, пять баранов?

— Там их шесть, — отвечала девушка не без гордости. — Как же? праздник! Все поедят. Священники будут.

Овца у нас стоит три рубля серебром и весит около пуда, подумал я. Куда такую про-

пасть мяса одиноко сидящему двору? Да и какой расход!

Девятого ноября мы с Ш. на усталых лошадях приближались на возвратном пути к усадьбе Федота.

— Кажется, — заметил Ш., - придется нам сегодня долго дожидаться, пока соберут тройку. Федот теперь или лежит, или сидит с красно-сизым носом, и толку долго не добьешься.

На пороге сеней нас встретил какой-то залихватски развеселый парень в синем кафтане и красной рубашке.

— Изволите, господа, лошадок спрашивать? В ту же минуту соберут. Про Федота мы и не спрашивали, в уверенности получить неизбежный ответ: «Отдыхает, того, маленько выпивши».

Каково же было наше удивление, когда в дверях перегородки показался Федот, да еще совершенно трезвый.

— Что это ты, Федот, не пьян? — спросил его Ш.

— Нет, будет. Вчера точно, сильно было в голове, а сегодня не надо. Сегодня я еще ни-

ни, маковой росинки во рту не было, а не то что пьян.

— А вчера-таки справил праздник? — спросил я его в свою очередь. — Кто же гости-то были?

— Да вот, парень-то, что, может, видели в сенях, это мой зять с женою; кое-кто из ближних соседей, человек пять было, может статься; да причет церковный. Как же, нельзя! Не то, что кто-нибудь; надо угостить как должно. Нельзя же.

— А сколько, скажи-ка правду, стал тебе вчерашний праздник? Как-то бойко подмигнув одним глазом, Федот наклонился ко мне и вполголоса произнес: «Рублей в пятьдесят серебром обошлось. Я тут не считаю домашнего, муки, крупы, картошек».

Вот отчего, подумал я, так тупы стали его лошади. Мало ли годовых праздников, и если каждый стоит ему хоть в половину против престольного, то денег, необходимых в хозяйстве, пропразднуется немало. Нам запрягли лошадей, и я потребовал счет, который, по недостатку мелочи, редко у нас бывает очищен копейка в копейку. Сосчитав мой расход,

Федот лукаво поглядел на меня и скинул две косточки на счетах.

— Эти два рубля за мною были еще с позапрошлого разу, — сказал он.

— Каких два рубля?

— А помните, вы проезжали в коляске да за четверку следовало три рубля, а вы мне дали ассигнацию. Я посмотрел на нее, отправя вас с малым, а там не три, а пять рублей. Думал я, ошибся ли это он, или пытает меня. Верно, спросит. А вот вы и в другой после проезжаете, а не спрашиваете. Зачем же мне даром пользоваться?

Я очень рад, что пришлось окончить мои заметки рассказом об этом отрадном факте; а то, быть может, и читателю, так же как и мне, не раз приходил в голову нижеследующий вопрос.

XVII. Вопрос

Отчего в моих заметках выступает преимущественно темная сторона нашей земледельческой жизни?

Ответ прост. Я ничего не сочинял, а старался добросовестно передать лично пережитое, указать на те, часто непобедимые препятствия, с которыми приходится бороться при осуществлении самого скромного земледельческого идеала. Затруднений и препятствий много — но где средства устранить их и сровнять дорогу всему земледельческому труду, этому главному, чтобы не сказать единственному, источнику нашего народного благосостояния? Наше правительство и наши *передовые* люди деятельно заняты разъяснением и разрешением многоразличных задач, связанных с этим вопросом. Даже в литературе нельзя отрицать темного стремления по этому пути; но как странно выражается порою это стремление! Сколько, например, говорится у нас о *пауперизме* и *пролетариате*. Наши публицисты изо всех сил стараются до-

казать неудобство и зловредность колоссального пролетариата в государственном организме. Нельзя предположить, чтобы люди, пересыпающие перед публикой все возможные экономические теории и в сжатых очерках, и с мелкими подробностями, сами не понимали социально-экономических моментов народной жизни — не понимали бы, что при редком народонаселении и огромном количестве *нови* возможно и в некоторых отношениях удобно общинное землевладение, делающееся при густом населении и малоземельности невозможным, — не понимали бы, что пролетариат — следствие, с одной стороны, густого населения, а с другой — вызываемых самою необходимостию машин, — что он седина гражданственности и не может появиться при ее зачатках. Что такое страна пролетариата, в двух словах? Страна, где руки ищут работы, а работы нет. Что такое Россия? Страна, в которой необходимейшая работа ищет рук, а рук нет. Не очевидно ли, что у нас в настоящее время забота об устранении пролетариата не иное что, как заботы ленивого мальчика, который, вместо того чтоб

учить латинские склонения, становится пред зеркалом и говорит: «Когда я буду большой, у меня вырастут усы и борода. Усы я буду завивать, как дяденька, а бакенбарды запущу, как у папаши». Действительно, при благоприятнейших условиях к умножению народонаселения и у нас лет через 500, может быть, вырастет борода пролетариата. Но что тогда будет, никто не знает; а если тогда будут журналы, то они на досуге побеседуют об этом предмете.

С вопросом о свободе сам собою возникает вопрос об образовании. Общество может руководиться или законом произвола, или законом разумной необходимости, будет ли этот закон отыскан сверху, снизу или из середины. Но накопление знаний, обусловливающих образование, требует напряженной специальной деятельности, большею частию несовместной с чисто материальными заботами, поглощающими всю жизнь большинства. Эта вековая истина только все более и более разрастается по мере ежедневно расширяющегося круга науки. Десятилетним Каину и Авелю достаточно было десяти вечер-

них уроков матери для того, чтобы выдержать полный докторский экзамен во всех возможных науках. Недаром немецкий поэт говорит:

Es gab kein Buch in ganz Athen,
O! schreckliche Verworfenheit!
Man wurde vom Spazierengehn
Und von der Luft gescheit.

Увы! куда девались эти удобные, покойные времена? Мальчик не успеет еще пройти доисторических фактов, как новейшая история в один день Севастополя и Сольферино наготовит их ему в один день столько, что бедняк с ними и в неделю не управится. Ясно, что полное умственное образование, равно как и богатство, не каждому доступно по его материальным и моральным средствам. Эти роскошные плоды, возбуждающие общую деятельность своею хотя бы и отдаленною красотой, растут на ветвях дерева под ласкающими лучами солнца и уже оттуда, зрелые и плодотворные, падают к корню. Государственное хлебное дерево единовременно и распускается, и цветет, и оплодотворяется, и

завязывает плоды, и выманивает их до окончательной зрелости. Как же, однако, тут быть? Не мы первые и не мы последние живем на свете. Есть же государства благоустроенные, где местные законы вытекли из исторической необходимости и где эти законы глубоко уважаются массой народа, которая между тем никак не может похвастать, чтобы в ней повсеместно было развито образование. Стало быть, там у них есть еще какая-нибудь сила, вследствие которой скромный листок подчиняется общей гармонии растительности, чтобы в свою очередь пройти, быть может, через все ее фазы до зрелости сочного плода? Есть, и это сила не столько научное *образование*, доступное немногим, сколько *воспитание*, доступное всем. Перенося наше сравнение из мира растительного в мир человеческих возрастов, мы тотчас увидим, что образование доступно человеку зрелому и невозможно в ребенке, которому между тем воспитание необходимо.

Воспитание есть та нравственная почва, в которой кроется корень истинного образования. Без этой почвы самый образованный че-

ловек нередко является каким-то ученым дикарем, в котором, вопреки всем данным науки, бессознательно бродят неукрощенные и неуравновешенные инстинкты. Образование живет в области мысли и знания, воспитание совершается в нравах. К чему лукавить? Образование нередко в своих тенденциях враждебно воспитанию. Одинаково ли с воспитанием смотрит образование, например, на рыцарскую месть за личное, оскорбление? А представьте себе целый народ, в котором бы совершенно замерло это чувство чести, и поверьте, что самый образованный человек отвернулся бы от этой всеобщей и безвозмездной потасовки.

Благодатные плоды вечно творческого духа все ниже и ниже собственною тяжестию наклоняют к корню плодоносные ветви. Но на все свое время и свой черед. На безвременье ничего не бывает. Было время, когда верхушки нашей народности должны были оплодотворяться цветом иностранной цивилизации; тогда нам еще рано было думать о плодах, мы еще гордились ранними цветами, хотя много в них впоследствии оказалось пу-

стоцвету. Еще в очень недавнее время титул человека *воспитанного* был лучшею рекомендацией. Но теперь верхние побеги начинают сгибаться под наливающимися плодами, и в атмосфере высшей интеллигенции одного титула *воспитанности* недостаточно. В этом кругу надо уже самобытно действовать, а благовоспитанный человек только никого не толкает, ничего не ломает, никому не мешает, а для самодеятельности может еще не иметь достаточных способов. Жизнь в этой сфере кроме воспитания требует от человека умственного образования. Зато для нижних ветвей, в свою очередь, наступает время расцвета и оплодотворения, которое совершится тем проще и естественнее, что за семенною пылью не нужно обращаться в чужой сад, а она найдется тут же на родном дереве.

Наступило время, настоятельно требующее общего народного *воспитания*. Здесь не место подробно рассматривать признаки и сущность воспитания, заключающиеся преимущественно в непоколебимом уважении к законности, личности и собственности. Остается только спросить, какими путями можно,

с большею вероятностью, достигнуть желанной цели? Чтобы разрешить этот вопрос, надо сделать другой: что такое воспитание? Рядом с сознательным образованием воспитание при своем начале есть привычка свободно действовать в кругу ясно обозначенных неизменных законов, привычка, переходящая со временем в природу. Ребенку до тех пор неизменно говорят: не клади локтей на стол, не зевай в обществе, не толкайся, не становись к другим спиною, пока это не станет у него второю природой и ему самому не будет совестно и неловко нарушение этих правил. Только тогда можно ожидать, что он поймет, как нехорошо оскорбить другого невниманием и невежеством. Итак, первое средство к народному воспитанию — положительные и бдительно охраняемые законы. Вы хотите правильного, свободного и нерутинного сельского хозяйства. Прекрасно! Действительно, тут малейший успешный пример весьма важен и может повести к благотворным последствиям. Я только что начал сеять яровую пшеницу, а уж один работник, видя успех, просил у меня семян для своего домашнего

хозяйства. Оградите же честный труд от беззаконных вторжений чужого произвола. Тут не нужно никаких крутых мер. Объявите самый небольшой штраф за каждую загнанную на полях скотину, например, хоть 25 к. серебром с лошади, штраф, без которого скотина не может быть возвращена хозяину, и т. д., и поверьте, что через год слово *потрава* исчезнет из народного языка. Но положительные нелицеприятные законы, внушающие к себе уважение и доверие, только один из многих путей к народному воспитанию. Рядом с ним должны прокладываться и другие, для внесения в народные массы здравых понятий взамен дикого, полуязыческого суеверия, тупой рутины и порочных тенденций. Лучшим, удобнейшим проводником на этих путях может, без сомнения, быть *грамотность.* Но не надо увлекаться и забывать, что она не более как проводник, а никак не цель. Говорите: нужно во что бы то ни стало *воспитание,* это главное. Нам стыдно уже поступать в этом деле так же опрометчиво, как поступали некогда невоспитанные и равнодушные родители, которые совали указку в руки первому

пьяному пономарю или французскому кучеру.

Тяжел и высок нравственный подвиг духовных воспитателей народа. Этим воспитателям предстоит наперед глубоко проникнуться сознанием предстоящего подвига и простым людям объяснять, понятным для них языком, простые законы чистой нравственности, оставя на время схоластические тонкости в стороне. Тогда Федоты перестанут гордиться язычески невоздержным празднованием престола, далеко превышающим их средства и потому разорительным для их семейств, которым они не могут дать человеческое воспитание.

Из деревни (1863)

I. Кому следует гласно обсуждать возникающие вопросы новой земледельческой деятельности

Вот и еще земледельческий год, канувший в вечность. Он отошел в нее, тихий, безмолвный, бессловесный, преданный своей тяжелой, земляной, кротовой работе. Даже и этот последний эпитет не вполне выражает ее бесследность. Работа крота, быть может, на много лет обозначается рядом насыпей, а труд земледельца с концом сезона исчезает бесследно. Как весной было голое поле — так и осенью осталась та же голая степь. Какая разница тот же год на литературном, политическом или социальном поприще? Тут диковинок не перечтешь, и все они на виду, на глазах у всех! Но все эти дикие явления остаются чужды нашей смиренно земной деятельности.

— Что же у них там? — скажете вы. — Застой, неподвижность, равнодушие?

Не беспокойтесь. Крестьянское дело, затронув всех, всех тронуло с места. Все говорит, действует, мечется, лезет из кожи. Работа — общий и едва ли не исключительный помысел. Рабочий — единственно модный человек. Он — герой нашего времени и знает это хорошо. За ним скачут во все стороны, и его стараются завербовать всеми средствами: кто паром под скотинку, кто земелькой под яровое, кто четвертью ржи до новины, кто водкой и, наконец, чистыми деньгами. Ясно, что при подобной деятельности землевладельческое дело становится постоянным предметом разговоров, соображений, планов и т. д. Что у кого болит, тот про то и говорит. Откуда же то странное явление, что землевладельческое дело, за некоторыми исключениями, не заявляет себя в печати, в которой между тем подняты все другие вопросы? Я не говорю здесь о каком-либо вопросе сословном, как, например, дворянском, в противоположность крестьянскому. Речь идет о чисто землевладельческой или, пожалуй, земледельческой деятельности. Подумаешь, что первостепенный вопрос о рабочей силе у

нас — никого не интересует? Согласитесь, этого быть не может. Не потому только, что это было бы позорно, а просто потому, что неестественно. Почему же молчат землевладельцы?

Говоря о землевладельцах, я имею в виду общие интересы обеих, пока еще недоумевающих, сторон: дворян и крестьян. Те и другие пока единственные землевладельцы в России, и последние, с каждою, можно сказать, минутой, яснее и яснее понимая все благо совершившегося преобразования, все более и более зреют для нравственной солидарности с другим классом землевладельцев. Но, говоря о печатном обсуждении землевладельческих интересов, поневоле должно под землевладельцами почти исключительно разуметь дворян. Стало быть, дело стало не за уменьем писать, а также и не за отвагою. Откуда же препятствия? Со стороны журналов? Но неужели лично заинтересованная сторона не нашла бы у себя средств для особого органа? Допустить этого нельзя, а между тем таинственное молчание продолжается.

Дело в том, что большинство крупных землевладельцев служит и потому поставлено в невозможность не только писать о собственном деле, но и разуметь его основательно. Нельзя требовать, чтобы человек и служил где-нибудь в Мадриде, и основательно следил за своим делом в Самаре. А если нельзя утверждать, что все крупные землевладельцы непременно на службе, то от этого не легче: они все-таки не живут по деревням и волей-неволей плохие судьи в собственном деле. Кому же писать? Остаются средние и мелкие землевладельцы. Что касается до крупных, то кроме замеченного нами явления в этой среде, как и везде, наша русская жизнь любит подчас необъяснимое. Известно воспитательное влияние среды на человека. Понятно, почему итальянец знает толк в статуях, а черкес в лошадях. А у нас не диво землевладелец первой величины, который в течение одного часа, на одном конце кабинетного стола, приходит в негодование над деревенскими счетами, отражающими в себе неизбежные последствия общих экономических реформ, и углубляется затем, на другом конце

того же стола, в выбор и сортировку журнальных статей с социалистическим оттенком. У нас бывают еще социалисты, воспитанные в преданиях откупа. Не наше дело порицать или оправдывать подобных господ, но невольно обращаешься к ним мысленно с вопросом: господа! если вы действительно так далеко отошли нравственно от своей среды, почему не разрываете вы окончательно всех материяльных с нею связей? Подобный акт с вашей стороны был бы натурален, а теперь вы только плохие деятели и самые некомпетентные судьи собственного дела.

О мелких землевладельцах в деле публичного обсуждения земледельческих вопросов нечего много распространяться. К несчастию, не многим из них, остающимся в первобытной среде, удалось воспользоваться необходимою степенью общего образования, и, кроме того, самая деятельность их, по тесноте своего круга, исключает все нововведения, сопряженные с материяльными пожертвованиями. Остается сравнительно самый многочисленный круг средних землевладельцев, и здесь-то людям с общим образованием следо-

вало бы не отказываться от гласного обсуждения землевладельческих вопросов, более или менее удовлетворительное разъяснение и решение которых так тесно связано с общим благосостоянием.

У средневековых немцев человек, поставленный вне покровительства закона, назывался vogelfrei. Это не римский capite minor и не русский опальный. Над подобным человеком всякий мог тешиться, как ему угодно. Было время, когда присяжный русский литератор тешился подобным образом над помещиком. Но и в то время нельзя было смотреть на это иначе как на детскую забаву, уже по одному тому, что большая часть производительной почвы находится в руках этого класса, и нельзя никакими риторскими воркованиями зашептать эту жизненную силу, как невозможно заклинаниями заставить самую мелкую звезду опоздать хотя на миг против календаря. А как ведет себя присяжный русский литератор в настоящее время, об этом мы поговорим в следующей главе.

II. Литератор

Казалось бы, в минуту благодетельных преобразований и на заре новых, не менее живительных, когда каждая русская грудь вздыхает свободнее и каждая десная в народе поднимается для крестного знамения, литератор станет уяснять темному человеку его грядущий путь. Ничуть не бывало! Вот вы, например, на отдаленном конце России, отклонились от всех партий и предались какому-либо специальному занятию — положим, земледелию. Всякое нововведение имеет для вас прямое и важное значение только в приложении к вашему делу. Вы спасены, вы укрыты от волнения мелких страстей и самолюбия? Вы спокойны? Ничуть не бывало! Приходит почта — вы вскрываете периодические издания и бросаете беглый взгляд на их страницы. Кончено! Вы непременно наткнетесь на такие диковинки, что вам сделается вдруг и грустно, и смешно, и стыдно, и противно. Перед вами выступает ваш собеседник, русский литератор, во всей красоте свое-

го безобразия.

Было бы странно от органа общественного самосознания требовать пассивного безмолвия перед тем или другим нововведением. Но обсуживать и судачить свысока — два дела разные. Литератор (слава Богу, нет правила без исключения) считает своим присяжным долгом отвечать на всякий вопрос: veto. Вас коробит это детское veto, и вы только благодарите Провидение, что дела идут своим прямым ходом. Как выражение сознательной косности, veto литератора еще не оскорбляло бы нравственного чувства; но оно возмутительно своим притоком — струею демократизма, в самом циническом значении этого слова. Надобно сказать, в нашем простом народе нет ни малейших признаков этой струи. Это тот мотив, который в парижском театре для черни заставляет блузников выгонять чисто одетого человека из партера огрызками яблок. Только этою струей можно иногда объяснять в литераторе то упорное непонимание самых простых вещей, о котором резонерство ребенка еще не может дать надлежащего понятия. Например, в отношениях меж-

ду нанимаемыми и нанимающими, рекомендуется ли первым точность в исполнении договора и уважение к хозяевам, а последним снисходительность и человеколюбие к первым, — кажется, чего бы яснее и проще? Но литератор (какой бы он был литератор, если б он понимал такие простые вещи?) разом становится в ораторскую позу и восклицает: «А еще стремятся к уравнению сословных прав! Отчего же не рекомендовать того же тем и другим?» Литератор обязан видеть, что тут дело идет не о сословиях, а о положениях, из которых вытекают отношения лиц. А между тем известный вопрос: «Почему курица на улице, а не улица на курице?», — без сомнения, придуман остроумным мальчиком на смех, — и не нашлось достаточно тупоумного, чтобы задать такой вопрос сериозно.

Дорожают ли квартиры, литератор тотчас хватает крупного домовладельца и целые годы хлопочет только о том, под каким бы соусом почернее подать его читателям. О том же, что по законам естественным ни одной вещи нельзя продать по произвольной цене и что на повышение и понижение цен влия-

ют тысячи причин, литератор и знать не хочет: он литератор. Фантазия древних недаром избрала эмблемой мудрости сову, которая только тогда поднимается на своих беззвучных крыльях для ночных поисков, когда смолкает и замирает день с его жизненным блеском и шумом.

Глаза науки, как и глаза совы, не созданы для того, чтобы видеть днем, а для того, чтобы в ночи, мрачной для всех, отыскивать свою добычу. Витая в своем безмолвном мире, наука, по существу своему, не может заботиться о том, какое приложение получит ее открытие в жизни общей. Наука существует для науки, как благо для блага, истина для истины. Но какое до этого дело литератору? Ему не нравится известный вывод науки, он с размаху прибавляет к ней эпитет *скаредна* и радостно плещет в своем шумном ручейке.

Возникает ли вследствие распространяющегося круга вольнонаемной деятельности вопрос об изменении паспортной системы, во избежание разных неурядиц, вместо того чтобы обсудить дело со всех сторон, литератор восклицает: «Помилуйте! к чему это? это

вздор! это все пустяки!» Заходит ли речь о штрафах за порубки и потравы, без чего земледелие было бы окончательно невозможно при новом порядке вещей, у литератора уже готова фраза: «Эх господа! laissez passer, laissez faire!» Это напоминает тех мужиков, которые говорят помещику: «Помилуйте, батюшка! на что нам новое положение! Мы вашей милости будем работать, как работали. Какие нам уроки?» Как? По-старому? Стало быть, и число дней, и подводы по-старому? «Нет, кормилец! Какие подводы и дни? Это по-новому, а уж работа — по-старому». Зайдет ли речь о важности изучения древних изящных произведений, и тут раздается голос: «По чистоте форм и новые не уступят старым (тут и Пушкин пригодится), а по ширине идей новые создания превосходят старые. Что касается гибкости и стройности мышления, то этого результата можно с меньшим усилием достичь и другими путями». Что уж тут значит *ширина идей*, одному Богу известно, а на деле это выходит мочальный хвост, который, для назидания, прицепляют к произведению. Этот мочальный хвост литературы потянулся

у нас по всем отраслям искусства и даже жизни. Мы ничего знать не хотим. Нам давай поучительную музыку, таковую же поэзию, живопись, скульптуру — словом, все поучительное. Одна хореография отстала. Не думаю, чтобы новейший канкан был особенно поучителен... Виноват, виноват! Вот непростительный промах. К канкану-то, напротив, и сводятся все современные искусства, с тою разницей, что все остальные обязаны говорить о том, что не следует делать, а канкан в очию показывает, что именно требуется. Гоньба за мочальным хвостом производится до того усердно и добросовестно, что в драме, в статуе, в картине нет уже ни драмы, ни статуи, ни картины, а торжествует один мочальный хвост с кислым запахом рогожи.

Недавно посчастливилось мне выиграть в художественной лотерее масляную картину. Подписано: *Шервуд*. Картины тут положительно никакой нет, а есть только гиероглифы, которыми художник хотел выразить известную тенденцию. В гиероглифическом лесу стоит гиероглиф дровень с запряженною в него лошадью. Надо догадаться, что произо-

шла порубка. Это уясняется гиероглифическими фигурами на первом плане. Мужики на коленях, и их бьет какой-то отвлеченный охотник с ружьем за плечами. По другую их сторону размахивающая руками крестьянская фигура, тоже, должно быть, бьет одного из мужиков, хотя ни по движению корпуса, ни по лицу нельзя истолковать, что собственно делает фигура? Задачей художника, очевидно, не было создать картину, требующую, как всякое произведение свободного искусства, уловления момента, самобытно играющего собственною жизнию. Все это трудно; для этого нужен талант и чувство красоты. Кроме того, необходимо все выразить в соответственной форме; новый, подчас тяжкий труд. Это делали Теньеры, Остады, Вуверманы и подобные им пошляки. Теперь ничего подобного не нужно. Надо только гиероглифически изображать воров да каторжных, ставя их по возможности в романтически интересное положение, и задача искусства разрешена. До какой степени творцу купленной мною картины дорого было исключительно гиероглифическое изображение мысли, мож-

но видеть из ничтожного обстоятельства. Чтобы бить воров, надо сперва захватить их врасплох. Кто же мог это сделать? Алексей-сторож? Но самому ему бить или вязать воров, как это всегда бывает на деле, если сторож еще не обжился и не привык продавать лес за водку, было бы ненародно; сторож сам мужик. Нужно, чтобы бьющий был главным образом барин или управляющий — словом, человек в немецком платье. Как же он зашел зимой в лес? Ходил на охоту. Значит, требуется надеть на него сумку и ружье. Что же он кладет зимой в сумку? Мало ли что? Однако что? Рябчиков. Да они идут на пищак только в конце февраля. Тут и изображен конец февраля, а если хотите — начало марта. Из чего же это видно? А шифервейсу-то сколько! Это снег — значит, зима; месяцы же, кто их разберет? Стало быть, у охотника за плечами обыкновенное егерское ружье. Подобно всем желчным людям, как видите, он на картине худощав, и потому его фигура с ружьем, надетым почти поперек, должна представлять перекосившийся крест. Отчего же над левым плечом виден ствол ружья, а под правою ру-

кой нет и признака приклада? В том-то и дело: в картине, воссоздающей действительность, нужно все необходимое в действительности. Есть ствол, давай и приклад. А в иероглифе ничего этого не нужно: ведь ружье только объяснительный знак. По стволу можно догадаться, что этому господину быть тут следует, и довольно. Картины нет; зато мочальный хвост тут целиком, и я могу у себя в комнате повесить картинный иероглиф с следующей сентенцией: «Не должно драться в лесу». Или, быть может, такой: «Ворам, одетым в дубленки, не должно мешать в их ремесле». Правда, я мог бы эти сентенции изобразить хорошим почерком на бумаге, но тогда они никого не приводили бы в негодование, как профанация искусства; а профанация-то именно и требуется.

Нет, в какой микроскоп ни рассматривай Гомера, Рафаэля, Бетховена, Гете, Пушкина, ни хвоста, ни мочалы не отыщешь. А нам нужен хвост и нужно оправдать его. Как же быть? Очень просто: долой авторитеты! Все эти гении ничего в своем деле не смыслили.

Однако подумайте! Сколько было варваров и с чубами, и с хвостами, которые, волна за волной, проносились над образованным миром и ломали не по-вашему. То была сила, о которой свидетельствуют целые области, засыпанные обломками. А вы? Какая вы сила? Кто вам это сказал? И что же, однако? Эта грубая разрушительная сила рассыпалась прахом,

Свалилась ветхой чешуей.
Творенье гения пред нами
Выходит с прежней красотой.

Это ужасно! Через каких-нибудь двести лет ваши более или менее задорные статейки будут забыты, а тот же мужик, которому вы тщетно старались привязать мочальный хвост, будет знать своего Пушкина, и «народная тропа» к его памятнику не зарастет.

Но, желая как можно скорее перейти к специальным вопросам статьи, я, кстати или некстати, решаюсь обратиться к вам, г. литератор, с следующею речью. Если положение помещиков, дававшее им еще в недавнее время возможность притеснять подчиненное им

сословие, служило объяснением всех Оксан, вырываемых из семей, и Ванек, колотимых барами, завладевших нашею литературой; то теперь — против кого направлены все подобные выходки? Браните и помещика, если он вам попадется под руку, но браните его как человека, потому что бранить его как помещика в настоящее время не только бессмысленно, но и невыносимо скучно. Долго ли еще пережевывать эту жвачку? Если нелепо признавать талант в человеке во имя его сиятельного титула, то не менее смешно возносить на пьедестал бездарность только в честь ее происхождения из дворовых. Дело землевладельцев было всегда и везде делом великим. А теперь оно более чем когда-либо важно и значительно для всего государственного организма. Пора и нашей отсталой литературе вспомнить это и отнестись к нему без задора бессмысленной и нелепой вражды.

III. Равенство перед законом

Мы только что имели случай коснуться вопроса об уравнении, к которому очевидно стремится наше законодательство. Но никакое уравнение не в силах сгладить естественного различия общественных отношений между отдельными лицами. Идеал равенства именно и заключается в соблюдении полной справедливости среди возможного колебания отношений. Сегодня я нанимаю, завтра меня нанимают, и справедливость требует, чтоб я удовлетворял требованиям закона и в том, и в другом положении.

В уяснение вопроса приведу два факта из собственного опыта. Для не читавших моих прошлогодних статей о вольнонаемном труде[3] скажу, что на хуторе моем ни один рабочий не нанимается, не представив увольнительного вида от своего начальства и не дав руки на подпись печатного условия с моею конторой, где он получает двойную бирку для отметы забираемых денег. В конце ноября 1861 года явился дюжий, краснощекий и пре-

красно одетый рабочий Василий, изъявляя согласие наняться на год за 40 р., с условием получить при наемке 20 р. задатку.

— Ну, Василий! ты знаешь, что я не нанимаю без увольнений от местного начальства.

— Эфто, батюшка, нам не важность.

— Так принеси свидетельство, тогда подпишем контракт и получишь задаток.

Через два дня Василий явился со свидетельством, за подписью старшины, с приложением волостной печати. Условие с конторой тотчас было написано, и оставалось вручить 20 р. Отъезжая в Москву, я спросил Василия, не может ли он обождать задатка несколько дней, и, получив согласие, поручил прикащику выдать ему деньги. В Москве получаю уведомление, что Василий на третий день по моем отъезде взят у нас со двора земскою полицией за то, что, нанявшись уже к подрядчику на железную дорогу, он получил от него 20 р. сер. задатку. К счастию, от нас задаток не был ему выдан. Контракт с моей конторой и свидетельство волостного старшины, за казенною печатью, еще по сей день у меня. При свидании с знакомым чле-

ном губернского присутствия я показывал ему документы, настаивая на принятии каких-либо мер для предотвращения на будущее время подобного беззаконного лжесвидетельства со стороны старшины (случайно не нашего мирового участка). Из заявления моего ничего не вышло.

Этот факт невольно приводит мне на память другой. В пятидесятых годах, в должности полкового адъютанта, я был на высочайшем смотру. Многосложная бумажная отчетность, продолжительные конные учения, осмотр ординарцев и уборных унтер-офицеров во дворец, церковные парады и репетиции занимали почти все часы суток, так что спать доставалось с час после обеда да с 12 до 2-х ночи. Тут приносилось из дивизионного штаба так называемое словесное приказание в несколько листов, которое тотчас же нужно было диктовать циркулярно эскадронным писарям, украсив и значительно дополнив подробными распоряжениями полкового командира. Можно себе представить, как зато дороги были два ночные часа сна. Но судьба и в них мне отказала. В полку у нас служил

юнкером сын значительного и богатого польского помещика. Юнкера этого, по просьбе отца, на днях перевели в другой, одного с нашим оружия, полк. В первую же ночь по приезде государя, когда я, сбросив мундир, упал на кровать, слуга доложил о каком-то барине, и в комнату вошел полный, почтенный господин в черном фраке и белом галстуке. По фамилии я узнал отца юнкера. Господин не позволил мне встать с постели, извинился в позднем посещении и, взяв стул, сел у моей кровати. После долгих прелюдий он стал убедительно просить, чтоб я сыну его выдал билет на Волынь.

— Извините, милостивый государь, этого и полковой командир в настоящее время сделать не вправе. К тому же сын ваш теперь не нашего полка.

— Знаю, господин адъютант. Но войдите в наше положение: сыну необходимо побывать дома, а новый полковой командир еще не знает его со стороны его нравственности; но я надеюсь, что сын мой успел зарекомендовать себя в ваших глазах.

— Если бы требовалось моего частного доверия, я бы ни на минуту не задумался. Но нужна моя официальная подпись с приложением казенной печати, и на это, как я уже объяснял вам, я никакого права не имею. Ну, если с сыном вашим что-нибудь случится, окажется официальная прикосновенность к следственному делу?

— Помилуйте, мы дворяне, люди чести!

— В этом я вполне уверен, но...

Но тут вошел слуга со словами: «Словесное приказание из дивизии».

— Извините! Надо на службу. Давай одеваться!

На следующую ночь повторилось то же; на третью буквально то же. Не знаю, как бы я теперь постарался избавиться от любезного гостя, но тогда я ни за что не решался оскорбить его невниманием. Между тем он пытал меня лютою пыткой и все-таки не получил незаконной бумаги. Попадись юнкер с моею незаконною подписью, никакая сила не избавила бы меня от суда и приговора, вследствие которого меня навек лишили бы возможности делать подлоги. Я бы пропал за одно пре-

вышение власти, а вот с волостного старшины подлог как с гуся вода. Где же тут равенство перед законом?

Тою же осенью, перед отъездом моим, соседний крестьянин привел в контору восьмнадцатилетнего, женатого малого Семена, в годовые рабочие за 38 р. и получил задатку 20. На другой же день я увидал Семена на работе. Он как-то беспокойно ворочался, и черные глазки его бегали как зверки. Было ясно по всему, что экономия не приобрела в нем капитального рабочего. Что ж? — подумал я. Где же набирать все молодцов? Год как-нибудь дотянет. Между тем через неделю прикащик донес мне, что рабочие обижаются работой нового товарища. И лошадь ему запряги, и воз утяни веревкой; словом сказать, ему надо дядек. Это действительно неприятно для исправных рабочих. Но чем помочь беде? Я проворчал что-то и вскорости уехал в Москву.

В феврале первое, что я услыхал по возвращении, были жалобы на Семена: мало того, что ничего не делает, но, как ни попросится домой, прогуляет три, четыре дня и даже

неделю. Таких прогулов за ним в конторе насчитался целый месяц, и в настоящую минуту не было его на хуторе уже с неделю. «Нет, — подумал я, — так невозможно этому делу продолжаться», — и тотчас поехал к мировому посреднику объяснить все обстоятельства. Посредник принял самое живое участие в моей просьбе, записал ее в книгу и стал рассчитывать, сколько следует Семену за прожитое время. «Я сам нанимаю по восьми рублей в зиму, — заметил он, — а так как Семен прогулял целый месяц, то ему следует получить семь, а вам из задатка приходится обратно тринадцать». Зная, как трудно получать в подобном случае деньги обратно, и настаивая на взыскании, главным образом для примера, я просил посредника взыскать только одиннадцать рублей; а вернувшись домой, велел объявить Семену, что он мне более не нужен и что посредник требует его. Семен исчез. Прошло более месяца, а денег я не получал. Между тем Семен, нанявшийся (вероятно ли это?) за восемь рублей серебром на лето у соседнего мужика, попался хозяину с украденными у него же хомутами. Поблаго-

дарив судьбу, избавившую меня от дальнейшей практики Семена, я тем не менее решился во что бы то ни стало добиться следующих мне в возврат денег и часто обращался за этим к посреднику. Передаю один из наших разговоров.

— Когда же я получу эти несчастные деньги?

— Я давно сделал должное распоряжение. Сами знаете, какая затруднительная с этим возня. Вероятно, он уже и на новом месте забрал деньги, следовательно, и нового хозяина поставил в подобное вашему положение. Я приказал сельскому старосте отдать его в третье место и полученным задатком удовлетворить прежних нанимателей.

— Это легче приказать, чем выполнить. Если до вас дошел слух о новых проделках Семена, то, вероятно, и все наниматели в округе знают про них. Кто же согласится нанять его теперь, да еще и денег дать вперед? Скажите откровенно, какую цену дадите вы рабочему с подобною рекомендацией?

— Откровенно признаюсь, не только не дам, не возьму ничего, чтобы принять его в

имение. Однако же вы понимаете необходимость *как-нибудь* уладить это дело?

— Совершенно понимаю, и мы постараемся *как-нибудь* его уладить. Позвольте сделать вам один вопрос. Предположим, что я отказался бы уплатить рабочему заслуженные им по договору деньги, и он пошел бы к вам на меня жаловаться, как бы вы поступили?

— Очень просто. Распорядился бы, чтобы деньги эти непременно были с вас взысканы в пользу рабочего.

— Но могло бы случиться, что у меня не нашлось бы наличных денег?

— Все равно. Земская полиция продала бы вашу лошадь, корову, овцу и все-таки удовлетворила бы законное требование рабочего.

— Все это совершенно законно и справедливо, но позвольте мне сделать последнее замечание. Вы наш общий судья. Рабочий и я в двух данных случаях предстоим перед судом вашим в совершенно одинаковом положении. Считаете ли вы нас равноправными? Если считаете, то откуда являются две меры и двое весов?

На этом разговор наш прекратился. Справедливость требует добавить, во-первых, что посредник через два месяца препроводил ко мне 11 р. сер. и, следовательно, *как-нибудь* уладил дело. Во-вторых, разговор наш происходил весной, а летом обнародован циркуляр, возлагающий на начальников губерний заботу о неуклонном исполнении рабочими договоров. Циркуляр этот принес уже пользу делу и подает надежду, что законодательство определит хотя главные отношения между нанимателями и нанимаемыми и что положительный закон избавит всех от тяжкой необходимости улаживать эти дела — *как-нибудь*.

IV. Гуси с гусенятами

Когда Колумб поставил свое яйцо, все присутствовавшие нашли, что это слишком просто, хотя за минуту находили, что это было бы слишком хитро. Притча эта будет повторяться вечно, и преимущественно между людьми, не привыкшими близко подходить к делу. Такие люди не хотят понять, что самые простые вещи вместе и самые трудные. Мы уже имели случай говорить о модном в наше время вопросе касательно народности или ненародности той или другой меры, того или другого закона. Признаемся откровенно, вопрос этот, понятный в отношении к прошедшему и настоящему, решительно непонятен в отношении к будущему. Если меня спросят, народны ли в Орловской губернии квас, кичка и полушубок, я не запнусь отвечать положительно; но если спросят: народны ли кохинхинка, петух-брамапутра и присяжные, я решительно стану в тупик. Спросите мужика на косьбе, давно ли он косит рожь и овес с помощью тех грабель, которые привязывают к

ручке косы и называют *крюком*, и давно ли ему бабы выносят на работу картофель? Он посмотрит на вас, как на шутника, и ответит: «Испокон веку». Он скажет, что нельзя косить рослого хлеба без крюка, и будет совершенно прав. А вы знаете, что и крюк, и картофель введены очень недавно. Нам становой рассказывал, что лет восемь тому назад в одном имении поставили первую в округе молотильную машину. По неопытности рабочих случились два-три членовреждения, и барщина наотрез отказалась работать при машине. А вот теперь молотильные машины сделались не только общим достоянием, но необходимым помощником молотьбы, и становому приходилось усмирять барщину, которая отказывалась молотить за неимением в хозяйстве молотильной машины.

В настоящее время все земледельческое население России занято приложением к практике новых постановлений о потравах. И этот вопрос не ушел от точки зрения народности. Не решаясь на резкий приговор в деле грядущего, постараемся по крайнему разумению разъяснить себе этот вопрос. Порядок

должен быть сохранен во что бы то ни стало. Но можно сохранять его и новыми, и старыми мерами: либо штрафом, либо палкой. Верит ли народ в действительность первой меры? Верит и выражает эту веру пословицей: «Не бей дубиной, а бей полтиной». Мало того, народ до такой степени убежден в радикальности новой меры против зла, с которым он сроднился и которым дорожит, что вы каждый день можете слышать возгласы: да после этого нам и жить нельзя, после этого надо умирать. Итак, в настоящее время понятие о действительности штрафов народно, а только самая мера ненародна. Вот один из тысячи примеров. Прошлою весной я нанял двух пастухов. Старого отставного солдата и так называемого подпаска, малого лет тринадцати или четырнадцати, приведенного отцом. Старик оказался совершенно хилым, а малый отъявленным лентяем, нерадивцем и сквернословом, нередко смущавшим спокойствие остальных рабочих. Значительные задатки были с самой весны, по грустным условиям нашего дела, выданы тому и другому, и худо ли, хорошо ли, приходилось до поздней осени

перебиваться с такими хранителями скота. Замечу мимоходом: старшему пастуху платится в лето рублей 25. Один из наших соседей, вздумав отказать среди лета неисправному пастуху, послал разыскивать нового по всей округе и нашел только одного, который за вторую половину лета запросил 50 р. Ясно, что этот последний был уже не пастух, а человек зажиточный, который сказал себе: «Уж если дадут 50 р., то я свое дело брошу и наймусь».

Вот красноречивое доказательство тому, что рабочие руки у нас бывают разбираемы нарасхват, без остатка! Не упустим из вида, что все рабочие, отправившиеся в прошлом году из наших краев на заработки в южные губернии, вернулись домой по случаю тамошней засухи и неурожаев.

Но возвращаюсь к пастухам. Вследствие неожиданной вражды коров к лошадям, вражды, кончившейся значительными жертвами, я отделил табун от рогатого скота, и оба пастуха, по взаимному условию, стали чередоваться у отдельных стад. Не говорю о старике: он делал, что мог, и осенью я вынужден

был за совершенною негодностью переменить его; но здоровый и сильный малый все лето отличался такими выходками, которые и самого хладнокровного хозяина вывели бы из терпения. То лошадьми, то коровами он перепутал и стравил несколько десятин лучшего моего овса, несмотря ни на какие увещания вытравил до земли осеннюю отаву клевера (вследствие чего, может быть, к весне он совершенно вымерзнет) и, наконец, расщипал, обезобразил и стравил значительное количество сена, сложенного скирдами. Вследствие жалоб моих на подпаска сделано было с него взыскание мировым посредником в виде пяти ударов розгами; но это не помогло. Еще до общего Положения о потравах в нашем округе установлен был штраф, одинаковый за всякое пришлое животное, от птицы до свиньи. Штраф этот был неизменные 20 к. серебром с головы. Потравы, причиненные мне подпаском, очевидно, не могли подходить под этот штраф, а требовали бы, по своей значительности, особой оценки. Но в этом, как и в большей части подобных случаев, доходить, по выражению крестьян, *до*

большого — слишком тяжело; а потому по вопросу о штрафах более прилагается теория устрашения, чем теория возмездия. Как бы то ни было, к концу осени отцу малого приходилось дополучить рублей пять, и посредник уполномочил меня недодавать ему одного рубля в виде штрафа.

Не могу умолчать об одном довольно характеристическом эпизоде с тем же подпаском. Рискуя более или менее потерпеть потраву собственных хлебов, я, во избежание еще неприятнейших столкновений с соседями, при наемке полагаю непременным условием: ни под каким видом не выпускать моего скота за чужой рубеж и сторожу лично быть в ответе за причиненные там убытки. В один прекрасный осенний вечер слышу, что подпасок распустил наш табун по ржаному соседскому полю, покрытому копнами, стравил и растерзал три копны и пойман сторожем на месте преступления. Улика была налицо, поэтому сторож не задержал ни одной лошади, а на следующее утро отец подпаска явился ко мне:

— Что тебе надо?

— Да вот мальчишка мой вчера грешным делом стравил у О-ва три копны ржи.

— Так что ж? Какое мне до этого дело? Вы травили, вы и разделывайтесь.

— Вестимо, кормилец, наш грех. То-то я к вашей милости! Пожалуйте деньжонок. Ведь сторож, того, говорит, привези-поставь новые копны, а эти себе возьми. С малого-то что взять? Оттаскал его за виски, да что ты поделаешь? Виски-то понадрал, а колосьев-то не вставишь. Да где их теперь разваживать копны-то? Надобеть деньги отдать.

«Экой исправный сторож! — подумал я. — Видно, у них там большой порядок, когда за семь верст от усадьбы копна не пропадай».

— Да ведь, любезный друг, твой малый еще не зажил и того, что уже забрано тобой.

— Явите Божескую милость! (И на колени.) Мы вашей милости заслужим...

Ну как тут не дать? Дал. Вечером того же дня спрашиваю:

— Что? кончили наши-то со сторожем?

— Кончили.

— Как?

— Да старик купил два штофа водки; оба пьяны напились, и только.

— У О-ва, стало быть, от этой водки копны-то обрастут, что ли?

— Стало быть, обрастут.

Тем дело и кончилось. Перед самым отъездом в Москву мне пришлось снова философствовать с отцом подпаска. Накануне отъезда докладывают о его приходе. Выхожу в переднюю. Он бух на колени.

— Что тебе надо? Да встань ты сперва, а то и говорить с тобой не стану. Что тебе надо?

— Не встану, отец мой... Не встану, кормилец.

— Да что такое?

— Да вот, батюшка! Сынишка-то, потрава-то... Так сделай Божескую милость! Ведь завтра едешь в Москву.

Я было в суете и забыл о рубле штрафа, который был назначен посредником. Да и что было помнить-то? Какое может быть удовлетворение в рубле серебром при убытке на сотню рублей?

— Послушай, любезный! Ты ставил своего сына ко мне с тем, чтобы беречь мое добро, а ты сам знаешь, сколько он мне наделал убытку. Чья же это вина? Если б я тебе неисправно платил или не давал твоему парню чего-нибудь по условию, а то теперь что ж я могу сделать? Ты знаешь, я и тебе говорил, и посреднику жаловался. Что ж проку-то?

— Да ты бы его, батюшка, за виски, да вот как! А мало того, кнутом бы его. Я б тебе в ножки поклонился. Я на этом не ищу. Спасибо доброму человеку, что поучил.

— Да я с тебя денег не возьму, чтобы бить твоего сына. Это твое дело его учить, а не мое. Ведь вам же с ним хуже будет. Вот на будущий год кто его, такого негодяя, возьмет в работники?

— Вестимо, батюшка, что так. Да ты уже яви божескую милость, не вели прикащику вычитать целкового.

Надобно было избавиться от гнусных валяний в ногах, надобно было согласиться и на эту уступку. Вот вам и народный взгляд на денежные штрафы! Взгляд далеко не частный, а общий, для объяснения которого не нужно

особенной философии. Дело просто. Всем нам необходимо получить веру в неподкупность и неумолимость закона. Коль скоро человек, наделавший вам оскорблений или убытков, у вас в руках, то вы можете на месте с ним расправиться, а если вы передаете дело возмездия в другие руки, то с той уже минуты страдальцем делается не виновный, а обвинитель. Что же, однако, делать? Что должно следовать в жизни из такого воззрения?

Впрочем, посмотрим, не бывают ли случаи, когда штрафы встречают большую симпатию в нашем крестьянине?

Содержатели постоялых дворов на Крестах (в версте по прямому направлению от моей усадьбы), как все русские дворники, большие охотники водить домашних животных, не соображаясь с пастбищами. Земли у них только под усадьбами и огородами. Отсюда прямое следствие: скот и птица их вечно таскаются по чужим дачам, которыми окружены их дворы. Надо заметить, что этих дворов немало, и содержатели люди очень достаточные, имеющие возможность сообща держать исправного пастуха; но им кажется удобнее пускать

скот на волю Божию, а что из того выйдет, до того им нет дела. Так, по крайней мере, было до нового порядка вещей. Прошлого весной работал у меня подрядчик Алексей с плотничьего артелью. В условии нашем не было обозначено окончательного срока работам-, что и вынуждало меня частенько наведываться, каково-то они подвигаются. Сам Алексей — малый, что называется, *себе на уме* и, как большая часть подобных типов, не последний балагур. От него-то, между прочим, узнал я, что он нанял десятин десять прекрасного лугу, примыкающего к нашему леску и находящегося, как и наша дача, в ближайшем соседстве с Крестами. Сенокос был нанят действительно очень выгодно; тем не менее я не мог не высказать Алексею сомнения насчет безопасности нанятого им клока.

— Что будешь делать, батюшка? Хошь и далеко от нас, а я уж посажу на лето своего старика.

Действительно, после Вешнего Николы я нередко видал его отца у опушки леса и невольно присматривался к этому оригинальному типу. В околотке он успел, заслу-

женно или незаслуженно, приобресть репутацию знахаря, умеющего расчистить колодец, укрепить плотину и т. п. (кажется, гораздо более на словах, чем на деле). Тем не менее в своей странной сборной одежде, с внушительным выражением лица и с длинной дубинкой в руках он казался созданным в степные сторожа и напоминал собою стариков-сторожей по степным малороссийским баштанам (огородам).

Однажды утром, выйдя в молодой сад, где садовник хлопотал около прививков, я увидел на прилегающей к саду пшеничной зелени шесть гусей с целою вереницей гусенят, весело пощипывавших пшеницу и направлявших шествие от Крестов к нам. Надобно было всячески избавиться от подобных посетителей, и садовник, по указанию моему, направил их в восточную канаву, руслом которой все стадо в самое короткое время добралось до пруда в саду. Кликнув мальчика, я поручил ему не выпускать гусей на берег, а садовника послал на Кресты сказать хозяевам гусей, чтоб они немедленно явились за своею собственностию. Отдать гусей даром было

невозможно. К чему же была бы вся эта ловля? Надо было взять штраф. Но какой? В настоящее время, как мы уже заметили выше, мера штрафных взысканий — очередной земледельческий вопрос. В теории разрешить его весьма легко. Следует возвести штраф до чувствительных размеров для нарушителей порядка, а с другой — надобно, чтобы штраф был сподручен для взыскания. Мы говорим здесь только о появлении животных на чужой даче, независимо от побоев и отрав, оценка которых, равно как и следующее за них взыскание, идет своим особым порядком. Итак, в теории, стоит только найти среднюю пропорциональную цифру возможно большей и возможно меньшей пени, и дело сделано. Нормою той и другой величины может служить самая ценность животного. Но на практике такой вопрос, как это в настоящее время и делается, может быть разрешен только на основании местных данных, ибо нередко то, что дорого в одном уезде, нипочем в другом: двадцать копеек, произвольно назначенные нашим посредником, были в большей части случаев мерой спасительною. Но

мера эта, очевидно, не могла бы стать положительным законом. Возможно ли и справедливо ли, чтобы почти безвредная утка, стоящая вся в нашей стороне 15 к. серебром, оплачивалась двадцатью копейками, заодно с свиньей, стоящей 5 р. серебром, или прожорливою и неуловимою крестьянскою лошадью, стоящей 60 р. серебром? Все эти вопросы, о которых в настоящее время идут прения между специалистами, приходилось мне разрешать в первый раз на практике в приложении к гусям. Прежде всего, я твердо решился во что бы то ни стало не отдавать гусей даром, хотя бы пришлось отправлять их на подводе за пятнадцать верст к посреднику, которому тоже от них радости мало, потому что надо было их до времени кормить и беречь. Словом сказать, я решился уязвить дворников так же больно, как они неоднократно уязвляли меня своими *животами*. По букве посредничьего положения, мне следовало получить за 20 гусенят и 6 гусынь по 20 к. серебром за голову: всего 5 р. 20 к. серебром. Возможно ли это, когда все стадо не стоило и половины этой суммы, к тому же и не

успело причинить почти никакого вреда зелени? Я сделался адвокатом дворников и вспомнил классическое: partus sequitur ventrem (плод следует за утробой). Тотчас же гусенята превратились на суде моем в простые атрибуты гусыни. Итак, следовало только получить за 6 голов 1 р. 20 к.; но и тут адвокат воскликнул, что весной гусыня едва стоит 20 к. серебром и что дело этим путем, пожалуй, дойдет до комического посылания подвод к посреднику. Как же быть? Назначу по гривеннику. Всего за 6 голов — 60 к. серебром. И дешево и сердито! И действительно, все еще сердито. Столичные жители, привыкшие считать деньги значительными кушами, не поверят, что в настоящем случае и 60 к. сердито. Тут вдруг, уже у моего адвоката, мелькнула мысль: весной во всяком дворе несутся куры, и хотя в продаже свежие яйца ходят по гривеннику десяток, однако всякий хозяин гораздо легче расстанется с этим десятком, чем с гривенником.

— Скажи им, чтобы за шесть гусей несли шестьдесят яиц и что без этого нечего им и ходить.

Через полчаса двое малых в красных рубахах, как-то переминаясь, стали приближаться к садовой канаве.

— Что вам надо?

— Да вот гуси-то.

— А шестьдесят яиц принесли? (У ребят ничего не было в руках.) Нечего с вами и толковать.

— Да это, батюшка, и гуси-то не наши.

— Не ваши? Так нечего разговаривать. Ты пройди-ка к пруду, — обратился я к старшему, — да взгляни, может, и твой гусь найдется. Через час их тут не будет: так и скажи своим.

Мы подошли к пруду.

— А гуси-то все наши-и-и! — запел старший. — Сделайте милость, — и пр.

— Я тебе сказал, через час их тут не будет. Да, может быть, они вам не нужны, а то бы ты сейчас принес шестьдесят яиц.

— Побегу.

Немного времени спустя повар принял счетом шестьдесят яиц; мальчик погнал гусей домой, а я вышел из саду на постройку. Алексей тесал бревно. Отец его, опершись на

дубинку, стоял над ним с обычным внушительным выражением лица; другие плотники Алексеевой артели неподалеку тоже готовили лес.

— Вишь мошенники, елёси! — заметил Алексей, когда я наступил ногой на обделываемую им балку. — Какими сиротами прикидываются, как с них приходится! Уж дай вам Бог доброго здоровья, что хоть вы их проучили, а то ведь за лето-то они бы нас разорили.

— Разорили бы, разорили! — добавил внушительно старик отец, еще ниже опуская седые брови.

Итак, вот новая народная точка зрения, к которой мы будем иметь случай подойти поближе.

V. Железные вилы

Если Алексей-плотник — тип говоруна-философа, то Семен Скочкин — тип говоруна добродетельно-сиротливого. Это весьма распространенный тип русского мужика, и надо отдать ему должную справедливость — самый несносный. Первого можно еще чем-нибудь унять, ну хоть отвернуться и уйти, а добродетельно-сиротливый говорун сумеет проникнуть к вам в кабинет, в гостиную, в спальню и даже залезть своим кисло-сладеньким голоском под череп. Какой резон ему ни представляйте, хоть на смех скажите: «Надо тебя повесить», он клянется, что устами вашими сама мудрость вещает, и вслед за тем снова затягивает свою однообразную ноту. Добродетельного Семена я знаю уже два года. Два года он отдает сына своего Филиппа к нам в работники, и признаюсь, каждый раз, когда вижу во дворе черную свитку, подвязанную новым красным кушаком, не могу не почувствовать тайного трепета. В первый еще год мне пришлось познакомиться с его

неотразимым красноречием, буквально a propos de bottes. Сын его, Филипп, отвозя мою рожь на мельницу, поменялся сапогами с сыном мельника. Тот и другой надели выменянные сапоги, и, казалось бы, дело с концом… Нет, Семен нашел, что мельник обманул его сына, и стал сверлить мне уши тоненьким голоском, настаивая, чтоб я через владельца мельницы подействовал на мельника с целию нового размена сапогами. Может быть, промен был действительно невыгоден для его сына, но легко понять всю неловкость и даже незаконность моего вмешательства в подобное дело. Не стану приводить всех моих доводов и всех *«явите Божескую милость»*, пропетых на все возможные солодково-сиротливые тона. Кончилось тем, что я вынужден был выручать эти сапоги, как жар-птицу.

Филипп действительно смирный и добродушный, хотя и не отличный работник. Время подходило под исход первого срочного найма. Является черная свитка, подвязанная красным кушаком, отец Филиппа, Семен Скочкин.

— Что тебе надо?
— К вашей милости.
— Что же?
— Да вот, батюшка, парнишка срок доживает, так я того...
— Что?
— Так как мы худа не делали, жили по честности, как долг велит...
— Я Филиппом доволен. Да к чему ты все это говоришь? Если б он что сделал, я бы жаловался.
— Как же, батюшка! Кто себе худо сготовит, тот должен за то и в ответе быть. А мы, кажется, вашей милости, как отцу родному, старались и худа никакого не сделали.
— Ну да говори, в чем дело? Мне некогда.
— А вот прошу у вашей милости отпустить парнишку-то. Теперь мясоед, так я ему невесту обыскал. Как мы вашей милости честно отслужили, так, может, и на будущий год Бог приведет.
— Очень рад. Но ведь Филипп еще не зажил забранных за этот год денег?
— То-то я у вашей милости хотел деньжонок попросить. Ведь надо парнишка-то же-

нить.

Не буду в подробности рассказывать дальнейшего хода этого дела. Кончилось, разумеется, тем, что он деньги взял, а сына не женил, хотя я и распорядился так, чтобы деньги мои не пропали добродетельным образом. Эта тема развивается почти без вариаций каждый год, месяца за два до *отживы* Филиппа. Кроме томительной жалости, она замечательна как образчик известного крестьянского красноречия, столь знакомого деревенским старожилам, главный прием которого заключается в просьбе дегтю при желании получить овса. Волей-неволей я имел возможность с известных сторон познакомиться с личностью Семена, но одно обстоятельство дорисовало его прошлым летом окончательно.

В продолжение нескольких дней меня не было дома. По возвращении моем приказчик объявил следующее.

Дней пять тому назад рабочие возили с конного двора удобрение. У молодого малого, Ивана, за отлучкой одного из рабочих, были две подводы, из которых одна с молодою ло-

щадью. Эту подводу, для уравнения труда, рабочим приходилось накладывать сообща. После завтрака, когда они снова принялись за дело и очередь дошла до общей подводы, общими усилиями накидали ее верхом. Иван нашел нужным сказать: «Довольно». Игривая молодежь, отвечая со смехом, что желает испробовать силу и досужество лошади, продолжала подкидывать вилку за вилкой. Иван настоятельно требовал, чтобы они отстали, говоря, что за лошадь отвечает он. Смех пуще — и вилка за вилкой! Иван принялся гоняться за проказниками, перевернув вилы железными зубцами к себе и стараясь хватить обидчиков деревянною рукояткой. Одни убегают, другие в это время подбавляют клади на воз. Иван вышел из себя. На этот раз убегающим оказался Филипп. Иван не вытерпел и верхом пустил в него рукояткой. Тяжесть железных зубцов заставила вилы описать на воздухе параболу, и, втыкаясь в землю, один из зубцов случайно вонзился убегавшему Филиппу в правую ступню, немного ниже подъема.

Совершенно потерявшийся Иван побежал и выхватил вилу, а не менее испуганный Филипп, при виде крови, брызнувшей ключом, крикнул: «Что ты со мной сделал, разбойник? Ты меня зарезал», — и ударом кулака в лицо сшиб с ног своего противника.

— Где же теперь Филипп?

— Лежит в рабочей избе.

Я тотчас же отправился в рабочую и нашел Филиппа сидевшим на лавке.

— Покажи ногу.

Рана, по-видимому, была неопасна; острие не повредило кости. Кровотечение уняли тотчас же примочкой арники с холодною водой; тем не менее рана не заживала, и ступня кругом имела раздраженный, стеклянный вид. С первого же дня отец Филиппа соглашался на мировую с отцом Ивана, требуя 20 р. серебром. Далеко не зажиточный ответчик не в силах был заплатить таких денег. С весны он получил 15 р. задатку на покупку овса, а вслед за тем, как милости, вымолил еще 15 на покупку лошади, взамен последней, только что украденной у него в губернском городе. Ивану оставалось получить 8 р. Все это

было объяснено приказчиком Семену еще до моего приезда, но он и слушать ничего не хотел и, желая настоять на сочиненном им самим штрафе, ежедневно давал сыну прикладывать к ране какую-то растравляющую дрянь. Так, по крайней мере, говорили, и это обстоятельство объясняло мне раздраженный вид ступни. Я был убежден, что Семен непременно явится ко мне с жалобой. Быть судьею в этом деле я не мог. Убеждать Семена значило тратить время понапрасну. Что же делать? Надо было дать делу какой-нибудь толчок, тем более что Иван, как мне сказали, третий день почти хлеба не ест, продолжая исправно ходить на работу. Предвидя нападение со стороны Семена, я велел собрать в обеденное время всех рабочих и вышел к ним. Никогда не забуду несчастного выражения лица и всей фигуры Ивана. Он имел вид осужденного и примирившегося с своею участью человека. Только зная богатырский аппетит русского крестьянина во время работ, можно составить себе понятие о явном упадке сил работника, трудившегося трое суток почти без пищи. Не будь он в таком нервном

состоянии, он, верно, на первый же день был бы не в силах шевельнуться. Признаюсь, мне стало искренне жаль бедняка и захотелось как-нибудь выручить его из беды. Рабочие, присутствовавшие при происшествии, буквально передали мне все, как я рассказал выше, и прибавили, что Иван не имел никакого намерения ранить Филиппа железом.

Через полчаса по отпуске рабочих предчувствие сбылось. Явился Семен с слезливым рассказом происшествия, которому он старался придать важный уголовный характер.

— Все это хорошо, но чего же ты наконец хочешь?

— Я, батюшка, ничего не хочу. Как мы вашей милости служили и худа никакого не делали, а кто худо сделает, тому и в ответе состоять, я им сам, по простоте, говорил: вы, мол, лучше до большого не доводите; не доводите, мол, лучше до большого, а помиритесь. Так нет. Он мне ничего. Я хоть бы их речи послушал. Так ничего.

— Да ведь это потому, что ты с них требуешь двадцать рублей. Сам подумай, где же им (ты знаешь, у них недавно лошадь украли)

взять столько денег?

— А зачем было до этого доводить? Мы тут не причиной. Мы как худа никакого не делали, так поделом вору и мука.

— Да ведь ты же знаешь сам, что это вышло не с сердцов, а нечаянно?

— Нечаянно, точно нечаянно. Я и говорю им: эх, не доводите, мол, до большого, а то ведь он вон куда пойдет! Может, парень-то век не работник. Я уж вашу милость трудить хотел, отпустите Фильку-то ко двору. Что же ему тут лежать без дела?

— Нет, ты об этом не проси. У тебя его лечить не будут, а тут лечить будут. Пусть полежит здесь, а ты лучше помирись с Ивановым отцом, да только не проси, чего он дать не может.

— Мы, значит, как никакого худа не делали, по-Божьи жили, то, значит, всяк должен по худым делам в ответе быть.

— Ну, брат, я думал, ты ко мне за делом, а ты пришел лясы точить. Мне некогда. Ступай, ищи себе расправы помимо меня. Я хотел тебе доброе слово сказать, а ты все свое. Ступай.

— Мы к вашей милости. Вот что: как вы нас рассудите, так тому делу и быть.

— Вот это хорошо. Ну, слушай. К кому ты пойдешь? К посреднику? Мне кажется, он в это дело не войдет. Это не его часть. К становому? Ну как ему вас рассудить? Штраф — это мы с тобой выдумали; а какой в законе за это денежный штраф? Надо наказать Ивана, ну, накажут, да ты гнешь с него деньги получить, а тебе какая корысть, что ему дадут двадцать пять розог. Так или нет?

— Так, батюшка, истинная правда. Так как мы худа никакого...

— Но этим не кончится. Если становой по правде рассудит, то надо и твоего Фильку наказать. Он первый начал на работе дурачиться, да потом и сам хватил Ивана в ухо. Вот и суд весь. А впрочем, попробуй.

— Как ваша милость рассудит, так не замай и будет.

— Прекрасно. Я рассуждаю так. Пусть Иванов отец тебе заплатит три рубля. Хоть и это ему тяжело, но что ж делать, когда грех случился?

— Как же можно, батюшка? Значит, мое дело так за три рубли и пропасть должно?

С тем он от меня и ушел. Признаюсь, меня мучила неопределенность положения Ивана. Думал я помочь ему собственными деньгами, но мысль скомпрометировать себя в глазах всех удержала меня. Часа в три мне пришли сказать, что они кончили. Отец Ивана пришел просить 6 р. С него взяли 3 р. деньгами, да полштофа водки — 2 р. 50 к. Итак, главным наказанным остался я; мне предстояло иметь до поздней осени дело с рабочим, которому следует всего на все 2 р. серебром. Вечером, при закате солнца, выйдя на пруд, я увидел две фигуры отцов-соперников, стоявших рядом в интереснейших позах. У обоих руки были сложены крестом по-наполеоновски, а лица с выражением римских сенаторов обращались к закату. Видно было, что оба уже вкусили от даров Вакха и находились в самых дружеских отношениях.

VI. Значение средних землевладельцев в деле общего прогресса

В майской книжке «Отечественных записок» на стр. 71-й, в статье г. Павла Небольсина читаем следующее:

«Выше сказано, что крестьянам нечему было научиться от помещиков. Действительно, *сам управитель*, со слов которого написана у меня эта страница, подтверждает, что помещичьи усадьбы не имели никакого дельного, хозяйственного преимущества перед крестьянскими. Вот его слова, как итог долголетних наблюдений. Помещики, вместо того, чтобы хозяйственно хозяйничать, заводят конопляники, огороды, воздушные сады, приносящие общую пользу, или по крайней мере, чтобы умненько хлеб сеять и возделывать землю, утучнив ее приличным образом, ограничивались тем, что ширили, во все стороны, пашни. Они не заботились о навозе, не верили в землеудобрительность других средств, не старались об улучшении скота и увеличе-

нии его численности, а главнейшею задачей поставляли ни к чему не ведущие и вовсе не сообразные со средствами и потребностями прихоти и роскошь. Бывало, у помещика скот с голоду крыши у мужиков обдирает, а землевладелец сгоняет крестьян строить в саду храм славы да триумфальные ворота! У иного хорошенькой лошаденки нет, чтобы на работу выехать или обоз в город отправить, а целый мир день-деньской пыхтит у него на усадьбе за очисткою дорожек в его на английский манер разведенном саду. Вся дворня чуть не с голоду умирает и бьет баклуши в совершенном бездействии, а тут рядом с нею и теплицы, и оранжереи, и грунтовые сараи. И часто-пречасто сырой, водянистый, но выращенный у себя дрянной арбузик куда как дороже обходился того, который можно бы выписать по почте, прямо из Милютиных лавок. Но теперь прошла пора азиатского барства; мы это осенью же увидим, прибавил управитель. А примета простая! Барыни наши, помяните мое слово, меньше варенья в нынешнем году наварят».

Сколько капитальных обвинений в этих немногих строках! И все они несправедливы и неосновательны. Тем не менее спасибо и за них. Такими обвинениями дело подвигается вперед. Оно выходит на жизненную арену из-за неприступных окопов литературных отвлеченностей. Это уже не те неопределенные фразы, против которых возражать нельзя, а если можно, то такими же пустыми общими местами. Господин Небольсин, как писатель сериозный, чувствует бесплодность общих мест и прямо указывает на то, чего не делают и что должны бы делать помещики. Рассмотрим же, хотя поверхностно, эти обвинения. *Сам управитель,* со слов которого Небольсин исписывает страницу, подтверждает, что крестьянам нечему хорошему было научиться от помещиков. Капитальная фраза эта, хотя тоже совершенно общая, совершенно несправедлива. Была бы только охота да возможность, крестьянину всегда было, есть и, вероятно, еще больше будет впоследствии чему поучиться у помещика. Что касается до меня лично, то при въезде в усадьбу небогатого, но мало-мальски образованного помещика, ма-

териальным средствам которого не позавидует и самый скромный горожанин, — при въезде в подобную усадьбу я каждый раз не могу подавить в себе невольно чувства недоверия к действительности. Мне все кажется, что я все это во сне вижу. Наш брат, ружейный охотник, которому приходится за лето изъездить до 1000 верст по всем возможным проселкам и закоулкам, останавливаясь где попало, поймет это лучше всякого. Куда бы вас, кроме помещичьего дома, ни закинула судьба на ночлег, вы везде мученик. Всюду одно и то же. Духота, зловоние самое разнообразное и убийственное, мухи, блохи, клопы, комары, ни признака человеческой постели, нечистота, доходящая до величия, ни за какие деньги чистого куска чего бы то ни было. Всюду дует и течет, и ни малейшей попытки принять против этого меры. Страшный зной, и никакой потребности посадить под окном деревцо. Совершенное отсутствие чувства красоты, ни одного цветка, и если на огороде красуются подсолнухи, то единственно затем, чтобы осенью можно было щелкать его семечки. Вы скажете, бедность. Но почему

же в уездных городах, у зажиточных людей, осушающих по нескольку самоваров в день, — то же самое? Тот же разительный запах прогорклого деревянного масла и невычищенной квашни, та же невозможность достать чистой посуды или пищи, за исключением вечных яиц. Проездив неделю таким образом, вы и сами убеждаетесь в невозможности достать здесь или завести что-либо порядочное. Нет, думаете вы, нужна еще тысяча лет, — и с этими мыслями вдруг въезжаете в помещичью, хотя и соломой крытую, усадьбу. Все зелено и приветливо. Видно, что здесь на степи дорожат каждою веткой. Там старые ивы нагнулись над прудом, здесь молодые тополи вперегонку тянутся вверх, а в сторонке где-нибудь виден древесный питомничек. Перед балкончиком пестрый партер, и всюду чистые дорожки, по которым ежедневная утренняя роса не мочит ног и не портит обуви. Вы входите в дом, насекомых нет, зловония нет; все чисто, все прибрано к месту. Вас встречает небогато, но мило одетая хозяйка; фортепиано и ноты показывают, что она худо ли, хорошо ли играет. Между тем хозяин, за-

горелый и усталый, возвращается с работы. Стол накрывают чистейшею скатертью — гордость домовитой хозяйки. Суп без всяких убийственных запахов и — о роскошь! — кусок сочного ростбифа со стаканом хорошего вина. Может быть, этого вина и небольшой запас, но оно есть и радушно предлагается гостю. Вечером вы засыпаете на мягкой свежей постели. Разве это не волшебство? Утром вам предлагают до подставы хотя старомодный, но все-таки покойный экипаж; хомуты целы и смазаны. Мы берем в пример небогатых помещиков. Правда, все виденное вами стоило хозяевам неимоверных хлопот и усилий. Хозяйка, быть может, не только не в состоянии выписывать арбузов из Милютиных лавок, а даже купить цветочных семян для своего партера. Но у нее есть добрые соседки, и она им скажет: «Берите у меня сколько угодно семян резеды и корней георгин, я в нынешнем году отвела множество отводков, а мне одолжите астр». Одним словом, вы слышите тут присутствие чувства красоты, без которого жизнь сводится на кормление гончих в душно-зловонной псарне. И все-таки господин

управитель думает, что крестьянам нечему поучиться у помещиков. Но кто же подвинул наше сельское хозяйство и на ту невысокую ступень, на которой оно, по разным обстоятельствам, находится в настоящее время? Кто развел высокие породы коров, овец, лошадей и всевозможных растений? Спросите у хлебных торговцев, чьим хлебом они торгуют, чья шерсть идет на фабрику и в продажу? Из чьих садов фрукты поступают в лавки? Крестьяне даже и не умеют ходить за садом и не чувствуют в этом потребности. Помещики, по мнению г. управителя, не разводят воздушных садов. Кто же их разводит когда, кроме помещичьих, за ничтожными исключениями, нет садов?

Покончив с этим общим положением, рассмотрим более определенные и прямые обвинения. Что значат слова: «умненько сеять хлеб»? Значит ли это в известных случаях возделывать землю, утучняя ее приличным образом, или ширить во все стороны пашни? Ширить пашни — значит, распахивать девственную землю, новь. До сих пор никакая искусственно удобренная почва не может со-

стязаться с новою. Уже по одному этому всякий хозяин, желающий «умненько» хозяйничать, при выборе из двух десятин оставит навозную и возьмет новь. «Умненько» значит в хозяйстве «выгодно». Наше сельское хозяйство продолжает двигаться на прежних основаниях, с тою разницей, что прежде было трудно с точностию определить ценность труда, а теперь он сам ежедневно выражается мерилом ценности, деньгами. Только по этой причине возьмем пример из вольнонаемного хозяйства. В нашей стороне, если можно купить навозу (часто этого сделать нельзя ни за какие деньги), то не дешевле 15 р. серебром за 360 возов — количество, не доставляющее еще сильного удобрения. Да вывесть его на десятину стоит те же 15 р. серебром; да раскидать и запахать его — около 2 р. серебром; итого удобрение стоит 32 р. серебром. А распахать луг, на котором нет пней, стоит не дороже 10 р. серебром. Спрашивается: кто бы поступил умненько, тот ли, кто, как обвиняемый помещик, расширил бы пашни, или тот, кто, по совету г. управителя, стал бы тратить непроизводительно 22 р. серебром на удобре-

ние каждой десятины. Вот таковы-то большею частью все ораторские возгласы перед судом самих фактов.

Не менее практична следующая за тем фраза в устах г. управителя. «Бывало, у помещика скот с голоду крыши у мужиков обдирает, а землевладелец сгоняет крестьян строить в саду храм славы да триумфальные ворота!» Фраза, как видите, оканчивается знаком восклицания. Подумаешь, в самом деле, какие злодеи эти неразумные помещики! А вот я на своем веку много видывал помещичьих садов, с беседками, воротами и калитками, но не встретил ни одного храма славы и никаких триумфальных ворот. Допустим, однако же, что г. управитель был в этом отношении счастливее меня: пусть он, как знаток сельского хозяйства, объяснит, какая связь между положениями: «скот крыши обдирает» и «владелец строит храм славы»? По нашему простому, *нелитературному* пониманию вещей, фраза эта вяжется не более следующей: у человека все женщины в доме чулки вяжут, а он все книги читает да яичницу с перцем ест. Если бы фраза была составлена так: «скот

прошлую зиму крышу обдирал, а он нынешнею осенью не дает времени убрать хлеб с полей и погноил его под дождем», — мы поняли бы ее; а то, воля ваша, она звучит *литературно.* Какой вред может причинить мифологическая постройка храма славы скоту, который, ободрав зимою крыши, давно уже поправился на подножном корму? Так же логична и практична частица *а,* противопоставляющая, с одной стороны, неимение хорошенькой лошаденки целому миру, Пыхтящему за очисткой дорожек, а с другой — голодающую и бьющую ваклуши дворню оранжереям. Дорожки чистятся в мае, когда у доброго хозяина весенние работы кончены, и там, где мир пыхтит более одного дня над дорожками, не дворня бьет баклуши, а г. управляющий, заведующий работами, хотя чем долее пеший мир будет в это время на работе, тем более будут отгуливаться на досуге, на пару и по выгонам, всякие лошадки, и хорошенькие, и плохенькие. Об арбузе из Милютиных лавок *по почте* почти и говорить не стоит. Парник, в котором должно родиться от 25 до 50 хороших арбузов, может стоить, считая все из-

держки, рублей 15. Следовательно, 37 арбузов обойдутся по 40 к. за штуку, а в Милютиных лавках надо дать за них около 40 р. серебром. Но практический г. управитель упустил из вида два обстоятельства. Нередко помещик живет в 200 верстах от ближайшей почтовой конторы, которая по закону не принимает никаких жидкостей, и, верно, ни у одного из них не хватило бы охоты лакомиться арбузами, ехавшими месяц или два на перекладных. Вот и суждения г. управителя, оглашенные печатью. Неудивительно, что хозяйства иных отсутствующих владельцев не подвигаются вперед, если надзор за ними поручен управителям, имеющим такие превратные понятия о самых элементарных основаниях хозяйства. Нет, не таким бессмысленно-бездушным существом вижу я, особенно в настоящее время, среднего землевладельца. Я вижу его напрягающим последние умственные и физические силы, чтобы на заколебавшейся почве устоять во имя просвещения, которое он желает сделать достоянием своих детей и наконец во имя любви к своему Делу. Вижу его устанавливающим и улаживающим

новые машины и орудия почти без всяких к тому средств; вижу его по целым дням перебегающим от барометра к спешным полевым работам, с лопатой в руках в саду и даже на скирде непосредственно наблюдающим за прочною и добросовестною кладкой его, а в минуты отдыха за книгой или журналом. Все это не выдумка праздной фантазии, а дело, на которое я могу вокруг себя указывать пальцами. Как бы ни был скуден у него годовой прибыток, у хозяйки дома всегда найдется и добрый совет, и даровое лекарство для пришедшего больного. Конечно, есть и между помещиками немало людей, которым дики и машины, и новые отношения; но мы говорим про общий поток, а не про лежащие на дне русла камни. Косность бывает и в литературе, и в науке; такова воля судеб.

Честной деятельности землевладельцев с каждым шагом открывается обширное и благодатное поле. Надобно только, чтоб они все более и более проникались сознанием важности своей задачи. Невозможно поверить, чтобы добросовестный и сознательный труд не принес наконец своих плодов и чтобы доб-

рый пример остался без влияния на массу народонаселения. Можно порицать дурные дела злых и неразвитых людей, сожалеть об ошибках заблуждающихся; но слепо враждовать в настоящее время против землевладельцев — значит желать косности, безысходного мрака, отсутствия всякого идеала в жизни. А это тяжкое проклятие. Не дай того Бог свободному народу!

VII. Ферма, пробы и клевер

В записках моих, изображающих первоначальное устройство моей фермы, в самую, можно сказать, минуту хаотического брожения двух разнородных элементов земледельческого труда: крепостного и вольнонаемного, я решился ограничиться фотографическою передачей фактов, предоставляя им говорить за себя. С тех пор как все это происходило у меня, прошло два года. В это время многое изменилось в понятиях и на деле. Теперь уже не слыхать фраз вроде следующей: вольный труд для производства гораздо выгоднее крепостного и т. п. Теперь всякий понимает, что

фермерское хозяйство такое же чисто коммерческое предприятие, как фабрика, завод и т. д.; но не для всякого, быть может, ясно, до какой степени подобное заведение (я готов сказать моральное лицо) чувствительно ко всем экономико-социальным переменам. Чем меньше ферма, чем менее у нее средств прибегать к разделению труда, тем чувствительнее она к таким переменам. Если и в больших городах, этих центрах разделения занятий, подобные перемены ощутительны для жителей, на которых они влияют из третьих, четвертых рук, то легко представить себе, как они действуют на изолированную ферму, где надобно иметь все, что есть в городе, только — при содействии самого ограниченного числа рук, во многих случаях не более как двух рук для десяти и более самых разнообразных занятий. Мне кажется, что самая чувствительность элементов нового дела интересна как признак известной кристаллизации его. Великий законодатель и хозяин фермы стоят на двух противоположных концах гальванической цепи. Гениальное соображение всех разнородных последствий но-

вого закона, необходимое первому, совершенно не нужно последнему. Только вообразите отмену дельного или введение нелепого закона, и вы легко поймете, что ежедневный, можно сказать, ежечасный опыт немедленно укажет фермеру на неизбежные для него последствия предстоящей перемены.

За два года вся задача состояла в прекращении крепостного труда. Эта задача разрешена и в некотором отношении отступила на второй план; теперь вопрос в том *как* и *чем* заменить этот труд на деле, а не на словах. По этому поводу возникает целый ряд новых вопросов, и вот почему я не мог и не хотел на этот раз пройти молчанием те из них, которые казались мне главными по влиянию на фермерскую (в настоящее время, вернее сказать, земледельческую) деятельность. Что касается до приводимых мною фактов, я стараюсь и на этот раз относиться к ним фотографически, предоставляя им, по возможности, говорить самим за себя.

Будь я на столько же способен ослепляться собственною деятельностью, как известная молочница с горшком на голове, читатель,

быть мажет, не без удовольствия нашел бы на этих страницах много отрадных диковинок, а иной, начинающий хозяин, не зная, как и что ему делать, воскликнул бы: *«Нашел! нашел!»* Но увы! я не могу видеть того, чего еще нет, да, быть может, и не будет, а два года слишком незначительный срок для нового, во всех отношениях, хозяйства. В прошлом году я обещал поопределеннее поговорить о принятой мною хозяйственной системе и постараюсь теперь в возможно сжатом виде исполнить обещание без всяких самообольстительных прикрас.

Как известно прошлогоднему читателю, я получал в управление двести десятин, которые обрабатывались на все манеры: крепостным и вольным трудом, исполу и отдачей в наем. Мы видели плачевный результат такого образа действий. Разумеется, пахотная земля разделена была по-барщинскому на три поля. Самая поверхностная выкладка покажет, до какой степени барщина была права в отношении к своей вековой рутине.

Из двухсот десятин примерно шестьдесят находились в пользовании крестьян, и, пола-

гая кругом по 4 рубля за десятину, владелец имел ежегодного, но единственного расходу 240 руб. Затем ему оставалось в трех полях по тридцати по три десятины пашни и двадцать с чем-нибудь десятин сенокосу, не считая выгона, да четырех десятин лесу. Как ни был бы дурен урожай на пресной земле, владелец мог делать такой расчет:

За домашн[им] расходом Денег С 33 десятин ржи по 4 четверти — 132 четверти 100 четвертей 300 руб. С 33 десятин овса по 6 четвертей — 198 четвертей 150 четвертей 300 руб. С 20 десятин лугу сена по 100 пудов — 2000 пудов 1000 пудов 150 руб. Итого чистого доходу 750 руб.

При этом он мог держать четырех лошадей, четырех коров и штук двадцать овец для собственной надобности, что вполне достаточно при таком миниатюрном хозяйстве. Итак, хозяйничая спустя рукава, невозможно было при старой рутине получить на этом клочке, кроме собственного продовольствия, менее 750 руб. Посмотрим, сколько даст тот же клочок при новом затруднительном и хлопотливом хозяйстве? Принимая урожай

прошлого 1862 года за норму (лишь бы никогда от нее не отступать!), мы должны выставить следующие цифры: С 40 десятин озимого:

Продано 35 четвертей пшеницы по 7 руб ... 245 руб.
Ржи 280 четвертей по 3 руб ... 540 руб.
Полагая, что со временем можно будет продавать по 100 четвертей овса и по 2 руб ... 200 руб.
Итого валового доходу ... 985 руб.

Надо иметь в виду, что вместо 8 или 10 штук крупного скота мне необходимо держать до 120. Взглянем на неизбежный годовой расход.

Десяти рабочим, считая кругом годовым и летним жалованья по 30 руб ... 300 руб.
Двум скотникам ... 55 руб.
Расход на приварок ... 100 руб.
Наем посторонних рабочих ... 100 руб.
Ремонт орудий и сбруи ... 100 руб.
Прикащику ... 100 руб.
Получим расходу ... 755 руб.
Затем остается чистого доходу ... 230 руб.

Не забудьте, исчисленный мною расход относится к четырем полям, из которых в каждом только по 40 десятин. А если б оставить трехпольную запашку, то есть обрабатывать по-прежнему в каждом поле 53 десятины вместо сорока, то, за исключением неизменного расхода на прикащика и скотников, пришлось бы остальной расход в 600 руб. увеличить на 1/3, то есть на 200 руб., что составило бы вместе уже не 755, а 955 руб. Ясно, что удержать, при подобных условиях, трехпольную систему — верх неразумия. Нужно было выбрать такую, которая была бы немногосложна, удобопонятна самому бесхитростному уму и давала бы возможность сосредоточить большие силы на меньшем пространстве. Кажется, проще моей системы быть не может. Разделив 160 десятин пашни на четыре поля, я забросил одно из четырех, а с остальными поступаю по старой трехпольной системе. На бумаге забросить поле весьма легко, а на практике я забрасывал свое два года и только прошлою осенью окончательно забросил. По некоторым данным, я предполагаю, что в нашей полосе шестилетняя *залежь*

успеет превратиться в новь или, по крайней мере, дойти до возможности поднять пшеницу. Если это правда, то одно это отчасти вознаградит за прогулянные шесть лет. Кроме того, поле не перестает и во время отдыха служить экономии, вначале в виде пара, а под конец, можно надеяться, и в виде сенокоса.

Если меня спросят, на чем основаны такие блестящие надежды, то вместо ответа представлю краткую историю моего четвертого клина. 20 десятин этого поля я в 1860 году застал уже под паром, а остальные 20 вспаханными под рожь. Рожь снял в 1861 году, а 20 десятин двухгодовалого пару уже довольно густо покрылись всякого рода сорными и кислыми травами, между которыми местами стали показываться луговая травка и белый клевер. За что же, подумал я, одна половина поля будет уже зеленеть, а другая лежать черною Сахарой, да еще не дав мне ярового? Не лучше ли засеять эти 20 десятин овсом с тимофеем и клевером, хоть для пробы? В таком случае, при удаче, через год все четвертое поле представит сплошную массу трав. Так я и

сделал, а пока прекрасный овес мой выспевал, скотина все лето ходила по 16 десятинам отличного подножного корму, да с заказанных, для пробы, четырех десятин того же трехлетнего пару сложено до 100 пудов сена невысокого достоинства.

Зная по опыту, какие тонкие и нежные ростки пускают клевер и Тимофеева трава, я принял за правило сеять их не с яровым, а после так называемой ломки овса, отдельно, и не под соху, а только под борону. Это мне напоминает прошлогодний анекдот, рассказанный не без иронии моим прикащиком об одном значительном (обязательном) соседнем хозяйстве. Прибывший из Москвы управляющий тоже принялся за травосеяние, и, разумеется, в значительных размерах. «Вот и рассеяли они, — говорит прикащик, — десятинах на 100 выписных Семен, рублей на 700. А управляющий кричит пахарям: „Паши глубже! По положению на 2 1/2 вершка“. — „Да глубоко, батюшка, будет“. — „Не твое дело. Паши по Положению“. И запахали эти семена. Что же? Хоть бы одно перышко брызнуло! Так черная пахота и осталась».

На нашей ферме проба травосеяния была мною сделана еще с весны 1861 года. Я высеял пять пудов выписанных от К.Я. Мейера семен: четыре пуда по четырем десятинам бывшего конопляннику, а один на десятину двухгодовалого пара, попавшего под сад. Последнюю можно считать обыкновенною пресною землей. Тем не менее, несмотря на отвратительную распашку и такой же сев, тимофей и клевер вышли и дозрели до семян прекрасно. Клевер даже повалился. Но сколько сена дала бы эта десятина — судить не могу, запустив траву на семена. Что касается до первых четырех десятин, то хотя они и не могут служить примером обыкновенному полевому травосеянию, однако не могу не сказать несколько слов о родившемся на них клевере. Я назвал эти четыре десятины громким именем конопляника, но конопля, которую я на них застал в 1860 году, была до того плоха, что во избежание возни я продал все четыре десятины на корню за 35 рублей.

Весной 1861 года я по той же земле рассеял яровую пшеницу с тимофеем и клевером, на свой риск. Я знал, что эти травы сеют и за

границей с овсом, но до сих пор не знаю, делают ли то же с яровою пшеницей. Теперь положительно могу сказать, что это можно. Пшеница родилась хорошо, и под нею оказался прекрасный всход трав. По неопытности я дозволил целую осень гонять по молодому всходу лошадей. Этого, очевидно, делать не следует, и меня уверяли, что травы погибнут. В какой мере сбылись предсказания, видно по прошлогоднему урожаю. Клевер, которого сеялось только 1/4 на 3/4 тимофею, почти исключительно завладел почвой и дал в первый укос около 1200, а во второй около 600 пудов превосходного сена; итого около 1800 пудов с четырех казенных десятин. По 450 пудов с десятины!

Желательно бы знать, родится ли он где-либо в более громадном количестве. Вот минута, когда можно бы пуститься в постройку воздушных замков. Помилуйте! на пресной, чуть-чуть расцарапанной земле клевер повалился, на истощенном коноплянике дал по 450 пудов с десятины. Ну, если он в нынешнем году даст на 20 десятинах только по 200 пудов, да 20 десятин залежи даст хотя по 50

пудов простого сена? Ведь это представит количество 5000 пудов лишнего в экономии сена, то есть около 1000 рублей нового дохода. Куда же после того годится прежнее трехлетнее хозяйство, если взять еще в соображение, что при новом плодородие полей должно возрастать, а при старом оно падало с каждым годом? Но мы будем пробовать, а не мечтать, тем более что прошлою осенью под прекрасным овсом оказался — увы! — самый чахлый всход сеяных трав. Остается одно: ждать, припоминая народную поговорку: «Осень говорит: раскущу, а весна говорит: как я захочу».

VIII. В какой мере возможно у нас требовать нововведений

В одном из петербургских журналов случилось нам когда-то прочесть следующие строки: «Гибельное влияние на наше земледелие имели следующие причины: 1) отсутствие умственного развития в народе, 2) упадок его энергии, 3) крепостное состояние, 4) недостаток оборотного капитала, 5) неразвитость торговли и промышленности, 6) плохое состояние путей сообщения, 7) слабое развитие городов, 8) незначительная степень населенности и т. д.».

По нашему простому пониманию, вся эта тирада — образец преднамеренного или невольного смешения понятий, где в виде причин выставлены последствия, а главная и, быть может, единственная причина зла попала только в восьмой нумер, именно: *«незначительная степень населенности»*, против которой только два средства — или вековое терпение, или немедленная иммиграция. Народонаселения искусственно не

выгонишь, как спаржу на пару. Неужели нужно повторять tritum per tritum, что в природе нет богатства, в экономическом смысле, без содействия человеческого труда; что огромный золотой остров, у полюса, куда не может забраться человек, совершенно бесполезен, и все равно, существует он или нет; что где нет рук, там нет и богатства, нет не только оборотного, но никакого капитала, нет торговли и промышленности, не может быть ни путей сообщения, ни сильных городов, ни хорошей администрации, ни высших потребностей, ни энергии, ни умственного развития, а есть одна непроходимая бедность, беспомощность и перебивание изо дня в день, как у первобытных кочевников. Стоит наступить неурожайному году, и люди валятся, как мухи, на свою хлебороднейшую землю. Нам все толковали о пролетариате, точно будто мы страдаем под бременем этого зла. Да, господа! где же этот пролетариат, ищущий на Руси работы и не находящий ее? Покажите хоть один экземпляр этого класса. Вот третьего дня к соседу моему заезжал становой и жаловался, что, живя в огромном се-

ле и имея под руками всеведающих сотских, ни за какие деньги не может достать бабу в кухарки. «Слава Богу, что у меня жена (прибавил он) умеет сама стряпать, а то хоть с голоду умирай. Да и точно (продолжал становой), что за неволя бабе идти теперь в чужие люди, когда она целую зиму прядет, тчет да денежки у печки зарабатывает? Холстина-то с 1 1/2 да 2 копеек за аршин стала 6 да 7 копеек. А тут к весне свой же мужик наймет ее пеньку мять, а там сажать, полоть, гресть да вязать, так она около дому сыта и за лишним рублем в месяц не погонится». Вот это факт. Вы нам суете развитие, а вы нам кухарку-то дайте! Нет рук! Нет рук! Вот наш постоянный припев.

А вот вам другой факт. Прошлым летом вдруг, ни с того ни с сего, почти вся наша округа поднялась переселяться в Тобольскую губернию, и первые загадали идти *на вольную степь* крестьяне огромного села С., получившие в надел всю барскую землю, без остатка в пользу владельца. Тем не менее они от нее отказывались, лишь бы пустили их *на вольную степь*. Слух об их переселении

облетел округу, и все крестьяне решили идти на *вольную степь,* не зная, разумеется, что это такое.

Естественные условия жизни — лучшая школа. Вот пусть-ка крестьянин, и в 250 лет не забывший шатаний Юрьева дня, повладеет девять лет собственным полем *лично,* а не на безобразном общинном основании, да вложит в родимую землю свой пот и труд, тогда посмотрим, возьмет ли он втрое больший клок *на вольной степи!* Пусть он заведет свой сад, своих пчел да свяжется возрастающими потребностями с ближайшими рынками и торговыми путями: тогда отдайте ему Юрьев день и будьте уверены, он так же мало им воспользуется, как богатый столичный домовладелец. Община понятна и разумна как общество, но как владение — она не более как книжничество, если не фарисейство. Россию не раз упрекали в до-геродотовской методе строиться из бревен на живую нитку. Хороша бы она теперь была, обстроившись из камня до окончательного размежевания!

О других будто бы причинах, а в сущности, последствиях низкого уровня земледелия и

говорить не стоит, например о дорогах и полицейском надзоре. Мало ли есть хорошего в странах с густым населением? Да это хорошее нам пока недоступно. В Германии вы протянули руку за пыльною придорожною сливой, а сторож уже кричит «halt» и хватает ослушника за ворот. Вы ломаете в лесу ветку или подымаете еловую шишку, а лесничий уже кричит «Halt!», целясь в ослушника из нарезного штуцера. У нас утром целая волость мучилась, достраивая на степи несчастный осиновый мостишко, а к вечеру около него, в тине, завязнул мужик с возом и ось в грязи сломалась. На двадцать верст кругом пособить некому, а топор про случай припасен в возу. Удивительно ли, что погибающий начнет ломать первое перило или мостовину, не размышляя о том, что следующий за ним путник уже окончательно погибнет? Да какой консерватор поступит в подобном случае иначе? Признаюсь, если бы меня в подобном положении окружали обе английские палаты, увещевая не нарушать общественного порядка, я бы под их красноречие еще с большим ожесточением рубил нужную мне балку.

Будь мост вечный, каменный, с хорошими взъездами и будкой со сторожем, тогда другое дело! И незачем рубить, и не позволят. А у нас, даже без надобности, руби сплеча, благо до Бога высоко, а до Царя далеко. Немцы все делают и берегут руками да капиталом, а мы достигай того же нравственным уровнем.

В прошлогодних «Московских ведомостях» выставляли на вид факт конкуренции волов с железною дорогой. За границей это действительно немыслимо. Но у нас, где иной торговый капитал не оборачивается и разу в год, разница нескольких дней и недель в доставке не может идти в соображение. Если это правда и волы требуют с меня за извоз дешевле чугунки, за что же я заплачу лишнее в пользу того или другого способа перевозки? Разве в виде премии за искусство? Но торговля и благотворительность два дела разные. Вечный опыт показывает, что никакая регламентация не может соперничать результатами с конкуренцией. Доказательство наши почты. Давно ли почтовое ведомство само просило о заметках насчет неисправностей? Что же? Его закидали заметками, а толку нет по

очевидной причине: кто бы ни взялся гонять почту, несмотря ни на какие льготы со стороны правительства, не сведет концов. Нельзя человеку, дошедшему до нуля, сказать: лезь в минус.

Должно согласиться, что во всяком жизненном явлении выражается не одна какая-либо причина; но в хаотическом беспорядке кричат все факторы вместе, как настоящие евреи-факторы у офицерского порога в Польше или Малороссии. Тут и причины, и следствия равно дают себя чувствовать.

Два брата Ш — вы, один в Москве, другой во Мценске, содержат постоялые дворы и подряжаются доставлять вещи через извощиков туда и обратно. Нынешний год за неделю до отъезда из Москвы я отправил через московского Ш — ва ко мценскому на свое имя два экипажа и вещи. Приезжаю во Мценск — экипажей нет, хотя они должны прийти на шестой день, иначе извощик в убытке. Зато мне говорят: не оставляйте экипажей у Ш — ва. Он запил, и у него такой беспорядок, что заезжие извощики возами обломают экипажи и вы ни с кого не получите. Справедли-

вость последнего замечания я испытал над экипажем, доставленным мне из Москвы в прошлом году, и потому по приезде в деревню, со вторника масленицы до чистого понедельника, меня беспокоила мысль, что я опоздаю послать к Ш — ву и не успею принять мер против крушения. Наконец блины кончились, рабочие сползлись в понедельник утром, и прикащик с двумя из них отправился на двух парах в город. В среду вечером, в сильную метель, посланные вернулись. «Что? цело?» — «Ничего нет. Не приходили». — «Может ли это быть? С лишком две недели!» — «Там был извощик из Москвы, так говорит: знать, не скоро ваши экипажи будут. Он видел у Ш-ва на дворе: так зашитые в рогожах и стоят. Московский-то Ш — в запил». Порядок! один запил на одном конце, другой — на другом, а люди проездили даром 120 верст и потратили деньги и корм понапрасну.

Мы говорили о нашей общей бедности. Иной *метафизик* в яме спросит: что такое бедность? *Отец* на это отвечает: неимение того, что есть у всех добрых людей. *Метафи-*

зик недоволен и говорит: «Бедность есть неимение необходимого. С этой точки зрения, Диоген богаче Александра и Россия богаче расчесанной, разукрашенной и упорядоченной Европы, с ее полями, мостами, садами и училищами».

На такое определение богатства и бедности мы только спросим *метафизика:* не фразы ли это? И возможно ли, чтобы человек голодал, тонул в грязи, мучился и между тем не чувствовал тягости своего положения? «Не сознает, так не чувствует». Должно сознаться, результат почти оправдывает cercle vicieux *метафизика*. В неразвитом народе можно рассчитывать только на его слабости, а не на человечески законные потребности. Раз из неудавшегося квасу мои рабочие подняли шум, а дайте им дурного качества мясо или сало, они докажут, что отличают хорошее от дурного. Что же едят они в своей семье — это дело другое. Кабаки растут не по дням, а по часам; суммы за *дешевку* сбираются громадные. Мяса в нашей стороне нельзя поставить дешевле трех копеек за фунт. Неугодно ли кому открыть вместо кабаков мясные лавки с

говядиной по одной копейке за фунт? Много ли будет покупателей? Да! Это низкая степень развития, но она все-таки результат, а не причина бедности. Не оттого я беден, что у меня нет кареты, а наоборот. Но не по метафизическому понятию, а по простому будничному сравнению многие называют Россию богатою. Неудивительно, что иностранцы, видавшие одних бар, въезжавших в их столицы шестернею в собственных экипажах, кричали о баснословном богатстве русских. Неудивительно, что французские журналы по поводу распродажи картин Анатолия Демидова и теперь кричат, завидуя огромным суммам. Но ведь подобные отдельные явления — не Россия, тем более не двигатели земледельческого прогресса. Пусть не считают нас непоследовательными. Говоря о главном земледельческом факторе (извините!), мы не отстаем от нашего тезиса. Для правильного, предусмотрительного хозяйства у нас ни на что не хватает рук. Это не дает права высшей правительственной или частной интеллигенции сидеть сложа руки. Она обязана предусмотрительно и ревниво наблюдать, чтобы

хотя наличные силы не пропадали даром. В этом смысле, если только дело пойдет разумно, эманципация труда, между неисчислимыми последствиями, должна заставить города поменяться ролью с деревнями. При старом порядке город был единственною целию всякой интеллигенции, а деревня не более как гнусным средством. В деревне скупились, терзались, дрались и подвергали себя строгой лозе иностранных наставников, лишь бы приобресть возможность более шансов для городской деятельности. Деревня была училищем, чистилищем для вшествия в городской рай. Наступила иная пора, и меньшинство городов должно занять настоящее место в отношении к большинству деревень. Гостиная и зала пусть будут в деревне, а город может и должен быть классного, кладовою колониальных и панских товаров, базарного площадью, архивом, сторожкой и т. д.

Прежде и в отношении социальном делали то же, что в земледельческом. Распахивали *нови.* Теперь, господа, новей нет, а надо по старым бороздам пускаться с новыми усилиями. Надо приложить к делу умственную гим-

настику.

Надо недостаток рук заменять машинами.

Разве это не делается? Посмотрите по большим дорогам! Сколько везут машин из Москвы и из-за границы! В губернских городах появились магазины земледельческих машин и орудий. Но зато сколько с ними и бед! Кому за ними смотреть? Кому их ладить? Сколько капиталу, в виде этих машин, пропадает и еще будет пропадать на Руси даром! Опять стена безрукости и бедности. Не будем говорить о недостатке специального образования. Предположим, что есть у нас механики, ветеринары, счетоводы, пчеловоды и т. п. Возьмем чистый доход с моей фермы и спросим, что она может уделить всем этим господам, даже при решении не получать ни копейки с основного капитала? И какой образованный специалист может довольствоваться приходящимся ему дивидендом? Опять роковая стена. На основании одних этих данных видна несостоятельность надежд наших кабинетных агрономов на так называемые образцовые фермы. Хорошо этим фермам быть

образцовыми, имея за собой капитал Общества. Отчего не произвести отличного овса, которого десятина выручит 60 рублей, если на нее потрачено 120. Такой образец не маяк, а фалшфейер, заманивающий на кораблекрушение. Даже при подобных условиях ферма Московского земледельческого общества не удержалась и сдана из профессорских рук в частные. На что нам эти фермы? А наши-то хозяйства разве не образцовые пробные фермы, на которых каждый пробует ворочать дело на все стороны? Один метит в немца, другой в американца, а третий присматривается к приемам русского мужика, коли заметил, что у мужика известная отрасль хозяйства идет исправнее, чем у него. На днях по поводу одного коннозаводского вопроса я был у соседа К. Я попал к нему в полдень, то есть в час окончания утренних работ.

«Дома барин?» — «Никак нет». — «Где же он?» — «На гумне». В это время мимо меня с гумна возвращались три работника, верхом на трех лошадях, каких я еще не видывал между барскими разгонными: огромные, сильные, здоровые и как бочки сытые. Я ни-

чего не понимал в подобном явлении и только про себя пробормотал: «Волшебство!» Барина побежали искать, а я отправился в его кабинет.

«Ну, батюшка! — воскликнул я невольно, когда К. показался в дверях. — Рабочие лошадки у вас прелесть! Как вы это делаете?» — «Овсом». — «Да разве можно кормить рабочих лошадей своим овсом, не разорившись вконец?» — «Нельзя». — «Стало быть, вы сознательно хотите разориться?» — «Нет. Я всю зиму делал то же, что мужики. Я извозничал и даже брал с посторонних полкопейкой на пуд хлеба дешевле мужиков. Работал, правда, немного себе в убыток; зато видите, в каком состоянии лошади и в каком виде я сам». К. показал на полушубок и валенки: «Без этого нельзя, — прибавил он. — В ночь, в полночь не ленюсь, бегу ощупывать вернувшихся лошадей: что холка? что плеча? что спина?»

Если это не химерическое пересыпание денег из правого кармана в левый, так хорошо. Главное, хорошо то, что всякий пробует все возможное. Один поступает по расчету, другой по рутине: посмотришь — результат тот

же. Рядом с моими полями — поля О. У меня четыре поля, у него еще три. У меня бурьян по залежи, и у него тоже. Только я забросил четвертую часть пашни, вследствие арифметического расчета, а он забросил свое за невозможностию управиться. Я предвидел стену и не пошел, а он не захотел на нее взглянуть и уперся в нее. Тем не менее бурьян и у него растет точно так же, как будто входил в арифметические вычисления.

Однако к какому окончательному выводу придем мы с вопросом *о мере, в какой у нас можно требовать нововведений!* Вспомним не раз «Водолазов» дедушки Крылова. В глубь моря полезем, утонем; по берегу будем таскаться, обнищаем; а держась середины, авось поправимся и хоть немного наловим жемчугу. Впрочем, человечество так устроено, что всегда и без нас найдутся охотники, не спросясь броду, нырнуть в воду. Вспомним судьбы всевозможных акций и акционеров. Нельзя отрицать великой заслуги подобных водолазов. Над их нравственными или материяльными могилами история пишет: «Сюда не надо ходить». Но целый народ без остатка не

может и не должен нырять подобным образом, очертя голову, на авось. Странно спрашивать: нужны или не нужны нововведения, когда все, кто волей, кто неволей, несутся по самой их быстрине и когда сама нужда заставляет им сочувствовать. Только не будем искать таких нововведений, которые неминуемо припрут нас к стене. Вот хоть бы моей экономии необходима зерносушилка, а я настроил дешевых крестьянских овинов, да и пачкаюсь с ними. Что же делать? Не строить же барщинскую, дорогую и несостоятельную ригу? А мало-мальски удовлетворительной зерносушилки нет. Вся Россия кричит: дайте зерносушилку! — а ее все нет. Другие орудия нужны не одним нам, вот они и изобретаются и усовершенствуются иностранцами. Зерносушилка нужна только нам. Гнилой Запад в это дело не вмешивается, а гноим-то свой хлеб — мы. Вот тут всякое поощрение со стороны ревнителей земледелия будет уместно. Назначьте хоть миллион премии за практическую, всем доступную по цене зерносушилку, и премия в первый же год окупится одним зерном, пропадающим на дорогах к ригам и

овинам. Такая премия будет полезнее мнимо-образцовых ферм и иных затей в подобном роде. Попробуйте выставить значительную премию на всемирную конкуренцию, и у нас чрез год будут зерносушилки. Прежде всего будемте здоровыми людьми. Mens sana in corpore sano. Хуже всего эта болезненная, узкогрудая раздражительность. Судьба сводила меня с некоторыми представителями немецкой науки. Какие они все здоровые, свежие, хлеб с солью! А уж какие милые, снисходительные к непосвященным, и говорить нечего. Никогда не забуду вечерних бесед с одним из светил астрономии. Какое высокое наслаждение ходить по незнакомым пространствам и неведомым путям, опираясь на опытную руку матерински снисходительного вождя, любуясь в то же время благородно-человечною личностию, не утратившею ни одного интереса, отдавшись главному! В противоположность таким явлениям один из наших талантливейших писателей рассказывал мне на днях свою встречу с замечательным типом нашего ученого. Заранее прошу извинения рассказчика, если не сумею пере-

дать слышанного его же словами. «Я всегда, — начал рассказчик, — представлял себе этот тип таким, каким наконец встретил его. Жидкие, плоские, бледно-желтые волоса, узкие плечи и ввалившаяся грудь, сухие ножки иксом, голос и выражение лица птичьи. Весь вечер этот человечек иронически подсмеивался над людьми, которые в состоянии тратить время на шатание по лесам и болотам с ружьем за птицами. Этому господину непонятно удовольствие проскакать на лихой лошади, врубиться в неприятельский фронт, перенестись вплавь через Геллеспонт. Он не поймет ответа русского мужика, пришедшего добровольно служить в течение двух месяцев на одном из Севастопольских бастионов. На вопрос: „А что твои домашние теперь думают?“ — мужик отвечал: „Когда бы домашние знали, как тут хорошо, все бы сюда пришли“. Этот ученый воображает, что может устраивать судьбы народов, а не подозревает, что ему самому одно место на свете, богоугодное заведение, один костюм — больничный халат и колпак».

Если в известных явлениях нашей жизни низкая степень развития и является наглядною причиной отсталости или, лучше сказать, преградой на пути усовершенствований и нововведений, то, как мы сказали, это не изменяет нашего главного положения. Источник зла — все та же малонаселенность с ближайшим своим последствием — бедностию. Видя быстрые успехи колоний в новых частях света, при сходных с нами условиях, мы не должны упускать из виду, что европейские колонисты вносят в новую страну силу, энергию и средства образованности уже как готовый материал, выработанный в метрополиях богатством, совокупностью труда и густотой населения. Вот если бы кочующие народы похвастали где-либо высокими специальными школами, земледелием, садоводством, архитектурой, торговыми городами и путями, мы бы уверовали в отрешенную силу какого-то с неба сваливающегося образования.

В наши дни эфемерных общефилософских галлюцинаций эфемериды забрались и в положительную область земледелия, и у нас

нет недостатка в обольстительных рекламах, в которых цифрами доказывается возможность в настоящее время наживать миллионы при вольнонаемном труде. Господа! вы бесцеремонно величаете неученого сельского хозяина невеждой; что же, вместо того чтобы торговать мнимо-спасительными книжечками, не возьметесь вы сами за дело и блистательно не наживете миллионов?

Пожелаем же себе любви к труду, ясных понятий о главной цели каждого из нас, строго охранительных законов, возбраняющих раз навсегда вторжение постороннего произвола в наши законные действия, взаимного доверия, основанного на той же строгой законности отношений, а главное — здоровья.

IX. Еще молотилка. Есть ли какой контроль над бесцеремонностью в отношении к чужой собственности?

Заглавие показывает, что из мира общих спорных положений мы переходим в мир неоспоримых фактов. Приведут ли они читателя к убеждениям, сходным с нашими или к противоположным, мы тем не менее считаем нелишним их обнародование. В прошлогодних записках я довольно подробно описал все мытарства, через которые заставила меня пройти выписанная от г. Вильсона молотилка. Рассказ остановился на том, что привод машины требовал вместо двух четырех лошадей и ломался едва ли не ежедневно. Так ли, сяк ли, урожай 1861 года был, хотя с страшными мучениями, перемолочен частию цепами, частию убогою машиной. Мы слышали отговорку г. Вильсона, показывавшего паспорты машинистов, разбежавшихся по своим деревням с забранными задатками, и слышали его обещание выслать ко мне непременно маши-

ниста в конце мая 1862 года, на условии, чтобы последний получал по рублю в день во все продолжение работы. Надо отдать справедливость молотилке г. Вильсона (хотя он и наделал мне около 1000 рублей невознаградимого убытку): она, можно сказать, вполне удовлетворительна; но зато самая дорогая и сложная часть машины, *привод*, никуда не годится. Оборони Боже от него всякого человека! В наших степных хозяйствах чугунные машины, да еще состоящие из цельных литых частей, убийственны. Приводы к молотилкам должны быть деревянные, составные. Сломался зуб — вон его! Каждый рабочий может вбить такой же деревянный запасный, и делу конец. А тут выломился зуб — тащи все десятипудовое колесо на завод и переливай его, а тою порой сиди у моря да жди погоды. Таков общий недостаток чугунных приводов. Но привод г. Вильсона, кроме того, по своей конструкции, которую здесь объяснять не буду, не выдерживает давления при нашей, даже самой правильной работе, хотя, предназначенный для русских, должен бы быть рассчитанным на вечное *авось* русского человека.

Трудно описать, что делалось с приводом г. Вильсона. Ломалась то одна, то другая часть, и спасать машину являлись всевозможные знахари, подвергавшие ее самым разнообразным искусам, бывшим в открытой вражде с элементарными законами механики. Где нет сознательного разумения, является клятва и божба — и эти люди клялись на чем свет стоит в истинах, подобных следующей: *«Чтобы облегчить экипаж, надо уменьшить колеса»*. Они клялись, а я находился в положении философа, который видит несостоятельность чужой системы, но не в силах составить своей. Ну, делайте как знаете. Они делали — и, о Боже! что выходило! Зная по горькому опыту, что г. Вильсон

Смеясь все клятвы пишет
Стрелою острой на воде,

я с весны заказал соседнему машинисту такой же деревянный привод, с горизонтальным чугунным колесом, какой он делал для своей экономии. Как у нас нет ни телеграфов, ни комиссионеров, ни специалистов, то мы ничего наверное не знаем, а земля только

слухом полнится. И до нас с соседом дошел слух, что в Ельце чугун лучше и гораздо дешевле орловского. Отправили за чугуном в Елец за 180 верст. Оказалось, цена чугуна та же; но, рассчитав дальний привоз и двухнедельную задержку посланных на завод, вещи обошлись нам почти вдвое дороже против орловского. *«Не всякому слуху верь»*.

На этот раз г. Вильсон сдержал слово. В начале июня, в мое отсутствие, забежал к нам часа на два его машинист и объявил, что, во-первых, менее как по два рубля в день не останется (зри уговор), а во-вторых, не станет ладить молотилку, если ему не дадут ее в том виде, в каком она была на заводе.

С тем и уехал. Наступил август — время ржаного сева. Нужны семена. У соседа привод, близнец моему, уже работает, а мне оставалось только к вильсоновской молотилке приладить деревянный привод. Нынче да завтра будет готов, и уж не знаю, как я наколотил ржи на семена старым приводом. Наконец один из чугунных зубьев главного колеса не вытерпел давления, и машина стала. Обстоятельства заставляли меня на несколь-

ко дней уехать в Воронежскую губернию. Погода стояла райская. «Теперь ни старой, ни новой машины, — говорю я прикащику, сбираясь в дорогу. — Надо, не упуская погоды, молотить наймом». — «Почем прикажете давать с копны? С меня просят по восьми копеек, да я не решаюсь дать более семи». — «Давай по пятнадцати». — «Помилуйте! с нас просят по восьми, а мы станем давать по пятнадцати?» — «Да, да! Словом, на мою ответственность». С тем и уехал. Во всю дорогу, туда и обратно, погода не изменялась. Проездом по деревням только и слышна была лихорадочная стукотня цепов. Как не молотить до упаду в такую погоду! Чем ближе я подвигался к цели поездки, тем пышнее становился урожай и поневоле напоминал стихи:

Уже румяна осень носит
Снопы златые на гумно.

Разумеется, первым вопросом по возвращении было: «Много ли обмолотили?» — «Ничего». — «Отчего?» — «Да обещались по восьми копеек прийти народу сколько угодно, а тут, по вашему приказанию, давал по

пятнадцати, никто не пошел. Все себе спешат». Тем временем привод поспел. Пошли рыть землю, старый станок вынимать, новый вкапывать, и вот стоит наложить ремень на вильсоновскую молотилку, и дело пойдет как по маслу. Но тут — увы! — одно непредвиденное обстоятельство мелькнуло у меня в голове. Привод делан для барабана с зубьями, а вильсоновский барабан, с билами, требует вчетверо более оборотов. Доморощенные механики, мы с соседом взяли по листу бумаги да по карандашу и стали взапуски рассчитывать обороты того и другого привода. Результат вышел тот же: с новым приводом вильсоновская машина должна идти вчетверо тише, чем следует, — и не молотить, а только мять да путать хлеб. Пойдем пробовать! Опыт подтвердил наши мудрые, но, увы, слишком поздние вычисления. Судьба и услужливый сосед и тут выручили. У него оказались два станка с зубчатыми цилиндрами, из которых он одним снабдил меня. Опять вырывать старый и вкапывать новый станок. Теперь вся машина новая, и дело пойдет на лад. Мастер получил на чай и остался доволен, а я в де-

сять раз довольнее. Через три дня, к ужасу моему, прикащик объявляет, что главное колесо на одном месте оборота прыгает. Бегу, смотрю: прыгает. «Стой! стой! за мастером! А то все полетит вдребезги». Остановили, и пятнадцать рабочих ничего не делают, то есть пьют, едят и жалованье получают. Явился мастер, весь выпачкался в масле и дегте и объявил, что можно пускать. Пятницу прочинились, а в субботу опять запрыгало. Слава Богу! В понедельник справим и будем работать. Но мастер закапризничал и запил. Как быть? Под влиянием велеречивого Вакха он объявил наотрез, что не может теперь устанавливать машину. «Я, — говорит, — забыл им сказать, чтобы мазали верхнюю шейку в ходовом колене; они не мазали да истерли ее. Теперь ни веретено, ни подшипники не годятся. Я не поеду». — «Что же делать?» — «Тут есть, — говорят, — по соседству такой мастер». — «Это тот, что в прошлом году забрал вещи и деньги да уехал в Елец?» — «Нет, помилуйте-с! То человек совсем не обстоятельный, а это настоящий мастер. Он мужик, но еще отец его был машинистом, делал тележ-

ку-самокат». — «Посылай за ним сейчас». Привезли мужика, которому и живописец, и скульптор дорого бы дали за позволение взять его в модель сатира.

Надо было разобрать машину, и сатир с таким адским озлоблением принялся за дело, что я ежеминутно ожидал окончательного истребления привода. Вот все разобрано, повыдергано. Действительно, ни веретено, ни подшипники негодны. Они съели друг друга. Подшипники можно купить готовые, а веретено (двухпудовой железный брус) должно быть не только обварено на стертом месте, но и обточено на станке. Воскресенье я напрасно прождал мастера-строителя, понедельник мы провозились с сатиром, и только во вторник вечером я очутился в Орле у ворот литейного завода П — на. Главного механика не застал дома и, напрасно прождав его часа два, отправился на усталых лошадях в почтовую гостиницу, передав помощнику испорченное веретено и просьбу к знакомому мастеру.

«Будьте покойны».

Однако я не успокоился и рано утром послал узнать о судьбе веретена. «Никак не мо-

гут раньше будущего понедельника взяться за эту работу, так как они на срок делают блоки для домашнего театра». — «Извощик здесь?» — «Здесь». Скачу на завод. «Пожалуйста!» — «Не могу, не могу». — «Для знакомства». — «Не могу, не могу. Ради Бога, не просите». — «Войдите в мое положение. Рабочие гуляют. Вам это трехчасовая работа, а я должен ехать домой с пустыми руками и в понедельник гнать нарочного семьдесят верст. Только в среду дай Бог уладить машину. Ведь это две недели лучшего времени пропало!» — «Не могу, не могу!» Делать нечего. Вернувшись в гостиницу, я стал ходить взад и вперед по комнате, раздумывая, как тут поступить? Служитель принес кофей. Я спросил, не знает ли он, как пособить моему горю. «Прикажете позвать фактора? Он здесь в коридоре во всякое время обретается». — «Позови». Вошел рябой мещанин, с тем выражением, которое бывает у трактирных половых, когда они объявляют, что есть все, что прикажете. Фактор сказал, что приведет такого кузнеца-слесаря, каких в России на редкость и который мне все дело мигом обделает. «Хорошо,

веди слесаря да заезжай на моем извощике на завод за веретеном». Завод в трех верстах от гостиницы, и это за утро третий конец, следовательно, восемнадцать верст. Явился слесарь. Кто изобразит все внушительное величие синей сибирки, красного носа и чувства собственного достоинства? «Будьте покойны. Представим вещь в настоящем виде. Я мастер. Без хвастовства могу сказать, мастер. Покойному Государю Александру Павловичу чинил экипажи. Извольте справиться, имею медаль на анненской ленте». — «Что же это будет стоить?» — «Всего пять рублей». — «Когда может быть готова?» — «В четыре часа пополудни». — «Раньше нельзя?» — «Ни коим родом. Ведь надо на станке обточить. Помилуйте! Неужели мы выпустим из рук недоделанную вещь? У нас при заведении свой станок. Всего дела-то на полчаса». Я отдал мастеру веретено, а фактору на водку. В то же утро заехав в заведение садовых и некоторых земледельческих орудий, я, слово за слово, передал хозяину мой недавний разговор с мастером. «Да вы плюньте ему в рожу, — воскликнул неожиданно хозяин. — Ка-

кой у него токарный станок? У нас в целом городе один только и есть на литейном заводе». Был третий час дня. По условию работа должна была быть скоро готова. «Поеду, — подумал я, — к слесарю: увижу, по крайней мере, что там делается». Приезжаю по адресу. Длинный грязный двор. Налево жилой дом, направо сараи с хламом, в глубине невзрачная кузница и ни живой души. Вхожу в кузницу, сопровождаемый ожесточенным лаем цепной собаки, и первый предмет, попадающийся на глаза, мое веретено, в первобытном виде, сунутое в тлеющие угольки горна. Хорошее начало! Иду на крылечко дома. Стучусь. Ответа нет. Повторяю удар. Выходит толстая баба. «Где хозяин?» — «Отдыхают». — «Позови». — «Сейчас». Минут через десять в кузницу явился преображенный хозяин, пьяный, пошатывающийся, в каком-то фантастическом поварском костюме с кожаным фартуком. За ним явились два замазанных оборванных парня. Один стал разбуравливать ступки у нового стана колес, а другому хозяин сиплым голосом крикнул: «Дуй!» Началась перековка инструментов. Опыт показал,

что от подобного мастера нельзя отлучиться, и я дал себе слово остаться до окончания работы. Три битых часа простоял я над мало-помалу отрезвлявшимся вулканом. Довольно за это время перебывало посетителей. Заметнейшими и почетнейшими оказались солдаты пожарной команды.

— Что ж ты? скоро там? — кричал один из них со двора, в то время как другой, присев в самой кузнице на новом колесе, просил: — Ребята, нет ли трубочки покурить?

— Ты у ребят-то попроси.

— Ну! а ты чего клещами-то сбоку берешься! Разве так можно? Эх вы! Так вот как, во! Видал? А то где ее сбоку удержать? Ведь это не что-либо такое.

— Да ну! Скоро ль ты взаправду там? — кричал снова голос со двора. — Я уж давно мерину ногу-то поднял.

— Эх право! Ну его там, сбегай да оторви ему подкову.

— Что это, где у вас утром пожар-то был? За Полесской площадью, что ли?

— Да, за Полесской. Таки продрало.

В это время малый, отдиравший подкову, снова уселся вертеть колесо.

— Что это, — вмешался он, оскалив зубы, — у вас на Дворянской-то ось, что ли, под бочкой, знать, лопнула? Эх вы, команда!

— Какая там ось? Грядка соскочила. Да чтой-то у тебя у самого на затылке-то? Точно губы красные? Обжег, что ли? — Какое обжег? Золотуха была. Два года ломала. Уж и допекла же, проклятая. Мало ли я от нее постранствовал.

— Полно дуть-то, да и ты брось вертеть да бери кувалду.

— Так! бей! еще! бей!

Я заметил плеву между обваренною шейкой и новым железом.

— Ведь ты плохо проварил, любезный!

— Помилуйте! Одно слово! На целом сдаст, а тут веку не будет. Сами изволили видеть, не железом обвариваю, а сталью. На заводе вам такого материялу не поставят. Одно слово.

— Где же точить-то?

— Да вот, у нас через улицу станок.

— Через полчаса остынет?

— Остынет.

Я уехал и через полчаса вернулся.

— Готово?

— Готово.

— Где ж точить-то?

— Да мы у того же П — на в полчаса обточим. Он не смеет нам отказать, мы ему сами не отказываем.

Тут я увидал, что обманут самым мошенническим образом. Но делать было нечего. «Садись! поедем!» П — кий механик принял мастера-самозванца, как и следовало ожидать, весьма нелюбезно. Никакие увещания не помогали, и только по моей просьбе кузнецу дозволили воспользоваться токарным станком, без содействия заводских рабочих. Оказалось, что самозванец не только не умеет точить, но не может даже вставить бруска в станок, а когда лошадь тронула привод, то он положил точильный крюк на железо, я ожидал, что он и меня и себя убьет. Солнце село. Работы нашей для опытной руки оставалось не более как на один час, но при такой обстановке можно было ожидать только несчастия. Видя, что дело пошло на каприз и

личность против кузнеца, со стороны механика, я бросил самозванца на заводе и поехал к главному хозяину заведения с просьбой уладить дело. Сейчас же поскакал нарочный с приказанием сдать дело своему рабочему, а я поехал в гостиницу обедать. Лучше поздно, чем никогда. Часов в 8 вечера явился мой первейший в России мастер, неся тяжелое веретено.

— Извольте, сударь, взглянуть. Без хвастовства могу сказать. Работа — одно слово! Что ж? Ребята на заводе в одно слово сами говорили: нам так ни за что не сделать!

Я сам видел, как рабочие не могли удерживать смеха, глядя на его приемы.

— Уж подлинно, рублик серебрецом на чаек заработал у вашей милости.

Не говоря ни слова, я отдал ему деньги по условию и указал на дверь. К свету я был дома, где меня ожидал сатир, и — увы! — пятнадцать болтавшихся без дела рабочих. Если разборка машины была решительная, то как назвать сборку? Сатир долбней колотил по колесам, ломил их рычагами и, по-видимому, хотел все раздробить.

— Помилуй, что ж ты загоняешь клинья, а ни разу не прикинул по ватерпасу?

— Тут ватерпас не пользует.

— Хоть бы мелом понаметил, где неверно.

— Тут мел не пользует.

Я отвернулся и ушел, и долго еще меня провожали удары долбни: бух! бух!

В пятницу утром пришел прикащик:

— Пожалуйте машину пробовать.

Попробовали: пошла молотить как ни в чем не бывало. Сатир без всякого восторга смотрел на успешный результат своей системы, получил деньги и уехал. Вот и подумал я: кузнец действительно нахальный обманщик, а и за того слава Богу. В субботу с раннего утра молотилка опять пошла работать. В одиннадцать часов явился прикащик. У меня сердце так и обмерло.

— Что?

— Да слава Богу! Бог помиловал. Чуть-чуть она меня не убила. Я лез подмазать на ходу большое колесо (это запрещено, но их не урезонишь), как она вдруг хватит надо мной, а малого таки водилом сшибло. Спасибо не больно убился.

— Да что такое?

— Как раз на самой сварке веретено лопнуло.

— Посылай опять за мастером, а я в воскресенье опять в Орел. Знать, суждено пропадать двум неделям лучшего рабочего времени.

Сельским хозяевам, вероятно, памятна в № 264 «Московских ведомостей» 1862 года статья г. Михаловского, в которой он жалуется на непростительную небрежность гг. Сосульникова, изобретателя зерносушилки, и Корчагина, механика, принимавшего заказы на изобретенную им машину?

Кто бы и что бы ни говорил в оправдание гг. Сосульникова и Корчагина, дело для г. Михаловского разыгралось самым плачевным образом.

Вместо заказанной им машины он через два месяца и десять дней после срока получил железный хлам, за провоз которого с него взяли втрое против действительной цены. Деньги за машину 175 рублей и все хлопоты пропали даром; да весь хлеб, около 4000 четвертей, оставшись в сыром виде, не мог

поступить в продажу. Ведь это в большей части случаев равняется конечному разорению. Таких примеров безнаказанного произвола над чужим имуществом у нас не перечтешь. Прошлым летом крестьяне деревни З — щи, везшие с завода партию сахару в Москву, свернули с шоссе в свою деревню и распродали сахар в собственную пользу.

Вот кстати! Когда я дописывал последние слова, мне объявили о прибытии из Мценска несчастных московских экипажей. Привез их обратно ехавший из города знакомый крестьянин. Я велел расшить рогожи. По счету все оказалось цело, но верх тарантаса от удара перекосился. Этого мало. Тарантас пришел к нам зашитым, а между тем по вскрытии рогожи оказалось, что московский извощик расшивал его и ехал в нем всю дорогу. Новый трип на спинке и локотниках замаслен грязным полушубком, а клеенка под ногами стерта и исцарапана сапожными гвоздями. Стало быть, кроме провоза я заплатил тридцать рублей за то, что мне сделали убытку на пятьдесят рублей. Желательно бы знать, есть ли какой-либо контроль над подобными продел-

ками, контроль не на словах, а на деле? Отчего в Париже вы поручаете, что вам угодно, первому уличному комиссионеру без всякого опасения, а у нас никому ничего доверить нельзя? Не говорите о низкой степени образования. Это фраза несостоятельная перед ежедневным опытом. Разве у нас в образованных и, пожалуй, по преимуществу образованных слоях не то же самое? Тут не невежество виной, а безнаказанность. Разве литература наша не делает с первым попавшимся именем того же, что извощик сделал с моим тарантасом? Уважение к незыблемой силе закона, уважение по преданию и привычке, всосанное с молоком матери, вот основа и сущность воспитания. Мы все большею частию дурно или, пожалуй, вовсе не воспитаны. Но об этом после.

X. Новое Положение о потравах и загнанные лошади

Что ни говорите, а некоторые явления обыденной жизни воочию показывают перемену к лучшему и заставляют с недоверием оглядываться на недавнее прошедшее. Не дальше как два года тому назад не было иных средств сколько-нибудь оградить поля и сады от вторжений чужого скота, как увечить и чужую скотину, и чужих пастухов. Эта единственно целесообразная система была, по безмолвному соглашению, принята повсеместно и нередко проявлялась в правильных набегах, отпорах и побоищах. Дело требовало стратегических способностей с той и с другой стороны, но, увы! — все пинки, зуботычины и арапники не исправляли векового зла. И вот не прошло двух лет, как стало невозможным и ненужным бить и ловить кого бы то ни было. Никому, вероятно, и в голову не придет гнать скотину на ваше поле, а если какая случайно забежит, то хозяин, вероятно, прежде вас бросится отыскивать и загонять ее. «Не

бей дубиной, а бей полтиной». Крестьянин без особого сожаления пропьет рубль-другой в кабаке, но заплатить два рубля за забеглую свинью для него очень чувствительно. Прошлого осенью табун мой, под надзором двух мальчишек, пасся по отаве, рядом с овсяньем соседа Р — а, по которому тоже паслись барские лошади. Наши пастухи, помня строгое приказание не пускать скота по чужим полям, не решались перейти к мальчикам-пастухам Р — а, которым, как видно, очень захотелось проводить время в общей приятельской беседе. Правда, они могли бы устроить раут на меже, но тут надо наблюдать за лошадьми. Всего лучше перегнать весь табун в луг, что они и сделали. Видя такой радушный прием со стороны наших пастухов, р — ские крестьянские пастухи в свою очередь пригнали в луг сорок крестьянских лошадей, и все было бы как нельзя лучше, если бы приказчик наш не наехал на эту семейную картину. Со случившимся в поле р — ским старостой он пересчитал крестьянских лошадей, а с помощию рабочих загнал к нам на двор восемь барских. Разумеется, первыми парламентера-

ми явились виновники, мальчишки-табунщики. Я им объявил наотрез, чтоб они несли по 20 коп. серебром за лошадь, всего рубль 60 коп., и что без этого лошади будут кормиться у нас на их счет.

С тем они и ушли. Несмотря на сырую погоду и местами стоявшие лужи, я вышел в поле посмотреть на всходы кормовых трав. Возвращаясь, вижу на гумне колоссальную фигуру крестьянина. Верно, за лошадьми, подумал я и не ошибся.

— Отпустите лошадок, явите Божескую милость, — завопил он еще издали. — Мальчишка-то мой их пасет. Так теперь барин скажет: выручайте как хотите. Лошади-то господские. А и барину-то обидно будет, затем что мы вашу скотину ловили да отдавали. (Действительно, скотник упустил однажды быка к Р-м и выпросил его обратно, не сказав мне ни слова.)

— Напрасно отдавали! Я только об одном прошу всех соседей: ловите мою скотину и берите законный штраф. Зато и я никому без штрафа не отпускаю.

— Да оно точно, батюшка. Ведь вот и крестьянских наших насчитали у вас сорок лошадей; вот вы с них-то и возьмите. Полно им озорничать по чужим дачам. А уж барских-то отпустите. Повек этого не увидите. Тогда хоть по два рубли с лошади возьмите.

— Я беру по Положению, а не по своей воле, и ты хоть до завтра толкуй, а рубль шестьдесят копеек штрафу неси. Без этого нет лошадей.

— Сделай же милость, батюшка! — И колосс шлепнулся в грязь на колени.

Я махнул рукой и пошел по направлению к дому, а мужик, стоя на коленях, продолжал жалобно выводить:

— Батюшка, да где же нам взять рубль шестьдесят копеек? Оглянитесь на мужицкие слезы. — Видя, что я ухожу, мужик встал и догнал меня у крыльца: — Ваше благородие, хоть что-нибудь.

Как и всегда, эта проделка мне надоела:

— Ну, слушай, шестьдесят копеек тебе спущу, а рубль неси.

— Батюшка! оглянитесь на мужицкие слезы.

— Эх, брат, ты пришел Лазаря петь, а мне некогда. — При этом я пошел на крыльцо.

— Ваше благородие, надо же нам расходиться.

— Я тебе сказал.

— Стало, получайте рубль.

С этими словами мужик вынул из-за пазухи и подал мне ассигнацию. Смотрю, новенькая красная.

— Значит, мне девять рублей сдать приходится.

— Девять рублей.

Сдача и лошади отданы по принадлежности. О сорока крестьянских подано объявление сельскому старосте, с угрозой беспокоить посредника в случае неуплаты. А как я не беспокоил посредника, то не получил и денег.

XI. Езда по клину и сосед А. Свинцов

Один из четырех моих клинов имеет вид сапога с голенищем, идущим кверху раструбом. Сапог этот повернулся голенищем к усадьбе, подошвой на восток, а носком на север. Линия, соответствующая подошве, — граница с землей А. Свинцова. Две северные линии от носка до подъема и от подъема до раструба — граница с землей К., а южная от каблука до раструба — рубеж с землей тоже Свинцова, но только Свинцова Порфирия Николаевича. С давних пор, когда земля моя состояла в общем владении Свинцовых, крестьяне и владельцы проложили дорогу по моему геометрическому сапогу, перерезая его от половины подошвы к подъему и затем продолжая езду по к — му рубежу. Казенная мера рубежа не позволяла принимать ни вправо, ни влево, и потому рубеж со временем проездился в виде корыта, по дну которого удобно ехать только одноконной подводе. Да мужику больше и не нужно. Зато от подошвы к

подъему стесняться было нечем, и по целому клину набили дорогу саженей в пять шириною. Для моей экономии эта дорога не нужна. На генеральном плане ее нет. Со времени отчуждения моей дачи езда через нее сделалась и для свинцовских бесполезной. Тем не менее в первый год моего хозяйства они все еще продолжали ездить через мою усадьбу. Тот с громом и грохотом гонит на паре с базару; этот слез с кумом или с кумой потолковать, третий — водицы напиться. Те пьяны, эти и пьяны, и с трубками. Что ни говорите, в настоящее время всякий старается, насколько возможно, держаться от крестьян в стороне. Пользы от их близости никакой, а забот, хлопот и убытков не перечтешь. Наглядным для меня подтверждением этой истины служит деревня Плоты, расположенная чуть не в упор против носка моего поля-сапога. Крестьянская скотина не сходила с моего поля и заставила меня, во избежание дальнейших неудовольствий, обрыть землю канавой до свинцовской дороги.

Потраву чужих полей можно еще объяснить прибылью, которую доставляет крестья-

нам подобная промышленность. Но чем объяснить следующий факт?

Вчера, проезжая по дороге мимо рощицы, я заметил, что из-под снега в аллее торчат одни столбики скамейки, а верхней доски нет. При ближайшем осмотре оказалось, что крашеная доска действительно сорвана и унесена вместе с четырьмя большими гвоздями, забитыми в дубовые стулья. Отрезать, обделать и выкрасить садовую скамью стоит денег, но за сорванную доску никто и двадцати копеек не даст. Стоило ли трудиться красть ее и для чего?

Когда землемер обходил все наши дачи, я спросил, могу ли я запахать свинцовскую дорогу? «Имеете полное право». Пока клин отдыхал под паром, езда по нем не представляла особых неудобств, но когда прошлым летом пришлось готовить его под рожь и частью под пшеницу — дело принимало сериозный вид. Я велел дорогу запахать, а у въезда со свинцовского поля прорыть канавку. Надо прибавить, что свинцовские, слава Богу, перестали ездить через мою усадьбу, а доехав до конца К — го рубежа, поворачивали под

прямым углом налево на большую дорогу, перерезая таким образом и другой рубеж Порфирия Свинцова. Поле под рожь вспахали и переделали отлично, так что оно приняло вид черного бархатного ковра, и как ни бились над утоптанною и укатанною дорогой, а добились до того, что и след ее исчез. «Ну, — думаю, — слава Богу! авось отвыкнут». В одно истинно прекрасное и жаркое июльское утро, толкуя с поваром на балконе, я заметил двух человек, в какой-то фантастической тележке подъезжавших к нам со стороны свинцовской дороги. Большая, статная, бурая лошадь была запряжена натяжною дутой. Или помещик, подумал я, или франт-купец. «Михайло! не знаешь ли, кто это такой?» — «Не знаю. Никогда не видал». — «Ну, да Бог с ними! К нам — узнаем, а мимо — не нужно». В это время я услыхал шорох в передней и не успел выйти к залу, как дверь из передней отворилась, и на пороге появился седой, довольно полный господин в коричневом сюртуке.

— Честь имею рекомендоваться, сосед ваш, А. Свинцов.

— Очень рад. Не прикажете ли чаю, кофею или закусить? Мы только отпили кофей.

— Благодарю. Завтракать рано, а чаю я уже давно напился.

— Не угодно ли садиться?

— Благодарю. Все сидел дорогой. А знаете ли? Я приехал к вам с жалобой.

— На кого или на что? Позвольте узнать.

— На вас! — воскликнул сосед, сериозно раскатывая глазами. — Вы сделали такое распоряжение (тут он откинул верхнюю часть корпуса назад и значительно расставил руки) qui bouleverse tout mon bien-etre (которое нарушает все мое хорошее самочувствие)! Вы запахали дорогу, по которой мы испокон веку ездим. Согласитесь, что этого нельзя делать.

— Этой дороги и на генеральном плане нет.

— Это все равно, есть она на плане или нет ее. Куда же нам-то деваться? Как нам теперь попасть на большую дорогу?

— Во-первых, позвольте заметить, что с юридической точки зрения далеко не все равно, нанесена ли дорога на план или нет. А во-вторых, сошлюсь на вас самих, удобна ли эта

дорога для моей экономии или нет?

— О! с этим я и спорить не буду. Она забивает вам целое поле, и по вашей даче так много дорог, что одною больше, одною меньше, вам ничего не значит. А нам остаться без дороги нельзя.

— Помилуйте! Неужели на том только основании, что если мне в известном отношении очень плохо, то я не должен и помышлять о каком-либо улучшении? Что же касается до вас, вы ни в каком случае не останетесь без дороги.

— Каким образом?

— Вы не добиваетесь права ездить через мою усадьбу и остальную дачу?

— Нисколько. Проехав к — ий рубеж, мы круто сворачиваем налево, на большак.

— Прекрасно.

— Нет; оно было прекрасно, а вы сделали теперь очень дурно, и, воля ваша, я буду жаловаться. Непременно буду жаловаться.

— Как вам угодно! Но если вы так неизменно решились жаловаться, зачем же брали труд толковать со мною об этом деле?

— Мне хотелось уладить дело полюбовно.

— Вполне разделяю ваше желание, и если вы потрудитесь выслушать, постараюсь объяснить мою мысль. Вы согласны, что проселок, которым вы по моей земле поворачиваете на большую дорогу, идет параллельно вашей, то есть нашей общей, меже?

— Согласен. Да к чему это?

— Позвольте! Вы согласны, что запаханная дорога и рубеж между мной и Порфирием Николаичем Свинцовым идут от вашей межи к моей усадьбе, несколько расходясь, так что четыре эти линии составляют почти правильный четвероугольник?

— Да, да, согласен, согласен. Да к чему все это ведет?

— Минуту терпения! Если вам или крестьянам вашим необходимо выезжать с вашего поля на большую дорогу, то не лучше ли сворачивать сейчас же по вашей меже влево, до межи Порфирия Николаича, а потом ехать этою межой до проселка?

— Как это возможно! Это гораздо дальше.

— Согласны вы, что старая дорога не короче межи Порфирия Николаича?

— Согласен.

— Мы уже говорили, что эти две линии в мою сторону несколько расходятся, и потому ваша межа короче моего проселка. Это докажет вам и план. По вашей меже два длинника, то есть 160 сажен, а по моему проселку три длинника, то есть 240 сажен. Итак, предлагаемая мною дорога на 80 сажен короче прежней.

— Помилуйте! Как это может быть? Вы меня никогда не уверите.

— Я бы предложил пари 1000 против ваших 10. Но это значило бы взять с вас деньги даром.

— Стало быть, вы отсылаете меня на Порфириеву межу? Он никогда не позволит ездить по своей меже.

— Не позволить ездить по казенной и потому никому лично не принадлежащей меже он не имеет права, да, кроме того, межа столько же его, как и моя. Представьте, как было бы забавно, если бы Порфирий Николаич придумал запретить мне ездить по моей меже?

— Вы другое дело, а посторонних он не пустит.

— Да вы же сами ездите по моей меже, только не по свинцовской, на которую я вам указываю, а по к-ой. Почему же по одной должно ездить, а по другой нельзя? Мой сосед не пустит по обшей меже, а я обязан пускать не только по меже, о чем бы я и не спорил, а целиком, через клин?

— Помилуйте, как вы не хотите понять? Там я еду по дороге, а вы меня посылаете по меже. Я на это не согласен. Там дальше ни за что не пустят ездить, и главное, дорога хуже. Там и проехать нельзя.

— Не прикажете ли мне проводить вас верхом и указать предлагаемую мною дорогу?

— Сделайте милость. Любопытно посмотреть на вашу дорогу.

— Петр! Вели оседлать лошадь.

Через десять минут я был уже верхом перед тележкой соседа и вывел его без малейшего труда на гладкий, высокий рубеж, по которому даже были накатаны колеи.

— Вот и накатанная дорога, — заметил я вслух, обращаясь к соседу. Но он сидел, видимо, недовольный, и при малейшей неровности, восклицал:

— Хороша дорога. Нет, как можно по рубежам ездить!

Наконец я вывел его на исходную точку, то есть на место, где на его рубежах дорога была мною запахана.

— Вот вы и на вашей дороге! И покойнее и ближе.

— Какое, помилуйте, покойнее и ближе? Вглядитесь-ка на вашу пашню. Пашня славная, охотницкая, а видите ли по ней этот след колес?

Я оглянулся и действительно увидал свежий след.

— Это я к вам ехал... Не могу! Делайте со мной, что хотите, а я все-таки буду ездить по вашему клину, хоть вы его пшеницей засейте. Ловите меня, отпрягайте моих лошадей, словом, делайте, что хотите, а я буду тут ездить.

Какие ни старался я приводить доказательства правоты моего дела, старик оставал-

ся при своем и твердил:

— А я буду ездить.

Солнце пекло немилосердно, оводы до того кусали лошадей, что удерживать их долее на месте не было возможности.

— Теперь поступайте как вам угодно и позвольте пожелать вам доброго пути, — сказал я и, повернув лошадь, пустился рысью домой.

— Что копачи, — спросил я вечером прикащика, — кончили канаву на новом огороде?

— Немного не кончили.

— Скажи им: если хотят, пусть по той же цене становятся в поле. Ты знаешь, свинцовский рубеж окопан канавой до бывшей дороги. Пусть они прогонят эту канаву до самого Порфириева рубежа. Мне эта комедия с их ездой надоела.

Осенью, после хлебной уборки, я вздумал нанять несколько десятин на весну под овес. Удобнее всего было нанять у Свинцова, а потому мой прикащик отправился к нему по этому делу.

— Отдает он землю? — спрашиваю я вернувшегося прикащика.

— И отдает и нет. Я, говорит, еще и сам не решился. А ты скажи своему барину, что я буду ездить по вашему клину, как ему угодно.

— Нет, говорю, сударь! теперь уж не поедете.

— Как! Кто мне запретит? Ну, ловите меня!

— Мы ловить не будем, да вы сами не поедете. Там ров прорыт по самый рубеж Порфирия Николаевича.

— Не может быть! Успели канаву прорыть? Нет, не может быть!

— Извольте послать справиться.

— Ну, не ждал так скоро. Да, впрочем, брат, мне и самому в одном месте нужно канаву прорыть. Вот седьмой год собираюсь, да все не соберусь.

XII. О вероятности влияния винокурения и южной железной дороги на наше земледелие

Живя в земледельческой полосе России, мы поневоле в каждом новом вопросе обращаемся к той его стороне, которая прямо относится к земледелию. Таких, в высшей степени важных, вопросов задано на разрешение русской жизни — два: винокурение и, если проект осуществится, южная железная дорога. Здесь не место вдаваться в подробное их рассмотрение. Разрешит их окончательно сама жизнь, которая нередко любит подводить совершенно неожиданные итоги. Позволим себе высказать только некоторые соображения о вероятном влиянии этих учреждений на наше земледелие. Начнем с винокурения. Выше говорено, что, куда бы мы ни обратились с нашею жаждой улучшений и преобразований, всюду натыкаемся на несокрушимую стену малонаселенности. Работать некому, распоряжаться некому, беречь некому, продавать некому и разбирать некому; а если

случайно и явится деятель на одну из функций, то в качестве монополиста, так что почти было бы лучше без него. Известно, что нравственное развитие идет об руку с возрастающими потребностями. Мы уже не можем, как в старину, довольствоваться хозяйствами, в которых господская усадьба заключалась в каменной риге посреди огромного гумна. Да и к чему было затевать лишнее? Барин живал в Питере или за границей, староста жил на деревне в своей избе, крестьяне привозили готовый хлеб на гумно, а сторожа всю зиму сидели под ригой. Теперь давай усадьбу со всевозможными заведениями, дом со всем комфортом, давай книги, журналы, веялки, сеялки, молотилки, зерносушилки, конные грабли — словом, бесконечную вереницу улучшенных орудий. На все это потребность возрастает с каждым днем, а средства едва ли не идут в обратной пропорции. Только принимая в соображение такое ненормальное соотношение влиятельных условий, можно отчасти уразуметь странные явления нашей экономической жизни.

В запрошлом году, например, урожай ржи в наших местах был далеко не дурной, и рожь зимою в Орле была 3 р. 30 к. за четверть. Прошлое лето рожь родилась лучше, хотя разница урожаев и не была слишком значительна. Зато на севере России неурожай, и почти рядом с нами, в Малороссийских губерниях, тоже неурожай, так что некоторые пророки, по-видимому не без основания, говорили, что с установившимся санным путем, то есть к новому году, рожь пойдет из Орла не на север, а напротив — на юг. Пришел и прошел новый год, и ничего подобного не бывало. Рожь в Орле, только за короткое время, поднялась до трех рублей с копейками, а то продавалась и ниже трех; да и то говорят: скажите спасибо винокурам, а без них вы отдавали бы вашу рожь чуть не даром. Чем же объяснить подобное явление? Тем, что наши хлебородные местности, за исключением разве лежащих у самых бойких сплавов, могут и должны смотреть на себя как на отделенные от внешнего мира непроницаемою стеной и предоставленные исключительному влиянию домашних обстоятельств.

Эти домашние обстоятельства наконец меняются. По освобождении крепостного труда, освободилось и крепостное винокурение. Всякий помещик имеет право в больших и малых размерах перегонять рожь в спирт. Винокуры гребут деньги лопатами и не успевают приготовлять живительную влагу; кабаки вырастают как грибы, а народ благословляет судьбу и, забыв, вынужденные откупом, общества трезвости, пьет *дешевку* как воду. Было бы близорукостию безусловно радоваться этим явлениям, но постойте! дайте срок! Конкуренция поделит более равномерно барыши винокуров, а постоянная возможность дешево напиться успокоит рьяность любителей. У свободного винокурения есть другая сторона, другая перспектива, которая должна быть близка сердцу земледельца. Сколько писано и говорено о том, что соседние государства, благодаря новейшим устройствам путей сообщения, отбивают у нас хлебные рынки! До какой степени трудно нам с ними соперничать, видно из следующего расчета: в Орле пуд ржи с небольшим 30 к., в Москве 40 к. Доставка до Москвы с небольшим 60 к. за пуд.

Следовательно, мне почти вдвое выгоднее сжечь свою рожь на месте, чем тащить ее гужом в Москву. Тут еще до заграничной торговли далеко, а нам необходимо продавать за границу, если мы сами покупаем там товары. Поэтому каждое производство, добывающее из громоздкого, тяжеловесного и дешевого материяла необъемистый, легкий и дорогой продукт, составляет величайшее благо для всей страны. Не имея под руками положительных данных касательно вероятности успеха русского спирта в качестве конкурента на западных рынках, не говорим ничего утвердительно; но если бы Россия сделалась исключительною и естественною поставщицей этого продукта за границу, то земледелие наше выиграло бы неимоверно. Не забудем, что, вывозя зерна, мы истощаем поля, а вывозя спирт, оставляем даже удобрительные части в виде *барды*. Какое другое производство представляет разом такие две выгоды? Все эти соображения ясно показывают, что мы как рыба об лед бьемся о плачевное состояние наших торговых и всяческих путей и что каждый новый шаг к их улучшению, каждой

замысел, вроде проекта южной дороги, не может не вызывать общей радости. Не будем спрашивать, устоит ли тот или другой путь на собственных коммерческих ногах? Предполагается, что всякому антрепренеру известно мудрое изречение азбуки: *«Взирай на конец»* . Нас и в этом вопросе интересует одно вероятное влияние его на земледелие.

Насколько мы понимаем дух крестьянской реформы, она должна разрешить два вопроса: эманципацию личности и эманципацию труда, что почти одно и то же. Если я непременно обязан трудиться так, а не иначе, то не могу еще назвать свою личность вполне свободною.

Труд только тогда свободен, когда подобно всем остальным ценностям обусловливается предложением и требованием, когда он *вольнонаемный.* Итак, вольнонаемный труд является логическим последствием и конечною целью реформы, о которой, во избежание недоразумений, скажем раз навсегда, что мы ей и в принципе, и во всех проявлениях по сей день — глубоко сочувствуем. Если, с одной стороны, понятны тысячи препятствий к

достижению конечной цели преобразования, то не менее понятны, с другой, и материальные жертвы в пользу идеи. То и другое в порядке вещей. Называют же себя французы единственною нацией, сражающеюся за идеи; почему же не взять нам, в том же смысле, монополию материяльных жертв? Служа главной идее, невозможно избежать необходимых, и очевидно враждебных самому делу уступок. Так в самой форме освобождения кроются два, враждебные его конечной цели, деятеля. Первый не более как временный (так он и называется) обязательный труд. Будучи обязательным, он в то же время не может быть вольнонаемным. Второй враждебный деятель — поземельный надел. Если вы скажете, что он нисколько не мешает вольному труду, — я вполне согласен. Зато и вы в свою очередь должны согласиться, что он сильно мешает вольнонаемному, без которого столь вожделенный расцвет нашего земледелия не мыслим. Я нарочно указал на условия, неизбежные, но тем не менее враждебные вольнонаемному труду — этому по сей день чахлому продукту русской флоры, чуть

было не сказал фауны. До сих пор все понятно, нельзя, признавая самую вещь, враждовать против ее существенных качеств.

В прошлом году, по причине дружной весны, все поля разом покрылись водою, и мыши с отчаянием бросились к жильям. Садовник, желая пораньше выгнать зелень в парнике, должен был три раза все сеять снова. Мыши систематически съедали всходы, пока обсохнувшая земля не распустила мышей восвояси. Тут нечего делать. Кто в степи заводит парники, должен заранее мириться с возможностью мышиных набегов. Но если бы садовник, под предлогом просушки рам, стал раскрывать на ночь парники и морозить вожделенный салат и огурцы, это показалось бы непонятным или заставило бы спросить: нельзя ли предохранить рамы от сырости, не губя и без того хилых посевов? По нашему крайнему разумению, постройка огромной дороги, быть может на много лет, станет разыгрывать в нашем краю роль моего садовника. Этому могучему, самобытному деятелю предстоит на выбор: укрепить, умножить и взлелеять вольнонаемный труд и водворить

общую уверенность в его силах или на первых порах задержать его рост. Читатели, вероятно, помнят прекрасную статью в прошлогодней «Современной летописи» «Русского вестника» о выгодной замене войсками посторонних рабочих при постройке железных дорог? Совершаясь на таком основании, постройка южного пути явится для всего края истинным благодеянием в земледельческом отношении. Обильное продовольствие рабочих солдат заставит каждого земледельца с новым рвением трудиться в хлеве, поле и огороде, и земледелие мало-помалу возмужает до степени зрелости, какой от него вправе будет ожидать новый торговый путь. Если же, напротив, работа будет производиться частными вольнонаемными рабочими, то должно ожидать явлений противоположных. Земледелие, предоставленное собственным ограниченным силам, не может и помышлять о борьбе с капитальным предприятием, рассчитанным на большие расходы. Все и без того малочисленные вольнорабочие уйдут на чугунку.

XIII. Рассказ знакомого с Юга

Нынешнею зимой в Москве я неожиданно получил записку с приглашением повидаться с одним проезжим семейством, с которым я был знаком, состоя на службе в Новороссийском краю. Нечего говорить, как я обрадовался случаю увидать давнишних добрых знакомых и потолковать обо всем, что такими живыми и глубокими чертами врезалось в моем воспоминании. Дети, которых долго не видишь, лучшее мерило прожитых нами лет. Такое мерило встретил я и в знакомом семействе. Мальчик, которого я знавал в курточке, теперь вышел ко мне молодым помещиком и бывшим студентом. Перебрав всех общих знакомых, я обратился к моему собеседнику с такими словами:

— Видите, как я помню все подробности и радуюсь движению вашего земледелия, вашим паровым молотилкам, разъезжающим на волах по помещикам и молотящим за 25 рублей в день до 250 копен и т. п. Признаюсь, я всегда считал общий уровень образования в

вашей местности гораздо выше того же уровня во многих и премногих углах России. В этом отношении с каждым днем можно ожидать только лучшего; но в качестве чуть-чуть не земляка, позволю себе обратиться к вам с вопросом, на который прошу отвечать вполне и откровенно. Какой отголосок находит в вашей стороне малороссийская пропаганда? В мое время ничего этого не было, а потому этот элемент для меня совершенно новый, и мне хотелось бы иметь понятие об отношении его к вашему краю.

— Вполне понимаю ваш вопрос, — сказал знакомый, — и постараюсь правдиво отвечать на него. То, что вы называете новым элементом, в отношении к стране вовсе не элемент, потому что не пользуется ни малейшим сочувствием с чьей бы то ни было стороны. Простой народ ничего не читает и потому мнимо-народные книжки — всего менее народные, а образованный класс, если говорит по-малороссийски, так только с чернью, а между собою, как вы сами знаете, порядочные люди говорят чистым русским языком и читают русские книги. Степень чистоты про-

изношения и оборотов, почти без исключения, верное мерило степени образования. Мы так искренно любим наш край наделе, а не на словах, что не нуждаемся в косноязычных заявлениях этой любви на местном наречии, на котором и заявлять-то ничего нельзя. Неужели, чтобы любить Новгород, Вологду или Мценск, нужно непременно говорить на их местных наречиях и писать *по-амченски. я гуторил* (вместо говорил) и *побаляхней* (вместо побольше)? Для того чтобы правильно выражать всевозможные оттенки мыслей на языке Карамзина, Пушкина и др., необходимо кроме тщательного образования запастись многим; а чтобы *гуторить побаляхней*, нужно только не родиться немым. С недавних пор наши русские — не знаю, как их назвать, — философы, что ли?..

— Я их называю *учэные* и пишу через оборотноеэ.

— Именно *учэные*! С недавних пор наши *учэные* стараются представить Россию каким-то лунным миром, в котором все не так, как у людей на земле. Нам одним не нужно ни Бога, ни чести, ни положительных зако-

нов, ни святости договоров, ни личной собственности, ни общего литературно-образованного языка. Положим, они все это хотят пробовать для блага человечества, да что бы им для своих экспериментов выбрать corpus vile поменьше России? А то, право, смешно.

— Да, — заметил я, — на что, кажется, более разнообразия в наречиях и произношении, как в Германии или Франции? Друг друга не понимают. А пусть-ка эти господа уверят образованных швабов, австрийцев или валонов, что не надо говорить языком Гете или Мольера? Что касается до простого народа, то наши *учэные* всего менее имеют понятия о его настоящих нуждах. Истинно ученые другое дело. Г. Буслаев любит и изучает русскую старину, что не мешает ему в этом сериозном занятии видеть пищу для специалистов, а никак не для народа. Народ стыдится собирателей песен и сказок, потому что песня, сказка и грамота могут, в его глазах, быть сопоставлены только на смех. Но я увлек и прервал вас, а мне одинаково, если не более, интересна и другая сторона вопроса, сторона политико-социальная.

— Понимаю, о чем вы говорите, и смело могу вас уверить, что и эта сторона находит в нашем краю не более сочувствия, чем первая. В подтверждение моих слов могу рассказать анекдот, в котором мне поневоле пришлось быть действующим лицом.

— Сделайте милость! Я вас слушаю.

— Мы, как вы знаете, живем и хозяйничаем вдвоем с братом. Отношения наши к крестьянам самые мирные и с первого дня реформы все более превращаются в простые соседские. За все время я вынужден был один только раз выехать на косовицу (сенокос) по поводу возникшего шума и беспорядка. Тут я довольно крупно поговорил с громадою (миром), и дело кончилось тем, что громада сама выдвинула вперед зачинщиков и тут же наказала их. Кроме этого не было ни столкновений, ни недоразумений. Крестьяне вполне довольны своим положением и нами, а мы не можем сказать про них ничего худого. С весны прошлого года стали ходить слухи о переодетых бродягах, старающихся вступать в разговоры с крестьянами и всячески волновать их. Так как обычный наш форум и аго-

ра — шинок, то, позвав *шинкаря*, нашего же крестьянина, я объяснил ему дело и поручил дать мне знать, если кто-нибудь чужой в простонародном платье станет слишком красно рассказывать. Незадолго до рабочей поры, в воскресенье, часов в 5 вечера, прибежал шинкарь с известием, что какой-то *не наш* что-то очень красно рассказывает. «Хорошо, ступай!» Отправляясь в шинок следом за шинкарем, я зашел на конный завод и из двенадцати конюхов выбрал четырех посильней и порасторопней. «Ступайте за мною к шинку да держитесь у дверей. Может, вы мне понадобитесь». — «Слушаем». Я вошел в шинок и, не обращая ни на кого внимания, сел на лавку. Крестьян было много, и они в свою очередь, по-видимому, не обратили внимания на мой приход, а продолжали стоять или сидеть попрежнему. Убедясь в присутствии незнакомца, я легким движением пальца указал некоторым из тех, что постарше, на дверь.

Мало-помалу громада очистила шинок, и мы остались втроем: шинкарь, незнакомец и я.

«Ступай-ка, брат, и ты», — сказал я шинкарю, и он исчез за дверью.

«Позвольте узнать, милостивый государь, — обратился я к незнакомцу по-русски, — что значит этот маскарад? Напрасно вы старались наряжаться. Ваш костюм никого не обманет. Цвет вашего лица и рук доказывает, что вы не чернорабочий».

Поддерживая роль костюма, незнакомец понес какую-то галиматью, притворяясь, что не понимает меня, и стараясь в то же время говорить чистым хохлом. Это ему не удавалось, что я ему тотчас заметил. Мое замечание неожиданным образом сделалось поворотным пунктом комедии. Оно рассердило народного витию, и он уже по-русски пустился доказывать, что я не имею права останавливать путешественника.

«Послушайте! Не горячитесь! — прервал я его. — Во-первых, вы в той западне, в которую влезли по доброй воле. Во-вторых, я уверен, стоит вас обыскать, чтобы находящиеся при вас документы увели вас слишком далеко. А в-третьих, достаточно не защищать вас, и нельзя ручаться за вашу судьбу. Громада,

столковавшись в настоящую минуту об истинном значении вашем, может заставить вас полететь в пруд. Это я говорю в виде предостережения, а теперь позвольте узнать, зачем вы здесь? Не может быть, чтобы вам не были известны наши мирные отношения к крестьянам. Вы знали, что они нами довольны. Зачем же вы пришли сюда? Смущать, восстановлять, вызывать на беспорядки и несправедливости? Согласитесь, это положительно бесчестно. Теперь можете идти своею дорогой, и я позабочусь о вашей безопасности».

«Милостивый государь! — воскликнул он вдруг. — Мы встретимся с вами в другом месте».

«Что это? — перебил я его. — Дуэль? Посмотрите на свой костюм, и вам самим станет смешно. Впрочем, встречайтесь где угодно; не советую только здесь возобновлять нашей встречи».

Затем я велел выпроводить его подобру-поздорову из деревни и только на другой день узнал, что в знакомой вам Петровке он обращался с своим красноречием к громаде.

За это красноречие мужики избили его до того, что староста, во избежание дальнейших последствий, выпроводил его куда-то на своей подводе. Дальнейшая судьба этого человека мне неизвестна.

Что касается до меня, то я отвечаю за вполне верную передачу рассказа.

XIV. Кому всего естественнее принять обязанность народных воспитателей

С первых дней эманципации много у нас было говорено, писано, жертвовано и делано в пользу народного образования. Чего логичнее простого положения: «Рабу не нужно образования, свободному оно необходимо»? Но логика жизни показывает, что это не так просто, как кажется, и что никакими внешними стимулами нельзя развить того, в чем не чувствуется насущной потребности. Эта неумолимая логика указывает на охлаждение к народному образованию в слоях, откуда вышло самое движение, и на болезненное состояние народных школ. Чем объяснить по-

добное явление? В прошлогодних заметках моих я указал мимоходом на существенную разницу между образованием и воспитанием. И на этот раз, приближаясь к подобным вопросам, мы, по свойству статьи, должны ограничиться общим указанием на предмет, не вдаваясь в подробное рассмотрение его. Более всего мы желаем, чтобы наша мысль не была понята превратно.

Говоря об образовании, в противоположность воспитанию, мы находили, что воспитание должно иметь своим результатом привычку свободно действовать в кругу ясно обозначенных неизменных законов, привычку, переходящую наконец в природу. Итак, первое средство к народному воспитанию — положительные и бдительно охраняемые законы, относятся ли они к нравственному или только физическому проявлению воли и выражаются ли в письменах или изустных преданиях, обычаях, обрядах. В этом смысле мы не можем назваться народом воспитанным. Но и в общей невоспитанности есть свои степени. Крестьянин, старообрядец, строго держащийся древних преданий, — люди, более

или менее воспитанные в народно-русских понятиях; высший круг — люди, более или менее воспитанные во французских понятиях. Рождается вопрос: в каких преданиях воспитаны люди, отвергающие всякое предание во имя *мнимо-научного* движения? Мы не раз говорили и приводили примеры тому, что истинная наука чужда враждебных отношений к жизни. Но недоноски науки, преимущественно у нас на Руси, по исключительности положения, находятся в особых нравственных условиях. Они среди общей невоспитанности могут по преимуществу называться невоспитанными. Какое явление представляет нам в этом смысле Базаров? Он отстал от народа и не пристал к обществу. От первого он сам и руками и ногами, и во второе его не пускают. Нашлась одна Одинцова, да и та потом раскаялась.

Базаров одинаково непонятен и угловат в избе и в гостиной. Ему хорошо только в своем тесном кружке, где нет преданий, нет законов, где все хорошо, все дозволено, где с равным бессмыслием можно рыться немытыми руками и в чужих верованиях, и во внутрен-

ностях лягушек и разложившихся трупов.

Но оставим Базаровых в стороне и взглянем на воспитание вообще и на русское в особенности. Воспитание, как мы видели, может преимущественно обращаться к нравственной стороне или ко внешней, или к той и другой вместе. Но куда бы оно ни обращалось, воспитание представляет уже возможность жить в обществе, не истребляя друг друга, подобно дикарям. Исключительно наружное воспитание, удерживая известную стройность общества, лишает его всякой силы движения. Раз узаконенная, отлитая форма неизменна и, подобно китайскому башмаку, препятствует росту живого организма. Между тем нравственные узы, оказывая обществу ту же услугу, как и внешние, способны постепенно расширяться, согласуясь с нравственным развитием духовного организма.

Христианство является, бесспорно, высшим выражением человеческой нравственности и основано на трех главных деятелях: вере, надежде и любви. Первыми двумя оно обладает наравне с прочими религиями. Нет религии без веры и надежды; зато *любовь* —

исключительный дар христианства, и только ею Галилеянин победил весь мир. Излишне говорить, что вера, надежда и любовь свойственны душе человека. Христианство и не могло бы быть таким могучим двигателем, опираясь на несуществующее. И важна не та любовь, которая, как связующее начало, разлита во всей природе, а то духовное начало, которое составляет исключительный дар христианского воспитания.

Что верующий верит в своего Бога и надеется на него — очевидно, но любит ли он его в христианском смысле — это другой вопрос.

И друг степей калмык

ставит перед бурханом свечку и откладывает частицу съестного на особое блюдце. *Господи помилуй*, сказанное в минуту опасности в том же смысле, в каком по миновании ее говорится: *Господь помиловал*, только подтверждает пословицу *«Гром не грянет, мужик не перекрестится»* и далеко отстоит от христианского: «*Господи помилуй* меня грешного, недостойного твоей чистоты, и сделай меня сопричастником правды Твоей, во имя

моей к Тебе любви». Между этими двумя *Господи помилуй* целая бездна.

В последнее время литература не скупилась на заявления односторонности семинарского образования. Та же нота звучит в воспоминаниях г. Заилийского («Кадетская юность», «Отечественные записки», ноябрь 1862 года). Вот его слова: «Все касающееся до сердца изгнано... осталась сухая процедура исполнений, приказаний и процесс бессмысленного заучивания заданных уроков самого разнородного содержания». Недавно один почтенный педагог рассказал мне о следующем куриозном экзамене вновь прибывшего в Москву семинариста: «Желая узнать, в какой мере владеет он русским языком, я попросил его описать свой приезд в Москву. С этою задачей он вышел в соседнюю комнату и долго сидел за затворенными дверями. Выходит наконец измученный, весь красный и в испарине. „Нет, — говорит, — юля ваша, на эту тему не могу". — „Помилуйте, что же вы после этого можете?" — „Этого решительно не могу, а если угодно о бессмертии души, сейчас изготовлю"». Мы слышали голоса бывших семи-

наристов и кадет. Если бы можно было разом спросить питомцев и других воспитательных учреждений, не исключая и домашних, мы, вероятно, в общем итоге услыхали бы то же самое. Если русский ребенок не вправе жаловаться на обузу образования, то тем более ему некого упрекнуть за излишние труды, потраченные на его моральное воспитание. Думай и чувствуй как знаешь, только не попадайся в наружных проявлениях твоей нравственности.

Не так идет дело воспитания там, где воспитание есть сериозное дело. Пишущий эти строки имел счастие воспитываться (увы! не долее трех лет) в немецкой школе. Отчего, скажите, не только посторонние мне воспитанники, но я сам озираюсь с таким тяжелым чувством (хорошо бы, если бы только с комическим) на наше русское школьное воспитание, и отчего, вслед за тем, я же не могу без чувства искренней признательности переноситься мысленно в немецкую школу? Отчего это? Очень просто! «Как аукнется, так и откликнется». Я чувствую всю меру добра, которого мне желали мои воспитатели, ту любовь

к делу и к нам, детям, которая не позволяла им довольствоваться большею или меньшею степенью успехов, более или менее приличным поведением, а заставляла по поводу всякого поступка ученика обращаться к нравственной почве, на которой созревал поступок. Тут все сводилось на нравственную сторону человека. Бывали и у нас взыскания и наказания. Но самым жестоким мучением было идти получать выговор от директора. В случае проступков, изобличавших порочные наклонности, выговор продолжался иногда более часу. При словах «поди-ка сюда» виновный входил в кабинет директора и останавливался перед ним с глазу на глаз. Увы! Не раз приходилось и мне стоять подобным образом, и если бы мне в то время предложили жестокое телесное наказание как средство избавиться от выговора, я бы с радостию принял предложение. Сам директор в подобных случаях не садился, а стоял в красном халате, с огромною пенковою трубкой, несколько перегнувшись через спинку кресла. Никто из нас не забудет этого халата и этой трубки. Нам под конец казалось, что сама трубка име-

ет свойство знать все изгибы и сокровеннейшие тайны нашего сердца. Разумеется, таким всеведением директор был обязан собственной проницательности и неусыпному надзору учителей-надзирателей, собиравшихся под его председательством в 1-е число каждого месяца на ночные конференции. Делая выговор, что он называл coram nehmen, директор никогда не возвышал голоса, не прибегал к угрозам, но тем не менее был неумолим. Обнажив всю душу виновного, он целым рядом заключений доводил его до той страшной бездны отвержения, в которую с каждым шагом готовился столкнуть его господствующий в его душе порок. Подобные увещания страшно действовали на мальчиков. Многие не выносили нравственного потрясения; им делалось дурно, и ни один, даже из самых упорных, не покидал кабинета без громких рыданий.

В этом же направлении, в продолжение многих столетий, без устали работает в хорошо воспитываемых народах церковная проповедь, и из уст пастырей переходит в уста каждого главы семейства. Бабушка, рядом с

сказками и преданиями старины, передает детям правила нравственности и толкования на изречения ее настольной книги Библии. Удивительно ли после этого, что народы, живущие при таких воспитательных условиях, отличаются твердостию нравственных начал и глубоким к ним сочувствием? Все это еще так от нас далеко, что многие способны воскликнуть: «Это все немечина! Нам этого совсем не нужно!»

Что же нам нужно? Нравственное шатание? Поблажка всевозможным страстям и порокам? Словом, теория ощущений? С разделяющими подобные убеждения спорить не будем. С ними мы слишком далеко расходимся. К счастию, не все русские разделяют такие мысли, чему доказательством служат попытки к народному образованию. Русское самосознание желает школ и только озирается во все стороны, ища воспитателей. Где же они? кто такие?

Прежде ответа на этот вопрос позволим себе еще раз небольшое отступление. Порицая неподвижность внешнего воспитания, мы не могли не признать за ним заслуги охранения

данного порядка. Лучше какой-нибудь порядок, чем совершеннейший хаос и столпотворение. Человек, воспитанный в преданиях русской старины, неизмеримо выше человека, вовсе не воспитанного. Первобытный русский человек вовсе не склонен к смятениям и волнениям, и если есть в нем к тому возможность, так только при мысли, что нарушается то, во что он привык верить как в непреложное.

Никто не может сказать, чтобы русский священник был способен преднамеренно волновать свою паству в смысле политическом или социальном. В этом отношении русское священство, как истинно христианское, стоит неизмеримо выше католического, постоянно стремящегося к приобретению мирской власти. Одно это качество дает нашим священникам полное право, предпочтительно перед всеми соискателями, на звание народных воспитателей. Доверив им школы, можно быть совершенно покойным насчет политических и общественных убеждений учеников.

Почему же, спросите вы, Базаровы, которые по преимуществу вышли...?

Постойте! Постойте! Возражение ваше, повидимому, уничтожает все сказанное выше. В самом деле, каким образом люди, с самым мирным направлением в своей среде, могут являться такими радикалами, перешагнув заветную черту? Или то, или другое неверно. Напротив, не только и то и другое верно, но одно вытекает из другого. Базаров, оставаясь в своей среде, строго ограниченной на всех пунктах, отлично покатился бы по обычному полю. Тут исключительно внешняя гимнастика ума не привела бы его ко вражде с самим собою, а была бы, напротив, даже полезна ему лично. Что за беда, что небольшое поле огорожено со всех сторон? Рикошетируй всю жизнь, благо толчок дан и благо угол падения равен углу отражения, рикошетируй, лишь бы не сорваться за борт, рикошетируй, пока прямым и ослабевающим ходом не побежишь умирать — в лузу. Но при подобных условиях выскочить за борт — беда, и чем умнее сорвавшаяся личность, тем для нее хуже. Помилуйте! Что делать тому, для кого суще-

ствование духов *(ergo spiritus existunf)* было попеременно то положением, то отрицанием единственно ради гимнастики? Человека с основами нравственного воспитания влекут известные симпатии в ту или другую сторону жизни. А тут нет никаких симпатий, а есть одна непримиримая антипатия к своему прошедшему. Но антипатия — бесплодное отрицание. Что же, повторяем мы, делать выскочившему за борт? Все предметы для него безразличны. Он на все смотрит при помощи источников изобретения. Для него все, что только есть во вселенной, существует под условиями: «Quis, quis, ubi, quibus, auxiliis, cur, quomodo, quando». В нем жив импульс, заставивший его выскочить за борт; он чувствует потребность рикошетировать, а тут на беду бортов-то и нет. Что ж делать? Остается один исход. Решить раз навсегда, что все предметы борт, и пошел задавать рикошеты. Пень — рикошет; человек — рикошет; закон — рикошет; наука — рикошет; искусство — рикошет, et sic in infinitum.

Часто Базаров, по-видимому обласканный судьбою, особливо если сравнить его настоя-

щее с прошедшим, тем не менее, судя по боязливому шепоту его клиентов, *озлоблен.* Нам смешно. Мы думаем: *«Господи! на кого и за что?»* А войдите в его положение. Он не столько умен, что чувствует невозможность основать жизнь на рикошетах. Но в известных летах не дашь себе нравственной основы, если ее нет. Недаром немцы говорят: «Чему Ванечка не выучился, Иван не выучится вовеки» («Was Hanschen nicht lernt; lernt Hans nimmermeht»).

Мы страдаем болезненным продуктом нашего несоразмерного стремления к высшему образованию. Объяснимся. Мы толкуем об исключительности правительственной инициативы. Эта инициатива нигде не выразилась с такою силой, как в Петровской реформе. Перед лицом прогресса правительство было *все,* а народ *ничто,* и отношение между ними было чисто крепостное. Приехал барин из-за границы в имение и видит, что старое не годится. Ломай старое! Сломали. Надо же и новое: надо повара, слесаря, бухгалтера, столяра и т. д., а где их взять? Не дожидаться же, в продолжение тысячи лет, добровольного

предложения на спрос со стороны народа? Барин пособрал первых попавшихся мальчиков и отдал *в науку*. Разумеется, первая отдача сопровождалась похоронными проводами и голосьбой; но когда родители и сверстники убедились, что преждевременная смерть не есть неминуемое следствие науки, а увидали, напротив, преуспеяние ученых, то начали являться добровольные жертвы, при непременном условии получить за выучку те же льготы и выгоды, какими пользуются их предшественники. Так, у многих помещиков обучившийся какому-либо мастерству крестьянин получал исключительное право жениться и выбирать невесту. То же самое делало правительство, вербуя для своих целей специалистов.

С падением крепостных отношений рушился и подобный порядок вещей. Дело стало на коммерческую ногу и пошло на предложение и требование. Теперь посмотрим, много ли найдется охотников, из дворовых или мещан, платить «Яру» и повару Английского клуба, за усовершенствование своих сыновей в поваренном искусстве по 300 рублей в год?

Зато ни один безумец не потребует от помещика подобной жертвы в пользу первого желающего, как бы ни были велики способности последнего к стряпне. Естественный ход дела предоставляет каждому учиться на свой страх и на свой счет. Правительство, вербуя на известных условиях специалистов, должно же наконец дойти до момента, в который все вакантные места будут заняты. Оно может продолжать давать чины, но вынуждено будет отказывать в местах. Что ж из этого произойдет? Излишек приготовленных или полуприготовленных специалистов, навсегда оторванных от родной почвы, останется без занятия и составит единственно возможную на Руси форму чистейшего пролетариата.

Таковы всегда следствия искусственного нарушения экономического равновесия. Искусственное приготовление неограниченного числа специалистов — в своем роде то же, что неограниченное заготовление шляп в национальных мастерских. Дело другое, если бы в народе чувствовалась потребность в специалистах и была возможность ее удовлетворить. Но ничего подобного нет. Возьмем для

примера медиков. Предположим, что все казенные места заняты, а в столицах конкуренция низвела плату неизвестному медику средней руки до последнего minimum: спрашивается, куда деваться кончившему курс? В провинцию лечить мужиков? Действительно, у многих помещиков были сельские больницы, в которых вольнопрактикующие медики получали приличное содержание. Но когда крестьянским общинам пришлось принимать эти учреждения на свои руки, они решительно отозвались, что им больниц не нужно. Даже официальные наши медики, уездные врачи — не более как судебно-медицинские чиновники. Крестьяне и не думают у них лечиться. Если таково положение медика, что сказать про филолога, математика, юриста? Поневоле пустишься в литературу из-за хлеба, хотя ни для кого не секрет, какая это ненадежная богадельня. Говоря о жертвах искусственного нарушения экономических законов, мы до сих пор имели в виду кончивших полный курс наук. Их сравнительно немного. В пользу их энергии, любви к труду, а вместе с тем известной пригодности в прак-

тической жизни говорит доведенное ими до конца сериозное дело. Но сколько незрелых плодов, недоносков науки, высыпается ежегодно на столичные мостовые, умножая массу единственно возможной у нас формы пролетариата? Весь этот пустоцвет сидел бы на своем родном стебле и был бы там по-своему полезен или хотя безвреден. Перемещался бы на новую почву только тот, кто, десять раз взвесив, с одной стороны, свои силы, а с другой — материальные пожертвования, неразлучные с таким перемещением, действительно нашел бы, что игра для него стоит свеч. Но пока освещение и музыка казенные, отчего же не пуститься в пляс?

Вы скажете: везде, где есть школы, есть недоучившиеся люди. Действительно. Но образование, а тем более полуобразование, предпринимаемое на собственный риск, не позволяет ученику окончательно отрываться от родной среды, между тем как у нас человек, смотрящий на науку как на карьеру, сжигает мост за собою. В Париже в знакомом мне отеле кухарка на трудовые деньги дала своей дочери классическое воспитание. Де-

вушка знала по-гречески и по-латыни и готовилась в наставницы. Хорошо, что усилия матери увенчались успехом; но в противном случае кухарка не задумалась бы отдать свою недоученную дочь в прачечное, корсетное или иное заведение. Там это ежедневное явление. Но кто видал у нас институтку прачкой, кадета или студента поваром или, по крайней мере, дьячком? Итак, представляется следующая дилемма: или не нарушайте искусственно экономических законов, или устройте воспитание, не ставящее человека во вражду с окружающим бытом.

Возвращаясь к народному воспитанию, мы наконец в состоянии формулировать нашу мысль. Нравственно-христианское воспитание, какой бы высоты оно ни достигало, только умягчает и возделывает духовную почву для плодотворного восприятия всего высокочеловечного, не ставя человека во враждебное отношение к его жребию, как бы этот жребий ни был скромен.

Напротив того, искусственное умственное развитие, раскрывающее целый мир новых потребностей и тем самым далеко опережаю-

щее материяльные средства известной среды, неминуемо ведет к новым, небывалым страданиям, а затем и ко вражде с самою средою.

«Какой же практический вывод из всего этого?» — спросит иной. «Стало быть, вы отвергаете умственное развитие народа, отвергаете школы?» Нимало. Во-первых, я от души сочувствую народным школам, лишь бы они смотрели на грамотность не как на конечную цель, а как на одно из средств к смягчению, очищению, а также и утверждению народных нравов. А во-вторых, считаю величайшим неразумием и жестокостью преднамеренно развивать в человеке новые потребности, не имея возможности дать ему и средства к их удовлетворению. Не то же ли это, что в безводной степи накормить неопытного человека селедкой, снять шапку и сказать: «Теперь, мой друг, я свое дело сделал, накормил тебя, а уж водицы поищи сам»?

В настоящее время я лично обучаю двух крестьянских мальчиков грамоте. Не могу сказать, чтоб они были слишком тупы, но они неразвиты до невероятности. Желая насколько возможно сократить обучение гра-

моте, я всеми силами стараюсь развить их мышление. Дело, кажется, идет успешно, но я считал бы себя или злодеем или несчастным, если бы хотя одно неуместное слово мое возмутило их против среды, в которой они до сего дня совершенно счастливы, несмотря на отрепанные рукава их кафтанов. Даже Фамусов в минуту жесточайшего гнева чувствовал, что ничего не может сделать хуже над вертлявою Лизой, воспитанницей Кузнецкого моста, как: «В избу марш, за птицами ходить». Но из птичника есть надежда опять попасть на Кузнецкий мост, а что сказала бы Лиза, если б ее навек упекли за кривого скотника?

Теперь посмотрим, откуда могут явиться конкуренты на звание народного учителя?

О помещиках и дамах говорить нечего. Как ни похвально в этом случае их рвение, в общей сложности оно представляет не более как дилетантизм, на который не может положительно рассчитывать народная экономика.

Грамотные солдаты, то там, то сям появляющиеся в бессрочном отпуску или чистой от-

ставке, в качестве народных наставников представляют два неудобства: 1) порученное им воспитание, при благоприятнейших обстоятельствах, ограничится механизмом чтения и письма, составляющим не более как средство, а главная, нравственная цель потеряется из виду; 2) такое воспитание, предоставленное случайности, лишено будет нравственного единства, которое должно быть первым условием такого многозначительного дела. Нежелательно также, чтобы каждый мог ковырять в народной совести, этом священном тайнике всех грядущих судеб самого народа, а потому еще менее следует помышлять о представлении учительских мест людям из среды нравственного и материального пролетариата. Это значило бы поступать не только неосмотрительно, но преднамеренно губить народную нравственность. Впрочем, нечего и опасаться претендентов с этой стороны. Крайняя стесненность наших земледельческих средств еще надолго не позволит мало-мальски развитому человеку взять у нас на себя какую бы то ни было отрасль личной услуги. Возьмем ближайший пример на-

шей фермы. Вот материальные средства прикащика. Он с женою (оба грамотные) и двумя детьми помещаются в комнате в 8 аршин длиною и 4 шириною. Все семейство, кроме готовой пищи, получает 100 р. годового жалованья, имеет право держать на корму лошадь, корову и несколько овец. Я знаю, что прикащик доволен своим положением и крайне дорожит местом, на котором должен быть вечным, неусыпным тружеником. Спрашивается, какой вкусивший от древа познания человек удовлетворится подобною скромною долей? А ни одно из окрестных крестьянских обществ не может дать своему школьному учителю и такого содержания. Солдат, от которого мальчики поступили ко мне и который в два месяца не выучил их распознавать буквы, а только вдолбил даже не *како — у, ку-ку, а како — ик, ку — ку, люди — ик, лу лу*, берет за выучку 5 р. Предполагая, что он таким способом обучит в год двадцать мальчиков, он получит заработка до 100 р., а за вычетом содержания и найма квартиры только 60 рублей. Но и такой заработок для простолюдина верх благополучия.

Он добывает деньги, по народному выражению, на печке сидя, под сухою крышей. Кухарка, получающая в настоящее время на ферме 16 руб. в год, получала до меня, по найму (правда, кроме одежды) три рубля за круглый год и должна была еще работать в поле. Вот они, не фантастические, а действительные наши оклады.

Не могу не сказать несколько слов об удовольствии, с каким прочел я октябрьскую книжку «Ясной Поляны». Гг. сотрудники журнала, школьные учителя, остались верны направлению графа Л.Н. Толстого. Направление это главным образом состоит в том, чтобы не вносить заранее составленных планов в неизвестную область крестьянской интеллигенции, а изучать ее и стараться пользоваться своими открытиями. В настоящее время химер нам всего дороже правда. Желание добра, чистосердечная правда дышат в каждой строке сотрудников «Ясной Поляны». Зато ничто не может сравниться с наивностию их рассказов, изображающих систематическое крушение юных мечтаний в мире грубой, неумолимой действительности. Что мо-

жет быть наивнее следующих строк (стр. 36)? «После масленицы я слыхал, что мужики смеялись надо мной, когда я был у них пьян, и стали считать за пустого человека. И это за то, что с ними вздумал *компанию свести*».

Я уверен, не одни мужики, но и вы сами, г. П.П.П., осудите себя за то, что были пьяны, и притом у мужичков! К сожалению, не одним вам непонятно, почему русский мужик смотрит недоверчиво на все попытки с ним сближаться. Почему он считает барина в поддевке за немца? Удерживаюсь от дальнейших выписок, чтобы не лишить читателя истинного наслаждения — самому прочесть всю книжку журнала.

Кого же было бы всего желательнее видеть теперь народным воспитателем? Бесспорно, священника, пока не явятся специальные педагоги, воспитанные в духе христианского смирения и любви. Остается прибавить, что священники имели до сих пор средства к жизни и помимо школ. Поэтому жалованье школьного учителя только увеличит настоящие средства священника в виде премии за его новый труд.

В последнее время заговорили о преобразованиях по духовному ведомству. Если б эти реформы, увеличив материальные средства духовенства, что тоже составляет предмет первой важности, обратились и к нравственно-педагогическому образованию будущих пастырей-наставников, то вскоре, вместо отвлеченных проповедей, мало доступных массам, в храмах и школах раздалось бы то простое и высокое слово любви, без которого нет истинного, христианского воспитания.

Из деревни (1864)

I

Обращаясь снова с моими заметками к читателю, я прежде всего желал бы забыть, что существуют на свете какие-либо книги и вообще печать. Моею книгой должна быть непосредственно окружающая меня среда, моею риторикой очевидная, неукрашенная правда, какова бы она ни показалась с той или другой точки зрения. Только из такого простого и свободного отношения к предметам возникает для меня наслаждение трудом. Несмотря на бесконечное разнообразие своих проявлений, жизнь всюду верна самой себе и, не зная ничего второстепенного, всюду переполнена вопросами первой важности, отрицание и уничтожение которых в известной среде равнялось бы уничтожению самой жизни среды, то есть ее смерти. Правда, во всяком организме есть явления более наглядные и крупные, пульсы более очевидные, но это нисколько не умаляет значения самых от-

даленных и малозаметных точек организма. В каждую из них главный пульс непременно донесет ту же влагу, здоровую или нездоровую, какая находится в главном сосуде. И наоборот, у сердца может биться здоровая кровь только при здоровом состоянии всех оконечностей организма. Отравите оконечность — и сердце отравлено. Внутренний смысл разнообразных явлений один и тот же, на какой бы точке ни представились они наблюдателю. В организмах целых государств труд наблюдений значительно уменьшается тем, что один и тот же орган является и корнем и плодом, и причиной и следствием. Если законодательство, с одной стороны, причина и корень данных жизненных явлений в государстве и в то же время плод и следствие тех же явлений, то и промышленная деятельность, с другой стороны, представляет такое же слияние корня с плодом.

Пишущего эти строки судьба поместила в центре земледельческой деятельности во время самых капитальных гражданских преобразований. Великая реформа так ярко отражается на всем окружающем, что только сле-

пой или не желающий видеть может не замечать вновь складывающегося строя жизни. По малому знакомству с предметами, мы вообще склонны отделываться фразами вроде: «Петр Великий велик, Шекспир глубок, крестьянская реформа благодетельна». Высказавший подобную краткую, но сильную речь чувствует себя правым и как мыслитель, и как человек сердца. Некоторые идут далее, они видят в новом положении только случайную форму, а не реформу и вообще относятся к нему с высоты величия, как к маловажному событию. Такие господа очевидно остались в ожиданиях. Сущности дела они не понимают и ждали, что, по крайней мере, будет: «Валяй в колокола! черт возьми, уж коли торжество, так торжество!» И вот, ни одного лишнего удара в колокол — как же тут на слово поверить, что торжество совершилось? Попробуйте уверить немецкого подмастерья, что бал был блестящий и по обстановке, и по результатам. Для него только тот бал истинное торжество, с которого его вывели *мит шкандаленунд тромпетен.* Бессознательно подмастерье прав. Бал не мог быть порядоч-

ным балом, если на нем был терпим подобный господин.

Но перейдем к самым фактам. Прошлого весной я подрядил двух соседних плотников выстроить мне кормовой сарай, с условием приступить к работе тотчас после сева. Сев давно кончился, а плотников нет. Нарочные получали обычный ответ: «Нынче, да завтра придем», и это продолжалось почти до покосу. Наконец является давно знакомый Иван. «Что ж это ты, Иван, делаешь? Время ушло, а сарай и не начинали». — «Что, батюшка! Виноваты. Справимся, Бог даст. Все времечко и лошадок по-замучили, навоз возили». — «Да откуда же у вас столько навозу?» — «Как же, батюшка! третий годок ни одна душа навозу не вывозила». — «Отчего?» — «Да все это сумление имели насчет земельки-то. Бог ее ведает, наша ли она, барская ли, а то, может, и еще там что толковали промеж себя. И сумлевались навозить-то. А теперь видят, что дело-то плохо, ну и понатужились с навозом-то. Уж ты, батюшка, прости Христа ради!» — «Да ведь половина-то навозу у вас за два года даром погорела». — «Вестимо погорела даром —

два лета пролежала. Грех такой вышел. Народ темный». Этот разговор может показаться ничтожным и указывает, по-видимому, только на неясное понимание крестьянами их новых отношений к земле; но если допустим, что колебание было между ними общее, и оценим пропавший в каждом дворе навоз только в 7 р., то дойдем до громадной цифры, которая еще не вполне выразит, во что это колебание обошлось народному хозяйству.

Таким образом и по написании уставных грамот народ продолжал не доверять своим новым отношениям к поземельной собственности, а между тем очевидно, что он сразу поверил в свои усадьбы. Вот уже третий год усадьбы эти отстраиваются и украшаются с небывалым до сих пор усердием. Если дело будет продолжаться таким образом, то все деревни в скором времени будут перестроены заново. Прибавьте к этому, что в нашей стороне почти нет деревни, в которой бы крестьяне, эти исконные и прирожденные враги всякого дерева и всякой канавы, не прорыли вдоль улиц под дворами водосточных канав

и не усадили бы их ракитками. Этого мало. Вера в поземельную собственность, проникнувшая наконец в крестьян, превратила личное поземельное владение в любимую мечту и высший идеал зажиточного и более развитого крестьянина. Где бы вы ни спросили, на большой или проселочной дороге, кто это строит такой славный двор, вы непременно получите в ответ: это купил землю и выселился из деревни бывший староста, бурмистр, печник и т. п. Излишне указывать на отрадную сторону этого явления. Крестьяне убедились, что усадьба их неотъемлемая собственность, для которой никто ничего не обязан им давать, и они сами умножили, обновили и украсили эту собственность. Они ревниво берегут ее от подозрительных лиц и в случае пожара с утроенною против прежнего деятельностию хлопочут о возрождении родного пепелища. Этого мало: никогда наши дороги, мосты и переправы не были в таком удовлетворительном состоянии, в какое они пришли в последние два года. Несчастия на мостах, по причине их неисправности, почти немыслимы; съезды и весенние водомоины

на дорогах всегда исправлены, и — о чем прежде не было и слуху — на топких местах сельских улиц и дорог намощена хотя и грубая щебенка. Когда крестьянин не верил в свое право на землю, он, как умел, охранял только результат своего труда, то есть растущие на земле произрастения, — увечил и убивал гуся на своей капусте, лошадь на своем поле; теперь кроме продукта он бережет и свое право на землю. Как бы ни были съедены и стоптаны его луга или жнива — попробуйте запустить на них вашу скотину: она мгновенно будет загнана и вы неминуемо заплатите законный штраф. Между этими двумя, по-видимому сходными, явлениями — различие, в сущности, неизмеримое. Но все это инстинктивное сближение с собственностию и соединенными с нею отвлеченными правами представляет совершенно новый элемент, которому еще предстоит равномерно пролиться и на весь быт крестьянина, в котором до сих пор можно было заметить самое темное отношение и в большей части случаев даже непостижимое равнодушие к собственности. О правильном и сознатель-

ном ведении хозяйства не могло быть и речи там, где под стенами столиц до сих пор встречается такая первобытность, какой позавидовал бы и степной патриарх, не имеющий никакого понятия о рыночном сбыте. Привожу со всевозможною точностию поразивший меня на днях разговор между мною и подмосковным крестьянином-хозяином Звенигородского уезда.

— А каков у вас в нынешнем году был урожай?

— Что, батюшка, облагодарил Господь, слава те Господи! овсы такие, что никто и не запомнит.

— А рожь?

— Да и рожь, должно быть, хороша.

— Как — должно быть? Сколько же у тебя родилось копен на десятине?

— Да у нас разве десятины: у нас полосками.

— Велика ли полоска-то?

— Да кто ж ее знает? Разве она мереная? Ведь это, батюшка, есть такие, что хвастают: у меня столько-то родилось да столько-то. А у нас этого нет. Что родилось — все наше. Мы

ничего не считаем и не меряем. Ссыпали овес, стали лошадь кормить; нынче, может, и полмеры засыпал, а завтра побольше или поменьше — кто его знает. Значит, весь он в ней — в лошади-то — будет. И рожь также мелем да едим. Должно быть, овина два нажали с полосы-то.

Я замолчал, убежденный, что у Иова счетоводство было в гораздо лучшем состоянии, чем у звенигородских крестьян. Надо заметить, что если в нашей стороне в сущности и много сходства с описанным бытом, но подобные явления уже невозможны. Зато рядом с ревнивым ограждением своих полей от чужих потрав уживается совершенное равнодушие к убыткам от своей скотины. По тщательно связанным и сложенным копнам ходят коровы и втрое растреплют и затопчут овса против того, что поедят. Это ничего, *свой живот*. Сплошь и рядом лошадь перепачкает и пересорит отвеянный ворох ржи и насмерть объестся тут же. «Что станешь делать? Господь наказал!»

Говоря о влиянии внешних условий на дух народонаселения, нельзя умолчать о силь-

ном противодействии, вызванном польским восстанием. Много приходилось мне беседовать об этом предмете с простолюдинами, и я был изумлен здравым их отношением к событиям и верною их оценкой. Ни от кого я не слыхал нелепостей вроде: «Войны с белой Арапией»; зато все отзывались с беззаботным пренебрежением к безмозглому поляку и сильно негодовали на француза.

«Вот какой человеконенавистник» и «все поголовно встанем»: эти две фразы составляли обыкновенно сущность разговора. Последняя фраза готова была в северной части нашего уезда перейти в дело. Впрочем, презрение к полякам, как к воюющей стороне, нисколько не уменьшало подозрительности народа, видевшего во всяком странно по-немецки одетом прохожем польского эмиссара-поджигателя.

В ряду часто комических недоразумений бывали иногда и случаи действительных поимок поляков-проходимцев. Тут-то в тысячный раз оправдывался афоризм Гете: «Если хочешь обмануть, то не делай этого тонко». Народ, так здраво относящийся в массе и по-

одиночке к сущности предмета, является лицом к лицу с подробностями самым слабым, беспомощным младенцем. В версте от моей усадьбы земская полиция арестовала беглого унтер-офицера или юнкера поляка, успевшего в других уездах собрать значительные деньги с крестьян, имеющих пчел. Жаль, что приличие не позволяет передать или даже намекнуть на сущность невообразимо нелепой саги, при помощи которой ему беспрепятственно удавалось обкладывать пчеловодов произвольным побором. В числе прочего он говорил, что один ребенок был закусан пчелами, и поэтому правительство, зная, что у мужиков пчельники примыкают к дворам, послало чиновника немедленно относить пасеки от жилых изб. Поляк выдавал себя за этого мнимого чиновника. Такое радикальное распоряжение среди лета и во время роевщины вынуждало мужиков откупаться по 10 и даже 25 р. от грозного, но сговорчивого чиновника. Если это не геркулесовы столбы нелепости, то таких столбов не существует.

В одной деревушке при спуске в овраг, когда экипаж должен был остановиться для

торможенья, я увидел двух спорящих. Один был в черной новой свите и шляпе, наподобие гречневика, стройный, чернобородый и черноглазый парень, а другой в старом пуховом картузе и сером замасленном пальто — весьма пожилой и полный человек. По его круглому, оплывшему и чисто русскому лицу и всей фигуре я еще издали счел его за бывшего дворецкого, прикащика, словом, отставного дворового. Оказалось, что я не ошибся. Когда лошади мои остановились, толстяк, после некоторого колебания, снял картуз, причем обнаружил совершенно лысую голову, и прямо пошел к экипажу, сопровождаемый черным парнем.

— Вы, батюшка, посредник?

— Нет.

— Сделайте милость, защитите. Я из К-ской губернии, от помещика Д., ходил сюда к их братцу Н.П. Вот Н.П. дали мне и ответ братцу.

С этими словами запыхавшийся старик подал мне запечатанное письмо с адресом, написанным знакомою мне рукой соседнего помещика.

— Отошел я, батюшка, всего пятнадцать верст, — и здесь сотский меня задержал и совершенно ограбил.

Ясно было, что старик не поджигатель и не поляк, что слово *ограбил* употреблено было им для красоты слога, но тем не менее он задержан — и я не мог ему дать другого совета, как вернуться назад за пятнадцать верст и выпросить у помещика, знающего его лично, какой-либо вид для следования к месту жительства, потому что без этого он рисковал, даже выручевный мною из-под ареста, подвергнуться на всяком шагу подобной истории.

Известно, что единственное общественное зрелище по деревням — пляшущий медведь и холстинная коза с ремянною бородой. Но и тут дух времени взял свое. Ряженая и пляшущая коза уступает место более прозаическому и подвижному скомороху-татарину со скрипкой или балалайкой, а главный артист — медведь — украсился яркими лентами. Замечательно, что сельские зрители никогда не охладевают к любимому зрелищу, как бы часто оно ни повторялось. Стоит гря-

нуть барабану и медведю подняться на дыбы для реверансу, как все и вся бросает работы и составляет кружок.

В одно прекрасное утро я заметил с балкона по малопроезжему проселку приближающуюся карету. По мере приближения экипажа он ясно оказывался польскою бричкой или так называемым фургоном, в которых обыкновенно киевские евреи развозят красный товар. Но фургон оказывался слишком красивым и четверка слишком исправною для евреев-разнощиков. Подстрекаемый любопытством, я вышел на крыльцо в ту минуту, когда четверка остановилась в нескольких от него шагах, боковая дверка отворилась и вместо разнощика показался молодой и красивый человек с кавалерийскою трубою. Следом за ним другой, третий, четвертый и, наконец, седьмой. По физиономиям и выговору видно было, что странствующие — трубачи-немцы. На мой вопрос, какие они уроженцы, они объявили себя пруссаками. Вспомнив, что у меня гостят в настоящую минуту дети, я тотчас же решился угостить их неожиданною серенадой и послал хор в сад к

балкону. Хор равно как и выбор пьес оказались прекрасными. Дети торжествовали. Нечего говорить, что при первом взрыве громких аккордов медных инструментов рабочие толпой бросились к дому с выражением полного удовольствия на лицах. Во время довольно продолжительной серенады лошади артистов успели перехватить сенца. Вслед за тем сами они не без аппетиту закусили на балконе и, сыграв на прощание две-три пьесы, не в счет вознаграждения, уехали. Казалось, и артисты и слушатели расстались совершенно довольные друг другом. Каково же было мое удивление, когда к вечеру того же дня я узнал, что весь народ в смущении от нашей общей недогадливости и оплошности, дозволивших нам упустить случай перехватить поляков, переодетых музыкантами. Вот несколько черт общего настроения умов.

II. Евсей

Брань и побои — признаки грубости, но в большей части случаев это только признаки бессилия. Если, в известной среде, личности не ограждены положительными и строгими законами от чужого произвола, то все голословные регламентации против ругательств и побоев останутся пустыми фразами. Закон, под опасением штрафа, запретит брань и побои, а люди за его стеною ругаются и дерутся полюбовно. Да что же им остается делать? Каждый считает себя правым, а рассудить их некому — и пошла потасовка. Ясно, что блаженной памяти крепостные отношения, где каждый был единовременно истцом и судьею, были родимым гнездом потасовки. Самые телесные наказания в этой среде не имели никакого права на почетный титул наказаний, а по сущности дела оставались теми же потасовками. Какое же наказание без суда? С отменою крепостной зависимости закон воспретил и самоуправные потасовки, но в первое время переменено было только глав-

ное колесо машины, и лишь теперь, благодаря заботам правительства, пересматриваются и прилаживаются к нему и остальные части. Кроме того, деятелями и помощниками в новом устройстве неминуемо являлись люди старого порядка. Что вы станете делать при подобных условиях? Во-первых, и рассудить некому, кто прав, кто виноват; а во-вторых, у человека уже мозг так устроен, что при первом препятствии нервы, движущие ручные мускулы, мгновенно складывают ладонь в кулак и в этом виде посылают ее в нос спорщика. Пожалуй, меняйте ежедневно прикащиков, если это вас забавляет. Не прикащики виноваты, а уж, видно, устройство организма. Сколько ни доказывал я моему прикащику, что при всей очевидной правоте его требований он самоуправством только лишает себя законного удовлетворения, да еще может подвергнуться законной ответственности, — смотришь, бывало, только что отлучишься на некоторое время из дому, а пораженные нервы, нет-нет да и сыграют свою штучку где-нибудь, на конном дворе и под молотильным сараем.

Какое возможно разбирательство, как бы ни был виноват рабочий и оскорблен приказчик, если со стороны последнего мимика играла хотя бы ту незначительную роль, которую обыкновенно объясняют словами: «Я только взял и отпихнул его от себя»? В подобном случае ответ на жалобу один: «Если бы ты его не пихал, я бы его прогнал, а теперь ты сам виноват и на меня не пеняй, что тебе трудно. Я тебе это сто раз говорил». Раза через три такое лекарство оказалось радикальным. Но я должен прибавить, что оно возможно и мыслимо только там, где посредник сам разберет дело и немедленно взыщет с прогнанного работника, во-первых, забранные, как водится, вперед деньги, а во-вторых, штраф за проступок. Без этого каждому рабочему было бы выгодно быть прогнанным перед самою дорогою рабочею порой, да еще с забранными вперед деньгами, и весь мирный порядок неизбежно превратился бы в первобытный хаос и крепостные манипуляции.

В числе прошлогодних летних рабочих поступил к нам Евсей, которого артель в скором

времени прозвала *увальнем, пузаном.* Действительно, трудно было не обратить внимания на мешковатую фигуру этого степного Геркулеса. Круглое, довольно правильное лицо его с серо-голубыми глазами, рыжеватыми волосами и несколько раскрытым ртом постоянно выражало какую-то лоснящуюся, заспанную апатию. Во время сенной уборки мне случалось его видеть на возу утаптывающим сено, и он силой давления напоминал мне гидравлический пресс. Но более всего бросалось в глаза значительное развитие его живота, столь не совместное с его занятием. Кто видал толстобрюхого хлебопашца или рядового солдата? Это достояние вахмистров, старост, мельников, дворников — словом, людей, имеющих возможность отклонить от себя ежеминутное физическое напряжение. Большое брюхо — плохой аттестат для рабочего. Но куда, при нашем безлюдье, вдаваться на практике в подобные тонкости! Евсей прожил у нас от Святой до окончания сенокоса, и, бывало, проходя мимо рабочих, только и слышишь то там, то сям: «Эй! что рот-то разинул! куда поехал *пузан?* Аль одурел?» На та-

кие приглашения к сознанию я ни разу не слыхал со стороны Евсея даже мычания, а когда необходимость заставляла его отвечать, то говорил он как-то неясно, не вполне сжимая губы и слегка оттеняя согласные. Однажды, когда он, вероятно, уж слишком апатично залез в столпившийся от мух табун, чтоб обротать (надеть недоуздок) занадобившуюся ему лошадь, одна из них ударила задом и рассекла ему левую щеку под самым глазом. Пришли сказать, что у Евсея рана разинулась и кровь льет как из быка. Должно быть, и самый удар по голове был не из легких. Послали арники, чтобы примочить и завязать рану, но Евсей, решительно отмахнувшись, только проговорил: «Не стоит, не надо!» — и пошел на работу. Действительно, через неделю рана зажила окончательно. В сенокос пошли дожди, помешавшие многим благополучно убраться и погноившие половину и без того скудного укосу. Эти же дожди оттягивали и своевременное назревание хлебов. Чтобы не сидеть сложа руки, пришлось заняться поправкою крыш, поврежденных весенними бурями, да свозить накопившийся вокруг на-

дворных строений навоз на конный двор. Взглянув однажды в окно, я увидел, что Евсей, подойдя к тяжелой телеге, накладенной выше грядок навозом, которого было около пятнадцати пудов, вошел в пустые оглобли, поднял их и стал раскачиваться с ноги на ногу, как бы желая тронуть воз с места. Каково же было мое изумление, когда в моих глазах он в самом деле тронул тяжелый воз и преспокойно повез его один-одинешенек на конный двор, отстоящий от места подвига шагов на 200. Но вот наступило то щекотливое для хозяйского такту время, когда днем раньше скосить хлеб — зерно сморозится, днем опоздать — высыпется. Мне необходимо было уехать. По возвращении моем прикащик, сообщая *о благополучии*, рассказал следующее:

— Я прогнал Евсея. На другой день вашего отъезда мы с утра собрались косить рожь. Я на зорьке разбудил рабочих, и все сели отбивать косы. Я пошел в контору. Когда вернулся, все уже были готовы выходить, одного Евсея нет. «Где Евсей?» — «В избе». Гляжу, а он валяется на полатях. «Что ж ты, Евсей, делаешь, чего ж ты косу не отбиваешь?» А он го-

ворит: «А тебе какое дело, я, может быть, неотбитою буду косить». Тут он вышел в сени и при Дронке, при Ефимке и при Трифоне стал меня ругать. Я вырвал у него из рук косу, да и говорю: «Когда ты меня не слушаешь да еще ругаешься, то я тебе не могу приказывать, ступай куда хочешь». С тем он и ушел.

Я посмотрел в рабочую книгу. За Евсеем ни копейки, напротив, мы ему по расчету должны 1 р. 30 к. На другой день ко мне является Евсей.

— Что тебе нужно?

— Да вот, батюшка, и сам не знаю, за что меня избили, да еще и прогнали.

— Кто же тебя бил?

— Дмитрий Федорович — в грудь меня кулаком, а тут...

— Кто же это видел?

— Да все видели: Дронка в сенях был, Ефим и Трифон.

— Хорошо, я это дело разберу.

Вечером, по окончании работ, я велел позвать трех указанных свидетелей.

— Вот, ребята, вы третий год у меня живете, и я вас знаю за людей честных и толко-

вых.

— Что ж, батюшка, и нам грех сказать, много и вами довольны.

— То-то, вы знаете, что у меня кому что нужно, после работы иди прямо ко мне, а артели что нужно, присылай двух выборных и говори. Можно сделать — сделаю, а пустое толкуют — прогоню. Вот хоть бы намедни, садовник стал бранить кухарку, что молоко жидко. Сами знаете, что у него дома-то и квасу нет, да и домишко-то теперь слепил на мои деньги, и лошадь кормит другой год у нас на дворе из милости, а горланить попусту его дело. Вот как бы сала не было или каши, либо солонины или хлеба мало, — я бы точно послушался его, а то молоко, вишь, жидко. Молоко идет сверх положения. И кушайте на здоровье, какое Бог дает. Корма плохи — и молоко похуже и поменьше. Вот я сказал кухарке: кому молоко нехорошо — не давать никакого. Вот и галдеть полно! А я вот вас позвал насчет Евсеева дела. Так вы по чести расскажите все, как было, потому что если заведется неправда, то и вам будет скверно, да и мне тоже.

— Мы что видели, то и должны говорить, а что ж нам грех на душу брать в чужом деле.

Голос Ефима перебивает говорящего Андрона:

— Ему не то что у вашей милости жить в рабочих, а его хороший мужик на двор не пустит.

Трифон:

— Мало ли мы из-за него работаем? Лядащий парень, даром что как бык здоровый.

— Не в том дело, братцы, я хотел только спросить вас, бил ли его прикащик али нет?

— Да мы-то где ж были? Дмитрий Федорович только у него косу из рук вырвал и т. д.

Итак, дело Евсея было проиграно невозвратно.

Прикащик сильно настаивал, чтоб я удержал следующие Евсею по расчету 1 р. 30 к. в виде штрафа, вопреки моим доводам, что я не могу быть судьей в собственном деле и удерживать штраф, который не упомянут в контракте. Однако Евсей, видимо смущенный, получил полный расчет. Думаю, что подобный пример не останется без благотворного влияния на рабочих.

III. Ночное и потравы в новом фазисе

Кто не читал и не помнит прелестного рассказа Тургенева «Бежин луг»? «Бежин луг» составляет тем драгоценнейшее достояние литературы, что, независимо от художественной формы, он остается памятником обычая, которому предстоит, увы! в ущерб поэзии и в силу новых требований сельского хозяйства, совершенно исчезнуть. Тихая, звездная ночь, мальчики у огонька, отфыркивающийся табун и не вымышленные, а действительные волки, — сколько поэзии! и она должна исчезнуть. Читатели, может быть, не забыли тихую физиономию описанного нами работника Ивана, которому, несмотря на ревность к делу, не посчастливилось и случилось так неловко попасть другому в ногу вилами. Ему-то запрошлою весной пришлось в так называемом *ночном* спасти жеребенка буквально из пасти волка. Ранним утром мне объявляют, что волк в ночном зарезал жеребенка. «На смерть?» — «Нет, жив». — «Где он?» — «В

конюшне». Прихожу и вижу несчастное животное с глубокими ранами с обеих сторон горла, пониже челюстей. Спрашиваю Ивана, бывшего с двумя другими рабочими в ночном, как было дело, и узнаю следующее: «Месяц взошел, стало чуть видно под зарю. Те двое улеглись, а я обошел табун; хотел и сам прилечь, да подумал, дай еще раз обойду. Иду этак, к тому краю-то, а ли на жеребенке-то и сидит. Я закричал на него, он и бросил». Удивительно, что волк сразу не перервал горло и что жеребенок остался жив по настоящий день. Эпизоды *ночного,* как легко себе представить, — бесконечно разнообразны. И караульщики уснут, и звери загонят Бог знает куда табун, и сами сторожа соблазнятся покормить табун на чужой даче, словом, может быть многое, чего нельзя и предвидеть. Вот почему, потратив в продолжение двух лет немало напрасного красноречия, чтобы доказать прикащику нелепость ночного, я нынешним летом просто отменил его. Если ночное нелепо у крестьян, где табуны гоняют праздные мальчишки, то еще нелепее и даже бесчеловечно требовать в вольнонаемном хо-

зяйстве, чтобы работник, трудившийся целый день, шел (хотя бы раз в неделю) бодрствовать в ночном и, не смыкая глаз, возвращался с зарею на дневной труд. Порядочное хозяйство должно заменять *ночное* дачей корма на месте; без этого мы, несмотря на защиту со стороны закона, никогда не избавимся от вольных и невольных потрав. Правда, что обстановка последних с некоторого времени значительно, как сейчас увидим, изменила свой первобытный характер, но было бы желательно, чтобы потравы по возможности прекратились вовсе.

Прошлою весной, когда овсяные всходы начали только забирать силу, мне пришлось дня два прогостить в одном доме, верст за 60 от нас, куда в день моего отъезда приехал и ближайший сосед мой Ш[еншин]. Когда лошади мои были уже у крыльца, Ш[еншин] отвел меня в сторону и вполголоса сказал: «Я не хотел тебя тревожить до времени, но перед отъездом я видел посредника, который мне сообщил следующее: хотя еще никто не жаловался, но ему известно, что третьего дня свинцовские мужики запустили лошадей в

твой овес, а твой прикащик, заметив потраву, вскочил на лошадь, схватил ружье и, догнав пастуха, ударил его ружейным прикладом в грудь так сильно, что у того хлынула кровь горлом. Позвали священника, приобщили пастуха, и теперь неизвестно, будет ли он жив или нет. Верные люди видели, как две выпуклые оконечности железной бляхи приклада вышли двумя синими пятнами на груди пастуха, пониже правого сосца». Нечего говорить о настроении, с которым я проехал все 60 верст и приступил к расспросу прикащика, стараясь даже не возвышать голоса, чтобы новою безрассудною запальчивостью не увеличить и без того явного безобразия. Из ответов прикащика я узнал следующее. Заметив 10 крестьянских лошадей на нашем ближайшем овсяном поле, прикащик тотчас же выслал для их поимки двух рабочих верхами. Высылка верховых, как и все последующее, происходило на глазах не только всех остальных наших сельских работников, но и в глазах посторонних плотников и копачей из той же деревни, из которой были ходившие по овсу лошади. Заметя приближающих-

ся верховых, пастух вскочил на одну из своих лошадей и погнал всех целиком через наш овес и затем через овсяный барский клин своей экономии.

Предвидя неблаговидную скачку наших посланных по чужому овсу, прикащик потребовал себе лошадь, чтобы догнать и воротить своих верховых. Подавая прикащику лошадь, работник Иван, на глазах, по крайней мере, двадцати разнородных свидетелей, предлагал ему захватить кнут, но прикащик, крикнув: «Не надо», с места пустил лошадь во весь дух. Между тем передние скакуны стали скрываться из глаз зрителей за бугром, где кончается наше поле, и прикащик, несмотря на свою ретивость, проскакал по рубежу в ту минуту, когда убегавший крестьянин уже пригнал лошадей к своей барщине, сеявшей гречиху в числе сотни человек. Подъехав к ближайшим свинцовским крестьянам, прикащик заявил им о потраве и с обоими рабочими вернулся домой. Вот и весь ход дела. И подававший лошадь Иван, и плотники, и копачи, насыпавшие плотину, в один голос показали, что ружья никакого не было, что при-

кащик не догнал беглеца, насколько можно было видеть скачку из усадьбы. А что прикащик не мог бить крестьянина, окруженного сотней его односельцев, да еще прикладом небывалого ружья, это было ясно и без показания свидетелей. Что же значат, однако, следы побоев, кровохарканье и напутственная исповедь? Рассказывали, что призванный священник даже увещевал мнимо умирающего оставить притворство и кощунство; следов же побоев и крови никто не видал. Мировой посредник, переследовавший, вследствие моей просьбы, все дело на месте, убедился в неслыханном его баснословии и в невозможности оставить его без последствий. Предоставляя виновному в потраве право жаловаться на побои, он сделал распоряжение о взыскании законного штрафа, то есть за 10 лошадей по 40 к. — всего 4 р. серебром. Без такого решения при каждой потраве непременно являлся бы смертельно избитый человек, хотя бы животные и пущены были совершенно без надзору. С своей стороны, во избежание всяких вымаливаний и выпрашиваний, я в присутствии г. посредника пожертвовал

собственных 4 руб. серебром на церковь. Справедливость требует прибавить, что по распоряжению посредника деньги с владельцев лошадей давно взысканы, но и по настоящее время волость, по-видимому, считает более целесообразным не выдавать их по принадлежности. По неизменному правилу моей экономии, из имеющегося получиться 4-рублевого штрафу загонщикам, кто бы они ни были, следует половина.

За все лето не было потрав. Но осенью в продолжение трех дней мне приходилось видеть стада свиней, прогуливающихся около нашей зелени: нет-нет, а какая-либо из них да вскочит позаняться рожью. На четвертый день, проезжая рубежом, я увидел десяток свиней, преспокойно наслаждающихся озимью. Я мгновенно повернул лошадь к дому, и через десять минут вся компания была уже заперта на конном дворе. До вечера следующего дня никто не являлся на выручку. Зная способность русского человека уморить чужую скотину с голоду, я распорядился исправным кормлением заключенных. На этот счет затруднения быть не могло, ибо в

нескольких шагах от конного двора рубилось более 2600 кочней капусты и кочерыжек было сколько угодно. Свиньи, как и следовало ожидать, оказались принадлежащими крестовским дворникам, сильно утвердившимся в известном правиле: *что твое, то мое, а что мое, до того тебе дела нет.* Теперь уже миновало то нелепое время, когда не знали, что делать с загнанною скотиной, и когда для получения удовлетворения приходилось подымать с ней такую возню, что рад был и от собственной отказаться. Теперь дело начистоту: загнал, корми и получай с виновного и штраф, и за прокорм. Не является никто в продолжение недели, и скот продается тут же с аукциона. Признаюсь, я рад был случаю дать дворникам чувствительный урок. Вечером является долговязый белокурый парень, сын самого зажиточного дворника. «Что тебе нужно?» — «Да тут наших свиней загнали». — «А деньги принес?» — «Нет». — «Так это ты говорить пришел? Мне некогда!» — «Да много ль денег-то?» — «Сам знаешь; по 60 коп., всего 6 р., а если бы в саду или за окопом были загнаны, было бы вдвое, 12 р.» —

«Ассигнациями?» — «Серебром». При слове «серебром» слезы явно проступили на глазах малого. Я кликнул при нем трех загонщиков и роздал им по рублю серебром. К стыду моему, я должен сознаться, что меня таки упросили недобирать с виновных остальных 3 рублей. Все уверяли, что урок и без того будет радикален.

В противоположность такому мирному, можно сказать семейному, разрешению столкновений по случаю потрав приведем случай подобного же рода столкновений в минувшем, крепостном периоде. Всем известно, что берега рек, болот и озер, разделявших смежных владельцев, в осеннее время представляли следы гусиного побоища. Множество гусей избивалось на капустниках, овсах и т. п., а у большей части уцелевших крестьяне выламывали крыло. Спросите у рогозинского мужика: «Что это у вас гуси-то?» Он прехладнокровно скажет: «Да кутуевские повыломали крылья». А кутуевский то же скажет про рогозинских. Так как с хозяевами приходилось заводить бесконечную тяжбу, то ответчиками в потравах большею частию яв-

лялись de facto сами животные. Я видел прекрасную дорогую лошадь, у которой захватившие ее в хлебах вырезали на крупе большой треугольник и содрали с него кожу. Разумеется, что и людям нередко доставалось при таком положении дела. Нет пожилого мужика, который не мог бы рассказать, как его в таком-то лугу чуть не захватили, а в таком-то ночном хватили дубинкой так, что перешибли ребро, а тогда-то гнались за ним трое версты две. Я помню, как на моих глазах здоровый кузнец ухитрился под грядку опрокинуть несшийся вскачь воз краденого хвороста, за которым гнался прикащик и на котором сидели два мужика, отмахиваясь топорами. Мужики, не рассчитывавшие на такую необыкновенную шутку нового врага, со всего маха полетели вверх ногами и разроняли топоры. Лошадь с передком ушла, воз остался на месте, а безоружный мужик, которого борода успела попасть в руки прикащика, откусил последнему палец.

IV. Конные грабли

В прошлогодних записках я предавался мечтам о блестящих результатах нового клеверного посева на девятнадцати десятинах. Весной надежда моя не предстала в зеленых покровах; напротив того, новое клеверное поле отвратительно чернело, насмешливо выпуская то там, то сям разбросанные ростки клевера и тимофея. До конца мое дело оставалось в том же печальном виде, так что я уже перестал за ним наблюдать и терпеливо выслушивал насмешливые возгласы рабочих, прикащика и приезжих агрономов: «А клевер-то сел!» Я люблю философию за ее способность самодовольно подбочениваться над очевидным фактом и доказывать, что он никак не мог совершиться иначе. «А клевер-то сел, да и как ему не сесть на пресной земле? Клевер и тимофей требуют жирной земли, и можно было знать наперед, что на 100 руб. семен будет брошено даром!» Я окончательно притих перед такою философией, а еще более перед очевидным фактом. Тем не менее, зная

постоянную неисправность наших транспортных контор, я еще с ранней весны выписал из Петербурга конные грабли, о которых слышал много хорошего и мечтал давно. А барометр все продолжает стоять на beau fixe [4], и ни капли дождя, так что и в лугу трава совершенно села. Стали перепадать дожди, луговая трава мало поправилась, зато осмеянный клевер закрыл землю, не представляя, однако, возможности косить его. Луговые травы в конце июня стали отцветать; ждать более было нечего, мы начали косить. Не скосили и половины луга, как полили дожди, да так, что один день ясной погоды при утреннем дожде, а два, три дня кряду ливень. С горем пополам ухитрились мы убрать сильно почерневшее луговое сено, а между тем все чаще и чаще стал я слышать от прикащика: «А ведь, пожалуй, клевер-то нас выручит. Наберем, пожалуй, столько же, как со всего лугу». Прошел апрель, май, июнь, а конных грабель, которым нужно две недели времени, чтобы доехать из Петербурга, все нет. Луг, дающий обыкновенно до 3000 пудов, едва дал 1500. В одно прекрасное утро объявляют, что

привезли конные грабли: куда с ними прикажете? У крыльца, не без усилий, свалили большой тяжелый ящик и тотчас вскрыли его. Он оказался наполненным чугунными колесами, рычагами и рычажками, валиками, прутьями, стойками — словом, неведомыми частями машины, которую я только мельком видел на выставках, а все окружающие меня даже не видывали. Началась возня складывания и сборки по соображению, с приговорами: «Постой, постой, ты ее тем концом сюда! палец! палец прихватил» — и т. д. Через час, впрочем, машина стояла у крыльца собранная, и при давлении на рычаг отчетливо подымала зубцы, назначенные для сгребания. Не находилось чеки, которую сейчас же сделали домашними средствами. Оставалось запрячь самую смирную лошадь, но и тут не нашлось ни одной седелки, под дужки которой пролезала бы цепь, явно предназначенная служить чересседельником. В это время подошел прикащик и, недоверчиво осмотрев нашего чугунного паука, заметил как бы про себя: «Хороша игрушка! сто двадцать целковых дали, а что с ней делать в по-

ле-то? Она только свяжет по рукам да по ногам». — «А вот сейчас увидим», — отвечал я, тайно волнуемый самыми разнообразными чувствами. Мне слишком часто приходилось видеть и слышать, как наилучшие машины и даже простые орудия, употребляемые всем светом, отказывались действовать, будучи пущены в дело неспециалистами. «Ну что, переладил седелку?» — «Готова». — «Ведите рыже-чалого, он и смирен и силен». — «Нет, помилуйте! Он часом пуглив. Ну как он с непривычки подхватит? Где мы ее по полю собирать будем?» — «Экой ты! не подхватит!» — «Какую же?» — «Да на что лучше старухи серой». — «Веди серую!» Через пять минут рабочий, назначенный к машине, перекрестясь на восток, взял вожжи, и машина легко двинулась по полевой дороге, протертой к лугу. Мы с прикащиком шли следом. Местами стало попадаться слегка раструшенное сено, едва заметным флером покрывавшее серую дорогу. Нетерпение подбивало меня, за неимением лучшего, мимоходом испробовать машину. «А ну-ка, Дрон! Отпусти-ка ручку!» Когда зубья упали на землю, машина, не про-

пуская былинки, самым отчетливым образом стала сгребать тончайший слой сена, которое, вращаясь по выгнутым граблям, с каждою секундой превращалось в более компактный свиток. «А ведь будет, пожалуй, отлично работать!» — заметил прикащик. Сомнительный для него вопрос превратился для меня почти в несомненный. Но вот мы на лугу, на котором десятины три скошенного, но несграбленного сена. «Вот веди вдоль этого ряда», — крикнул, видимо, кипевший нетерпением прикащик. «Постой, постой! Зачем говорить, чего не знаешь? Поверни-ка сюда да веди поперек всех рядов». — «Помилуйте! Да как же?!..» Машина тронулась поперек рядов, подгребая сено во всю свою ширину и быстро набирая его большим валом под зубцами. «Надави, выкинь сено и сейчас же брось ручку». Грабли дошли до конца десятины, положив на ровных друг от друга расстояниях прекрасно свернутые валы. Через час с четвертью вся десятина была сграблена, и лошадь не очень устала. «Ну что, Дрон, — спросил я рабочего, — могут ли бабы так чисто подгресть?» — «Помилуйте, куда ж бабам так

подгресть! Вишь, как подлизала, да и по кочкам подчистила. Уж точно что машина, и денег не жаль. Эта заработает свое!» Действительно, оказалось, что машина сгребает восемь десятин в день, для чего нужно было до 24 баб. А считая поденную работу бабы по 15 к. серебром, имеем в день 3 р. 60 к. Сбросим 60 коп. в день на рабочего и мальчика, чтобы водить лошадь, получим 3 р. чистой прибыли от машины, которая, проработав по нашему хозяйству 10 дней, даст, следовательно, 30 р. серебром на одном сенокосе. Если к этому прибавить 20 возов пшеничного колосу с 10 десятин, который без машины пропал бы даром, то 5 четвертей пшеницы, за вычетом обработки, считая по 5 р. серебром, представят 25 р., таким же образом 15 четвертей ржи с 30 десятин по 2 р. дадут 30 р.; что вместе взятое составит 85 р., то есть почти всю стоимость машины в Петербурге!

Но увы! недостаток рук парализует в нашей местности даже самые выгодные операции. Собрав сено и пшеничный колос, мы не могли продолжать того же с рожью. Даже сграбленный на 10 десятинах ржаной колос

остался несвезенным с поля: возить было некому. А кто же станет возиться С подскребками, когда гречиха и овес стоят и осыпаются в поле? Впрочем, великое спасибо и за то, что сделали конные грабли. Не дурно приобресть железного работника, окупающего себя в два лета. Полагаю, что конные грабли будут бесценным орудием для весенней очистки скардников и оледенелых дорог к водопою. Восторгам и одобрениям новому орудию со стороны рабочих не было конца.

В саду плотник Иван, человек бывалый, исходивший Малороссию, Черноморье и Кавказ, работал мостик через канаву. Когда я подошел к нему, он первый заговорил о машине: «Вот, батюшка, купили работничка! Мудрен, право, стал народ! каких, каких не пошло это машин! вон и косильные машины есть. Да те, сказывают, запрещены. Ишь народушко подавал царю челобитную, что от них от самых должон без работы остаться».

Напрасно старался я доказывать Ивану всю нелепость подобных просьб; он стоял на своем. Но когда я попробовал применить подобное же запрещение к его собственному хо-

зяйству и промыслу — он тотчас же понял, в чем дело. Признаюсь, я не без улыбки отошел от него. Девятнадцать десятин клеверу и тимофея дали, сверх всякого чаяния, более 2000 пудов отличного сена, в два укоса, и отличный подножный корм на всю осень. Несмотря на такой успех, дело это остается все-таки весьма рискованным.

V. Поездка для разверстания угодий и Иван Николаевич

В конце августа обстоятельства заставили меня ехать верст за сто для окончательного разверстания угодий и переговоров с крестьянами относительно выкупной операции, на которую они давно уже изъявляли желание, о чем заявляли и мировому посреднику. Имение, лежащее на живописных берегах значительной реки, несмотря на высокое качество полей, по малоземельности не представляло особых агрономических интересов. Главная его доходная статья — прекрасная мельница-крупчатка, уже девять лет находящаяся по контракту в содержании л[ьговс]ко-

го купеческого семейства Евпраксиных, которого главным членом и распорядителем состоит Иван Николаевич Евпраксин. Эта личность вполне заслуживает ближайшего с нею знакомства. Иван Николаевич постоянно ходил в скобку, с бритою бородой, в длиннополом сюртуке, картузе и отлично вычищенных сапогах, с голенищами, представляющими приятные раструбы до колен. Круглое лицо его оживлено серыми быстрыми глазами, от которых ничто не ускользает. Из пяти братьев, составляющих семейство, трое, в том числе и Иван Николаевич, почти неотлучны при мельнице и поочередно день и ночь наблюдают за производством, представляющим около 150 тысяч годового оборота. Все три холостяка помещаются в нескольких шагах от мельницы, в небольшом, ими же отстроенном флигельке. Огромный, пятиэтажный корпус мельницы-крупчатки, на песчаном острове, образуемом с одной стороны рекой, а с другой — обводным (рабочим) каналом, заменяет для Ивана Николаевича весь мир. Хотя Иван Николаевич и не прочь при случае прочесть газету, но вообще относится к лите-

ратуре и многоразличным ее вопросам очень самобытно. Как тонкий наблюдатель нравов, он строго держится правила не говорить о главном предмете иначе как вскользь, окружая его всевозможными фиоритурами. Вот для этих-то фиоритур, предшествующих благодатной покупке *пшенички,* знакомство с современными вопросами необходимо; не все же заговаривать человека погодой да неурожаем. Крупчатку снял Иван Николаевич с весьма небольшим капиталом, который в 9 лет значительно умел увеличить. Но попробуйте ему заикнуться насчет выгодных условий арендуемой мельницы. «Действительно, — отвечал он, — многие полагают, что мы задешево сняли мельницу, так как мы действительно не прожились на ней, но это не оттого. Наживает не мельница, а свой глаз; ведь мы никаких театров, собраний, ничего этого не знаем, а сидим, надобно сказать, на деле как на точиле. Право, так-с. Нынче времена пришли не те. Надо, одно слово, самому до всего доходить. Народ теперь мало что слаб стал, а как-то нет способных людей. Нападешь на способного человека и видишь,

что мошенник, а ничего не поделаешь. Вот хоть бы у нас прикащик, что в Малороссии пшеницу покупает. Ведь знаем, что мимо своего карману не проносит; а как посмотришь на чужую покупочку, по другим прочим хозяевам, ан наша-то пшеничка и получше, и подешевле. Пусть его наживает». Зайдите к Ивану Николаевичу на мельницу, чтобы убедиться, с какою полнотой разрешил он социалистическую задачу привлекательного труда. «Ей, вы! что ж не пустите воду на подшипник? Иль не слышите, колесо пищит! Право, народ!» Не успело еще колесо окончательно умолкнуть, а Иван Николаевич уж бежит на 3-й и 4-й этаж мельницы и мастерски встряхивает на руке отвеянную барабаном крупку. «И это у вас день и ночь?» — «Постоянно-с. У нас смены как на корабле; только там песочные часы, а наши часы — сальные свечи. Так уж и знают. Этот до полусвечи, а тот до новой, так он своим порядком и идет. Ей, что ж это вы не приберете старую нить-то? Это он новую терку-то поставил, а эту так и бросил. Не пропадет и это у нас: на подковы идет, круглый год куем этим. Чудесные выходят

подковы. Ведь у нас на кузнице огонь неугасаемый». — «А много ли, Иван Николаевич, платите главному мастеру?» — «Крупчатнику-то? Да мы своему-то сходно платим, 800 р. серебром в год, а у других живут и гораздо подороже. Великая в таком человеке по нашему делу, доложу вам, состоит сила-с. Вся машинная часть на его руках. Наше дело — материял. Как кто пришел зачем, мы одно слово: ступай к крупчатнику. Уж он и камни-то знает, как другой родных братьев не знает. Какой камень с какого боку покрупней, с какого помельче ковать: за великую тайну держит, никому не открывает».

Можно себе представить негодование Ивана Николаевича, когда на шестом году его безмятежной аренды соседний купец Бочкин купил вниз по реке за восемь верст лежащую простую мельницу и, перестроив ее в крупчатную, произвольно возвышенным уровнем воды подтопил мельницу Ивана Николаевича, так что в одну зиму нанес ему простоем более 8000 руб. серебром убытку. Вопиющее дело это дошло до Сената и, быть может, мы когда-либо побеседуем о нем с читателем.

Другое обстоятельство тоже немало тревожило Ивана Николаевича и приводило в раздумье насчет возобновления десятилетней аренды. Крестьянские усадьбы расположены у самого обрыва левого берега реки, прямо напротив песчаного острова, на котором стоит мельница, и так как вся вода идет в рабочую канаву, по правую сторону острова, то мельница отделена от крестьянских усадеб только мелким бродом, чрез который крестьянский скот беспрепятственно ходит на остров даже в усадьбу мельницы. С другой стороны, крестьяне по уставной грамоте владеют и частью земли, прилежащей к мельнице на правом берегу реки. В последнее время, пользуясь недосмотром, они, без согласия владельца, чуть не выстроили кабаков по ту и по другую сторону мельницы, а брат сельского старосты, бывший дворовый, открыл водочную продажу. «Помилуйте! — вопил Иван Николаевич. — Да эдак все рабочие разольются — и придется ставить с дубьем около мельницы осмотрщиков. Тут и пожар, и все может быть. Эдак лучше нам и от аренды отказаться. Если они уже теперь торгуют

водкой, то кто ж их удержит, когда они выкупят землю и станут вольны?»

Поэтому мне предстояли две задачи: устранить от мельницы могущее быть вредным соседство крестьян на правом и на левом берегу реки. Первая разрешалась легко сама собою. При разверстании угодий крестьяне никаким образом не могли пожелать остаться при чересполосном владении, да еще по ту сторону реки, если им будет предложена прирезка к их земле одинакового количества десятин того же качества. Но как удалить их с левого берега? Одно средство: уговорить их на переселение, представляющее всевозможные выгоды. Я очень хорошо предвидел, с кем буду иметь дело, знал, что прямым путем тут ни к чему не придешь, но в то же время слишком был убежден, что в искусстве ходить окольными дорогами мой противник (мир) гораздо сильней меня и что, пускаясь в такие обходы, я рискую вдруг очутиться перед гораздо большим затруднением, чем то, от которого отправился.

К этому присоединялось еще одно обстоятельство. Крестьяне неоднократно выражали

желание взять в аренду всю остающуюся за наделом господскую землю по 6 руб. серебром кругом — на 10 лет. Последнее обстоятельство было важно в двух отношениях. Во-первых, незначительное количество остающейся земли не могло выдерживать расходов нового вольнонаемного хозяйства и потому само просилось в аренду, а во-вторых, окруженные малоземельными однодворцами, крестьяне, несмотря на значительную высоту предлагаемой ими аренды, вынуждены были сильно дорожить наймом господской земли, за которую сторонние съемщики охотно дали бы по 7 руб. Нанимать господскую землю, которую зажиточные крестьяне (большею частью мастеровые) до сих пор обрабатывали обязательным трудом, они не могли иначе, как перейдя на оброк или окончательно на выкуп.

Под влиянием таких мыслей садился я в тарантас. Досадно было бы в самую рабочую пору прокатиться даром 200 верст и не только проиграть в настоящем очень важное дело, но, быть может, испортить его и в будущем. Напрасно вытаскивал я от скуки из эки-

пажных сумок один журнал за другим: литература ни на минуту не могла увлечь моего внимания. Так доехал я на почтовых до поворота на проселок, где ожидала меня высланная на подставу тройка.

Повернув на проселок, я спросил кучера: «А что, Иван, коренной-то как будто нашибает на левую переднюю?» — «Да есть маленько. Он еще из дому, как я пошел на подставу, стал жаловаться. Должно быть, он его вчера заковал. Я уж на подставе вчера два гвоздя выдернул; авось пройдет: разогреется». — «Что у вас за страсть к тайнам и колдовству? Просто вернулся бы и сказал мне, что лошадь захромала, я велел бы ее расковать и взять другую. А теперь мы ее, пожалуй, и не догоним до места. Ведь ей, несчастной, еще бежать 60 верст!» — «Точно, я и сам думал доложить, да не догадался». Предсказание мое едва не сбылось вполне. На другой половине пути пришлось бедную лошадь перепрячь на пристяжку, и только постоянные удары кнутом могли заставить ее доскакать на трех ногах до места. Оставить ее было негде, и это обстоятельство замедлило наш переезд. Вечер

был очаровательный. Перед закатом солнца весь степной воздух до того позолотился, что действительно можно было подумать, что Геба пролила в него кубок шампанского. По всем направлениям скрипели тяжелые возы со снопами, на прекрасных рослых лошадях. Женщины в шерстяных пунцовых юбках (типичный костюм однодворок) по большей части белокуры и более чем дурны собой. Зато мужчины, потомки древних татарских родов, как на подбор — красавцы. Высокие, стройные, с черными волосами и глазами и правильным очерком лиц. Эти люди представляют такой истинно прекрасный тип, какого мне не встречалось ни во Франции, ни в Италии. Солнце давно село, но светлые сумерки долго еще распростирались над степью, и тяжелые возы продолжали поскрипывать в чуткой тишине. В ясную летнюю ночь я не знаю более сладостной мелодии. Это не раздражительный писк немазаного колеса, а легкое покрехтывание телеги под драгоценным бременем жатвы. Так может по-крехтывать только дедушка, взнося на ступени крыльца уснувшую на руках его внучку. Мы

тащились мучительно. Версты за две до цели поездки дорога подвела нас к опушке леса. Надо сказать, что всякого рода дичина окончательно исчезла в нашей стороне, и заяц, которых прежде, помню, бывало очень много, теперь редкое явление. При повороте к лесу и кучер и слуга в один голос закричали: «Заяц, заяц!» Действительно, шагах в 50 перед нами я увидал при ярком лунном свете зайца, сидящего на дороге и прислушивающегося к ленивому дребезжанию колокольчика. Он сидел передом к лесу, и не было сомнения, что он перебежит нам дорогу. Перебежит или не перебежит? Стыдно и нелепо верить в подобные вздоры, но

Так суеверные приметы
Согласны с чувствами души.

Заяц дрогнул и, повернув в степь, пропал в серебристой дали. «Вон, вон он — другой, другой!» Другой точно так же, вопреки вероятности, не перебежал дороги. Но вот деревня и крутой берег реки с густым дубовым лесом на скате. Мельницы сверкают огнями, вода дружно шумит в рабочей канаве, а широкий

пруд как-то лениво колышет ясный блеск луны. «Куда прикажете ехать: на барский двор или на мельницу?» — «Поворачивай к флигелю!» Этим громким именем называлась ветхая избушка, с худым полом, скрившимися стенами и перегородкой, связанная большими сенями с другой избой, носившей название кухни. Дверь в сени оказалась запертою на замок. Прибежал седой ключник с ключами. Переступая заветный порог, я почувствовал, что разорвал лицом мирные сети паука. Через несколько минут на покоробленном столе у окошка появилась чистая скатерть, две стеариновые свечи и огромный самовар с тарелкой под сильно подтекающим краном. Затем вошел прикащик Антип со стаканом превосходных сливок и мягкою, горячею крупитчатою булкой с мельницы. За перегородкой на кровати шумело сено, предназначавшееся заменить перину. «А что, Антип, далеко ли тут до посредника?» — «Нет-с, недалеко. Верст 7 до церкви, да там версты две. Ведь они же у нас и церковным старостой». — «На чем же я завтра к нему доеду? Лошадей мы в пень поставили». — «Помилуйте-с. Я сейчас

схожу к Ивану Николаевичу, у них отменная тележка и лошадей сколько угодно». — «Так разбуди меня только пораньше и приготовь лошадь». — «Слушаю-с». — «А достань-ка мне из баула зеленую книжку да персидского порошка. Убери самовар, дай мне раздеться и ступай спать». В прохладной, необитаемой комнате за перегородкой не оказалось ни одной мухи, этого личного врага человека. Свежее сено приятно благоухало, а коростель, пробравшись под самое окно спальни, однообразно драл горло в картофельном огороде и под исполинскими лопухами.

VI. Посредник

Часов в шесть утра я услыхал за перегородкой легкий звон стакана и чайной ложечки, а затем и кипение самовара. Не успел я усесться за утренний кофе, как знакомый читателю Иван Николаевич вошел в комнату в черном люстриновом сюртуке, застегнутом на все пуговицы, и поздравил меня с приездом.

— Садитесь, Иван Николаевич! Дай еще стакан. Вам чаю?

— Покорнейше благодарю. Выпью. Да вам некогда; пожалуй, не застанете Семена Семеновича. Они у нас очень рано встают.

— Ну как дела ваши с Бочкиным?

— Да теперь дела его некрасивы. Как он там ни лазил, ни плакал, а Сенат не дает ему топить нас до разбирательства дела. Теперь вся сила в окончательном решении Сената. Ах, какой человек! Это, помилуйте, такой актер-с — куда Садовскому. Ему впору трагедии играть-с. Седая борода, благообразный из себя и сейчас слезы в два ручья. Несчастного, оби-

женного разыграет мастерски. А несчастье все в том, что не дают забрать чужого.

— Удивляюсь я одному, Иван Николаевич, как такой проходимец решился на такое рискованное дело. Ведь ему перестройка мельницы стала, пожалуй, тысяч двадцать пять?

— Пожалуй. Понадеялся, дескать, деньгами все поверну. Да ведь и прав был. Ведь мы, как всей округе известно, три месяца прошлой зимой просидели затопленные по валы. Кабы не Сенат, разорил бы вконец. И так 8000 убытку понесли; а с кого их теперь искать, одному Богу известно.

— Ну да и ему будет не мед, если дело кончится в вашу пользу?

— Какой тут мед-с, человек бил на отчаянность. Дескать, авось моя вывезет! А тут как совсем напротив, так одно полагаю, его электричество ударит.

В это время за окном послышался топот копыт.

— Я и забыл, Иван Николаевич, поблагодарить вас за лошадь и кабриолетку.

— Помилуйте, с нашим удовольствием, во всякое время. Староста нарядил с вами своего

парнишку и лошадь свою запряг. Уж учуяли, зачем вы пожаловали; теперь по всей деревне толки промеж себя идут. Главное сильно боятся нас, чтобы мы не вошли в это дело, — не сняли вашей земли дороже ихнего. Помилуйте, можем ли мы из-за такой малости, из-за каких-либо 100 р. в год, хлопотать. Нам Бог с ними, коли им такое счастие выходит. А мы вот вас о своем-то деле, так точно что будем покорнейше просить. Вот чтоб от водочной-то продажи защитить мельницу. Истинно докладываю, что уж нам лучше от дела отказаться. Тут, доложу вам, такая пойдет эманципация, на чистоту-с.

— Да я зачем же приехал? Что же вы меня упрашиваете о деле, которое меня еще более интересует, чем вас?

— Да я, признаться, за тем и поторопился захватить вас. Сделайте милость, похлопочите. Желаю вам доброго пути и счастливого окончания.

Мягкое и вместе освежительное дыхание яркого утра обдало меня, когда я переступил порог, чтоб усесться в кабриолетке рядом с ожидавшим меня в новой черной свитке пар-

нишкой старосты. Какое утро! какой дубовый лес, какой пруд и убегающие речные повороты и эта мельница, потонувшая в зелени приводных ив! Но некогда, некогда! Пора, пора! И я круто заворотил сытую вороную лошадь на дорогу, ведущую к броду. «Вы ее, батюшка, кнутом-то хорошенько проберите, а то она ленива!» — кричал мне вслед стоявший у крыльца старик староста. Выбравшись за мельницей на большую дорогу, я передал мальчику вожжи и, закурив сигару, предался более или менее практическим мыслям. Кроме главных интересов дела меня невольно и сильно занимала предстоящая встреча с посредником. До сих пор я видал только знакомых мне людей, взявших на себя должность посредника и не разрешавших притом на моих глазах никаких важных вопросов. Теперь мне предстояло увидать совершенно незнакомого мне посредника и увидать его в этом качестве на деле. Много доводилось мне читать и слышать похвал и порицаний этому званию, но слышать чужие суждения и судить по собственному опыту — две вещи разные.

Человек не рожден для бездействия. Поэтому всякая пассивная трата времени, например во время переездов, мгновенно вызывает реакцию, выражающуюся томительною скукой. Тут никакой локомотив express не поможет. Все кажется тихо и долго. Но попробуйте взять вожжи в руки и наделе исправить кажущиеся вам недостатки управления кучера, и скуки как не бывало. Вороной явно не слушался своего молодого хозяина. Я взял вожжи в руки, и дело пошло гораздо лучше. Вот и церковь, заново оштукатуренная и выкрашенная, с новою, еще не доконченною каменного оградой. «Ого! — подумал я. — Староста церковный, видно, человек практический и недаром рано встает». После двух-трех поворотов, спусков и подъемов дороги мальчик указал мне в полуверсте на небольшой, но густой квадратный лесок или сад, прибавив, что тут и усадьба Семена Семеновича. Сделалось нестерпимо жарко и пыльно, и я торопил вороного, насколько было можно. Обогнув сад, мы въехали на просторный двор и остановились перед крыльцом нового, отлично отстроенного деревянного дома. Когда слу-

га пошел в кабинет, чтобы доложить о моем приезде, я увидел в растворенную дверь молодого белокурого человека, в черном сюртуке, с пером в руках, у письменного стола, а вслед за тем на пороге появился довольно пожилой брюнет, с черною окладистою бородой и большими умными глазами. «Извините, — сказал он, застегивая белое парусинное пальто, — я кончаю срочную работу, но чрез полчаса я кончу, оденусь и буду к вашим услугам. Не угодно ли вам войти в залу». Очевидно, это был сам посредник, а блондин — его письмоводитель. Войдя в залу, я от нечего делать стал внимательно рассматривать все окружающее. Каждая вещь, начиная с прекрасного паркета, носила отпечаток любви к делу и знания, с какими была исполнена или выбрана. Против стеклянной двери балкона густая липовая аллея, отделенная от дому небольшим пестрым партером, вела в глубину сада. Наиболее всего поразило меня множество ульев немецкого устройства, расположенных в нескольких шагах от балкона за партером, у самого входа в аллею. Я у себя уничтожил пчел в лесу, из страха, чтоб они

во время роевщины не кусали гуляющих, а тут у самого балкона огромная пасека! Когда я кончил осмотр, в залу вошел хозяин и, указав на диван, сел подле на кресло с словами: «Теперь я к вашим услугам». Объяснив в немногих словах мои намерения и надежды, я в качестве человека, мало знакомого с делом, просил указать мне на законные с моей стороны уступки, которые могли бы ускорить развязку.

— Нет, — возразил Семен Семенович, — в этом случае я вас прошу совершенно устранить меня от всякого вмешательства. Я только посредник и обязан строго держаться в границах моего назначения. При совершенно свободных предложениях и условиях с двух сторон я должен лишь наблюдать, чтоб эти условия не заключали в себе ничего противозаконного, и только если я увижу, что, при одинаково законных предложениях с обеих сторон, дело не улаживается единственно по причине неясного его разумения с той или другой стороны, то я обязан при помощи руководящих законоположений постараться разъяснить недоразумение. Дальше мне де-

лать нечего.

— С чего же вы посоветуете мне начать?

— Позвольте. Вы хотите размежеваться с крестьянами. Есть ли у вас план имения?

— Плана нет, и я хотел просить у вас землемера.

— Работающий при мне землемер уехал в другой участок, но я сегодня посылаю в город и завтра дам вам знать, может ли он взяться за вашу работу. Что же касается до переселения крестьян, то я должен вам сказать, что законного основания к их переселению настоящий случай не представляет, а попробуйте им сделать предложение. Поезжайте домой, соберите сходку, переговорите с ними, а после обеда и я подъеду, и мы, взяв сельского старосту, осмотрим отходящую к крестьянам землю. Я должен заметить, что вы очень счастливо приехали: приезжайте вы завтра, вы бы уже не застали меня, по крайней мере, на целую неделю дома. Поблагодарив посредника за совет, я погнал вороного домой, куда он торопился с очевидно большею готовностью.

VII. Мир

— Антип! Теперь обед. Скажи сельскому старосте, чтобы сейчас собрал сюда стариков.

Через полчаса сухопарый, высокий и ядовито золотушливый мужик Ермил, опустя быстрые глазки, окруженные красными веками, и низко кланяясь, вошел в комнату, со знаком сельского старосты на серой свите, и птичьей фистулой объявил о приходе стариков.

— Пусть войдут.

Дверь в сени отворилась настежь, и черные и серые кафтаны, внося запах дыму и соломы, стали, переваливаясь и переминаясь, наполнять горницу.

— С приездом, батюшка, милость вашу!

— Проходите, проходите сюда, вот сюда, — говорил я, указывая вдоль перегородки. Порядок и тишина водворились.

— Как теперь рабочая пора, — начал я, — то ни вам, ни мне долго толковать некогда. Я слышал, вы раза два объявляли посреднику

желание идти на выкуп. (Лица принимают сдержанное выражение.) Так или нет?

— Точно, батюшка, мы было прежде и того.

— А теперь, значит, раздумали и остаетесь на издельной повинности? Стало быть, нам и толковать не об чем. А я думал сдать вам и остальную землю. (Лица невольно выказывают удовольствие.)

— Нет, батюшка, с чего ж. Что тут зубы-то чесать. На выкуп, так на выкуп.

— Да ведь как хотите. Не я просил, а вы.

— Точно, точно.

— То-то, ребята, вы хорошенько подумайте. Ведь посреднику некогда с нами в жмурки играть. Он скоро сюда будет. Было бы что ему объявить. Вот мы с вами переговорим, вы выйдете да промеж себя потолкуете, а тут и посредник подъедет.

— Что ж, батюшка, мы от выкупа то есть тово...

Стоящий против меня черномазый, с орлиным носом и острыми глазами плотник Панкрат, очевидно влиятельный оратор, нетерпеливо мечет голову направо и налево, при-

чем плоские волосы скобки косицами слезают ему в лицо, и как бы отмахивается от несвязных и нерешительных слов мира.

— Что понапрасну зубы-то чесать. Согласны охотой — вот что.

— Согласны, согласны, — даже в сенях какое-то опоздавшее эхо повторило: «Согласны».

— Остальную господскую землю я согласен отдать вам на года, на сколько сами пожелаете, хоть на десять лет, по той цене, какую вы сами назначили, — по 6 рублей кругом.

— Покорно, батюшка, благодарим. Дай Бог вам доброго здоровья.

— Но ведь надо вам, ребята, прежде постараться разверстать угодья. И вам, и мне не приходится владеть чересполосицей.

— Что ж? точно.

— Теперь, ребята, я хотел с вами потолковать толком. Вы сами хозяева, и неплохие. Скажите, какова за лесом к речке земля, на которой теперь пшеница?

— Земля навозная, первый сорт.

— Лес и усадебную барскую землю я оставляю за собой; стало, за вашим наделом земли тут останется немного, и в этом имении вся сила в мельнице. Так или нет?

— Точно, батюшка, так. Уж и говорить нечего.

— Вы видите, что я с вами ссориться не желаю.

— Какое, батюшка? Много довольны.

— Но нельзя же мне и с арендатором ссориться. А если он будет на вас обижаться, так, пожалуй, и мельницу бросит. Поэтому я хотел вам сказать, не сойдете ли вы с усадьбы на землю за лесом.

— Помилуйте, батюшка, да это нам на веки вечные разориться надо.

— Постойте, постойте. На свете всякое добро покупное и наживное. Я не насильно вас гоню, а я спрашиваю, не будет ли вашего согласия? Ну, что может стоить перенесть за версту крестьянский двор? От силы 100 рублей серебром. Я согласен вам дать на всякий двор по 150 рублей.

— Нет, батюшка, нам сесть туда — разориться вконец. Там улицу заливать будет,

там погреба будут весной полны воды. Там конопляника в 20 лет не заведешь. Там съезду на реку нет.

— Съезд сделаю.

— Там снегом забивать будет. Там скотина как со двора — на чужое поле. По миру пойдем.

С каждою новою попыткой уяснить дело и достигнуть согласия неудовольствие и видимый ропот возрастали. Наконец оратор Панкрат встряхнул скобкой и со сверкающими глазами сказал:

— Что вы теперича нам ни давайте, а надо, не во гнев вашей милости, правду сказать. Если да вы оставите нас на прежнем месте, то мы должны за вас век Богу молить, а если переведете на новое место, то должны целый век вас проклинать.

При последнем слове он сделал знак, как будто втыкает указательный палец в землю.

— Ну постойте, постойте! — прервал я оратора, убедясь, что на этом пути толку не будет, да и к чему мне бросать 2–3 тысячи рублей даром, чтобы навлечь на себя неудовольствие и ропот. — Ведь мне-то все равно, где

бы вы ни сидели. Я не о себе хлопочу, а об арендаторах. Они только водочною продажей сильно обижаются.

— Знаем, батюшка, что это и вся беда-то от них. Им лишь бы себе-то получше поустроиться, а мужик-то хоть пропади. А мы какая им помеха? В полую воду мы же их выручаем да пособляем.

— Не в том дело, ребята, а в водочной продаже.

— Да пропадай она пропастью. Мы подписку дадим, чтоб ее и повек у нас не было. Заведи кабаки, так от них, пожалуй, неровен час, и деревня слетит, а теперь их кругом, куда ни сунься. Нужно мне ведерку водки, схватил лошадь да слетал. Подписку, подписку дадим.

— Мало этого, ребята, оставлю вас на месте, а станем контракт писать насчет аренды земли, скажем, что владеть вам землею до первой водочной продажи по деревне. Станете водкой торговать, и контракт вдребезги.

— Да пропадай она пропастью, эта водка! Сказано, не будет ее, так и не будет.

— А не будет, так оставайтесь на прежних усадебных землях.

— Вот, батюшка, много довольны, — и т. д.

— Теперь, стало быть, ваша милость, — замечает седобородый старик, — отдаете нам всю землю по 6 рублей серебром кругом?

— Я уже сказал, что отдаю, как вы сами желали.

— Ну а как же с островом-то, что под мельницей? Ведь на нем чистый песок, только и есть, что будто лоза растет, так нам обидно будет снимать его по 6 рублей.

— Да я и не сдаю его вам, я сдаю то, что вы сами возьмете.

— Да уж вы позвольте нам там хворостику порубить на плетни.

— Пожалуй, рубите и хворост, но вы знаете, что большие деревья нужны бывают арендаторам. Так уговор лучше денег. Если хоть одно дерево кто срубит, сейчас и вас, и скотину вашу с острова прогоню, и за каждую курицу штраф.

— И-и сохрани Господи! — ни одной крупной лозиночки не вырубим. За это отвечаем.

— Да уж вы, батюшка, заставьте вечно Бога молить, — восклицает оратор Панкрат, — пожалуйте нам уж и остров по контракту. Ведь нам без него никаким родом нельзя быть. Дело не дело, а все скотинка послоняется.

— Там от рабочей канавы заливное местечко есть, так у нас там капустники были. Уж позвольте и капустниками попользоваться.

— Да ведь сказал, что позволяю вам пользоваться островом, стало, и капустниками будете пользоваться, коли станете честно, безобидно жить. Только там есть и арендаторские гряды, так те уж за ним и останутся.

— Что ж, не замай его пользуется.

— Да только, — опять перебивает Панкрат, — пожалуйте нам остров-то по контракту.

— Зачем же я даром даю вещь, да еще и контракт буду писать на нее?

— Да ведь это мы, батюшка, ведь из чести просим. Сделайте милость.

— Вы из чести просите, а я из чести даю, пока у нас дело будет идти на честности, а

станете нечестно жить, пеняйте на себя, вперед вам говорю.

— Да ведь мы из чести просим. Оно точно, покуда мы у вашей милости, обиды нам не будет, а ну как Бог, часом, по душу пошлет, да нас тогда обидят, значит, что ж, мы тогда со скотинкой пропасть должны?

— Если вы честно станете жить, то никто вас не тронет. Я ли, другой ли кто будет, песчаный остров никому не нужен. А пустить вас на шею арендатору по контракту не могу.

— Да ведь мы из чести.

— Ну, ребята, теперь нам не об чем больше толковать, ступайте да потолкуйте промеж себя. Посредник скоро будет, так чтобы нам в словах-то не разбиваться. Ступайте.

— Да вот что, батюшка, — затянул седой старик, озираясь одними глазами на мир, без поворота головы, — наша-то земелька за усадьбами больно сумнительна.

— Весной ее часом заливает, да и песком переносит. Как пойдет это лед по хлебушку, так ажио (даже) волосы на голове шевелятся, — прибавил оратор Панкрат. Последняя фигура видимо понравилась, и отовсюду по-

слышалось:

— И волосы шевелятся! индо волосы шевелятся!

— Да ведь сойти на другое место не хотите, а этой землей владеете исстари. Отчего же она век была хороша, а теперь стала дурна?

— На то была воля господская, а только весной, ажио волосы... Видя, что конца этому не будет, я прекратил совещание до приезда посредника. Не успела толпа вывалить за дверь, как на порог появился бывший кучер Азор, дворовый, брат сельского старосты, такой же золотушный, только поменьше брата ростом, отъявленный негодяй и ленивец. Он-то и завел было в деревне самовольно водочную продажу.

— Что тебе надо?

— Да к вашей милости. Как я теперь должен ни при чем остаться, то не пожалуете ли мне усадебной земельки под избу.

— А тебе кто позволил торговать водкой?

— Я у мира спрашивался.

— Да разве мир мог тебе позволить без согласия владельца? Да и стоило ли тебе из-за пустяков заводить всю эту гадость?

— Помилуйте, как же не стоило. Я на Святой продал сорок ведерок, да от каждого попользовался по рублю серебром.

Признаюсь, последний аргумент меня сильно озадачил. Перед таким фактом всякое красноречие немеет. Этот дрянной человек никакими усилиями не может (продолжая быть дрянным) приобрести в продолжение целого года и 20 рублей, а тут он в одну неделю без труда заработал вдвое.

— Да ведь тебе в третьем годе, при уставной грамоте, дана была усадебная земля.

— Точно так. Да теперь как братья-то поделились, так они ее за себя взяли. А мне теперь некуда.

— Кто ж теперь виноват, что ты свою землю отдал. Другой ничего не получит, а тебе, за водочную торговлю, давай вдвое. Ступай.

— Сделайте милость.

— Ступай, ступай!

Не успел Азор исчезнуть за дверью, как через порог переступили пожилой дворовый с женою и тотчас повалились в ноги.

— Говорите, что надо. А будете тут валяться, выгоню вон!

Оба мгновенно вскочили. Я знал, что у этих просителей водятся деньжонки.

— У нас, батюшка, на барском дворе собственная избенка и клеть.

— Мне вашей избы не надо, берите ее с Богом.

— Мы вот, не пожалуете ли нам усадебной землицы: хатку поставить?

— Земли вам никакой не следует. Затем и рамежевываются, чтобы чересполосицы не было. А так как вас всего двое, то я за землей не постою. Когда посредник приедет, то я объявлю ему, что даю на вашу долю земли к крестьянскому наделу. А примет ли вас мир в селение или нет — это уж не мое и не посредниково, а мирское дело. Чем у меня-то в ногах валяться, вы бы миру-то покланялись да попросили, чтоб он вас принял. Ведь я на вашу долю прирежу земли в поле, — так нельзя ж вам сидеть среди хлебов, а надо прибиваться к деревне, а кроме миру, никто не волен распоряжаться.

— Не принимает он нас, отец родной!

— Что ж я-то тут могу сделать? Попросите хорошенько; авось, как узнает, что я даю вам

землю, он и согласится.

— Уж и не знаем, как его просить-то. Ведь с ним — не с вашей милостью. Вы таки пожалеете, а ведь мир...

В это время рослая четверка вороных фыркнула у сеней, и посредник с письмоводителем, вышед из коляски, показались в дверях горницы.

— Ну что, — спросил Семен Семенович, — толковали?

— Толковали, и кажется, они согласны и на размежевание, и на выкуп, и на аренду. Только теперь подняли вопрос о собственной земле, которую будто полая вода смывает и портит посевы. — Значит, я хорошо сделал, что приехал. Я ведь их знаю. Мы сейчас сядем с вами в коляску, возьмем сельского старосту на козлы и поедем осмотреть их землю.

— Помилуйте, мне совестно. Ваши лошади устали.

— Не беспокойтесь. Во-первых, они сильны, а во-вторых, привыкли и не к таким переездам.

Через четверть часа мы уже проезжали шагом по крестьянскому клину, вдоль кото-

рого действительно оказалась изложина с легким следом песку по чернозему.

— Где же размывает клин? — спросил посредник старосту, сидящего на козлах.

— Да вот это самое место. Весной ажио волосы на голове шевелятся...

— Действительно, тут десятин на шесть длиннику, да на осьминник поперечнику видно, что вода заносит песок. Стало быть, десятины две можно считать не совсем удобными, хотя у вас тут же отличный хлеб родится. Ведь я знаю, — заметил посредник.

— Годами точно что родится.

— Ты хочешь сказать: один только год за все время смыло хлеб на этом месте, так тогда же вы тут и ту плотину выстроили.

— Точно так. Ее еще покойник выстроил. А теперь ее всю льдами разломало — страсть!

— Чтобы соблюсти полную справедливость, вы могли бы уступить крестьянам две десятины вполне удобной земли, кроме этой, — заметил мне посредник.

— Вполне согласен и скажу об этом землемеру.

Вернувшись к флигелю, посредник позвал не расходившийся еще мир, и результат был почти тот же, что и после моего с крестьянами совещания. Посредник не вмешивался ни в какие подробности наших взаимных соглашений. Желая разом покончить дело и по возможности удовлетворить крестьян, я обещал дать им значительное количество лесу на мнимое обновление плотины, охраняющей их дачу от песчаных наносов. Ясно было, что плотина была пуфом для получения даром лесу (в настоящее время лес срублен, а о плотине нет и помину), но я хотел дать лесу — и дал. Из приходящихся добавочных с крестьян 1100 р. я сбавил им 200 р., а уплату 900 р. рассрочил на 3 года. Благодарности не было конца. Выпив стакан чаю и пригласив меня на следующий день к себе, посредник уехал.

Облака, начинавшие принимать розовые и фиолетовые оттенки, свидетельствовали о приближении вечера. Мне захотелось пройти на мельницу пешком, и я поневоле должен был избрать кратчайший, но эквилибристический путь по лавам высокой плотины,

даже не огороженным перилами.

Под ногами моими, на сливе, сидели мальчики с удочками; я остановился посмотреть на их охоту; то у того, то у другого, за взмахом лесы, мелькала белобрюхая плотичка или полосатый пескарь. Ивана Николаевича нашел я среди его обычной деятельности и далеко не в таком внушительном костюме.

— Ну, что-с? Как ваше дело с мужиками? Семен Семенович только что проехали.

— Ничего. Кажется, дело идет на лад. Да ведь вы знаете, тут ни за что отвечать нельзя. Сейчас скажут одно, а через час запоют другое. Тогда только скажу, чем кончилось, когда бумаги будут подписаны.

— Я все боюсь, чтобы сельский староста не стал их разбивать. Он самый богатый во всей деревне, даром что в серой свитке, и ему, должно быть, хочется одному, помимо всех, снять барскую землю.

— Я ведь им отдаю остров под скотину — даром, разумеется, так все просят, чтобы отдать по контракту.

— Этого вы, ради Бога, не делайте. Пусть пользуются, Бог с ними! Но отдать вещь да-

ром по контракту — это и себя и нас связать по рукам и по ногам. Они тут и с мельницы-то выживут. Нет-с, как вам угодно, только вы этого не делайте. Непривязанный медведь не пляшет.

Не желая и самого очаровательного вечера тратить в бездейственном созерцании, деловой Иван Николаевич уговорил меня пройтись к старому руслу рабочей канавы, чтобы показать мне казенный столб с печатью, доказывающий несомненные права мельницы на известный подъем воды. Проходя мимо одного из мучных амбаров, мы увидали выбегающую из него молодую и тщедушную коровенку, у которой, вероятно за излишнюю прыткость, правый рог был связан веревкой с правою переднею ногой. Это заставляло корову с каждым шагом наклонять и отклонять голову. Несмотря на то, коровенка уплеталась довольно поспешно из растворенного амбара, а вслед за нею в воротах показался дюжий рабочий с тяжелым железным ломом в руках. Парень замахнулся своим наступательным орудием, и не знаю, что сталось бы с коровой, если б он опустил на нее лом.

— Не бей, не бей ее, — крикнул Иван Николаевич, — а только прогони до ракитника. Изволите видеть, как повадились? От человека и до скота, — прибавил он, как-то махнув рукой в сторону коровы и придавая голосу неотразимую убедительность.

Стояла засуха. Заря догорала. Сильно пылящее стадо возвращалось с поля. Казалось, будто спустилась на землю и ползла по переулку к реке темная гряда туч, из которых местами торчали одни равнодушные головы рогатого скота и тревожные силуэты овец. Но вот все это с ревом и блеянием разбрелось по дворам. Там и сям отсталые коровы стояли у брода по колени в воде, соткнувшись мордами с своими опрокинутыми в реке двойниками. По мере того как дневной шум смолкал и воздух становился чище, шум мельницы более и более воцарялся в ночной тиши. На юго-востоке будто крупный алмаз засветилась Венера.

— До свидания, Иван Николаевич.

— Нет, помилуйте-с. Выкушайте стаканчик чайку.

Войдя в чистую, опрятными обоями окле-енную комнату флигеля Ивана Николаевича, мы застали у открытого окна на столе кипящий самовар со всеми принадлежностями вечернего чая. Свежие сливки были до того густы, что едва лились из молочника. Стенные часы с портретом музыканта Черни пробили десять.

— Пора домой, Иван Николаевич!

— Позвольте я вас провожу. Мне надо все равно забежать на мельницу.

— Экие чудесные ночи стоят — обоняние! — воскликнул он, сойдя с крыльца и охваченный лунным светом.

Перебравшись на свой берег тем же полу-воздушным путем, я пошел спать.

VIII. Землемер

Рано встающий посредник обедает в два часа. Он встретил меня неутешительным известием. Только что вернувшийся из города посланный застал землемера с опухшею ногой, не позволяющею надеть кожаный сапог, а следовательно, и обходить дачу.

— Однако что же мне делать, Семен Семенович? Без разверстывания угодий и определения количества остающейся земли нельзя приступить к условиям. Попробовал бы сам обмерить землю, да где взять инструменты?

— Инструменты моего землемера здесь: цепь и астролябия.

— В том-то и беда, что астролябия, а не мензула. Я не довольно знаком с приемами измерений помощию астролябии, для того чтобы решиться отрывать народ в самую жаркую рабочую пору. Ну как у меня фигура не свяжется, придется делать поверку и опять тормошить народ.

— Делайте как хотите. Инструменты к вашим услугам.

Наступало время ржаных посевов, и надо было безотлагательно засевать поля или своими семенами, или сдавать их в аренду крестьянам. Это обстоятельство вынуждало меня приступить самому к съемке дачи. Но я боялся задержать все сельские работы своею непривычкой к этому делу.

Вернувшись домой, под влиянием внутренней борьбы, я велел позвать Антипа и передал ему свое горе, как будто Антип был в состоянии чем-нибудь ему пособить.

— Ну что теперь делать, Антип? Неужели уехать ни с чем?

— Помилуйте-с! Это ни под каким видом невозможно. Извольте послать за инструментом и уж своими науками дело произойти. Как бросать такое дело?

Вполне убежденный Антипом, я распорядился рано утром посылкой за проклятою астролябией. Придется записывать румбы с дробями! То ли дело мензула! Улегшись за перегородкой на сенную постель, я долго не мог уснуть и ровно ничего не мог понять из страниц, вдоль которых пробегали глаза мои. Коростель драл горло под окошком, но мне каза-

лось, эту ночь он кричал вовсе не с эротическою целью, а только из желания подразнить меня. Даже остроносые мухи откуда-то набрались, чтобы кусать меня. Далеко за полночь я потушил свечку, но все еще не мог уснуть. Вдруг слышу скрип наружной двери и чьи-то шаги.

— Кто там? — окликнул я вошедшего.

— Это я-с.

— Что тебе нужно, Антип?

— Да мужики проведали, что тут недалеко, за 18 верст, живет частный землемер, так просят у вас позволения нарядить подводу тройкой и съездить за ним. Авось он к обеду вернется. Так как они наверно постное кушают, то я заказал рыбы наловить.

— Прекрасно, прекрасно! Скажи, чтобы не мешкая послали.

— Да тройка уж готова, а малого посадили забубённого. Духом скатает. Только вот спроситься пришли. А за инструментом-то не прикажете посылать?

— Нет, не нужно. Ступай.

Рано утром я получил письмо от Ивана Николаевича с просьбой продать ему неболь-

шую партию пшеницы. Усевшись за кофе, я два раза посылал попросить ко мне Ивана Николаевича и каждый раз получал в ответ: «Сейчас будут, сейчас идут». Так дело протянулось до полудня. Я хорошо знал, что по случаю урожая пшеница с 8 руб. сошла на 6 руб.; просить дороже не приходилось.

Между тем Антип успел уже мне похвастать двумя огромными карпами и еще какою-то рыбой, плескавшейся в лохани, а к полудню до меня через сени дошел несомненный запах постного масла. Волнуемый страхом и надеждой, я не сказал ни слова касательно этой стряпни, но признаюсь, никак не мог понять уверенности Антипа насчет приезда землемера. Весьма возможно было получить известие, что и он почему-либо раньше двух месяцев приехать не может.

Но вот дверь отворилась, и черный люстриновый сюртук Ивана Николаевича заиграл самыми светлыми переливами, достойно соперничая в этом отношении с ясными раструбами непреклонных голенищ.

— Извините, пожалуйста, — заговорил скороговоркой Иван Николаевич, — никак не

мог вырваться. С самой зари наехали с пшеницей мужички, да и пшеница-то не очень нужна. Уж таки ссыпал и по 3 рубля 50 копеек и по 3 рубля.

При последних словах лицо его озарилось игриво насмешливою улыбкой. Он, видимо, был в ударе и в полном удовольствии.

— Неужели ссыпали по 3 рубля?

— Так случилось, а то где бы ее купить по этой цене? Да ведь мы и сами иной раз влопываемся с покупками, да и большими партиями. Мыто все радужными отсыпаем, а сами потом по гривенничкам да пятиалтынничкам выбираем за отруби да подсевки. Право, так!

— Ну, вы-то, я думаю, не переплатите?

— Нет! как перед истинным Богом, вам докладываю, такого дашь маху, что только затылок трещит. А точно, нам только и пожить, пока не завели этих путей сообщения да железных дорог. Мы теперь имеем вроде монополии. Грязь, слякоть, деньжонки нужны, ну куда он денется? вот и бежит к нам. Да еще и благодетелями нас считают. И подлинно. Извольте посудить. Не будь, примерно, здесь

нас, ну куда бы человеку да в эдакую пору обратиться? Смерть. А то и ему хорошо, не дожидаться денег, да и нам хорошо, нам их не привыкать дожидаться-то.

Свое дело я уладил с Иваном Николаевичем с двух слов. Этот человек, только что ссыпавший пшеницу по 3 руб., дал за партию по 6 руб., прибавя, разумеется: «Право, обидно-с».

Если вы умеете объяснить пророческое упрямство лошади перед вступлением на хилый мост или на лед, о степени прочности которого судить она, по-видимому, не имеет никаких данных; если для вас понятно беспокойство собаки перед случайною бедой, не состоящею ни в какой связи с ее пятью чувствами, например, перед пожаром, — то вас нисколько не изумит хладнокровная деятельность Антипа при изготовлении постного обеда. Проходя мимо кухни, я не раз чувствовал потребность уколоть его этою преждевременною стряпней, но каждый раз мысленно махал на все рукой. Вот и первый час пополудни, рыба трещит себе на сковороде, а о землемере ни слуху ни духу.

— Уйду я отсюда, хоть на мельницу. Не могу видеть этой чепухи. Аким! давай одеваться!

Не успел я окончить немногосложного туалета, как у сеней послышался стук копыт, и в комнату вошел толстенький лысый старичок в полувоенном сером пальто, сопровождаемый молодым брюнетом с пышными, мелко вьющимися волосами, в черном сюртуке, надетом на красную фланелевую фуфайку сомнительной чистоты. Не успел еще старичок отрекомендоваться, как уже внесенные вслед за вошедшими инструменты рассеяли всякое сомнение насчет профессии приезжих.

— Извините, что так долго задержали вашего нарочного! Мы с помощником с самого рассвета просидели над планом, который надобно было кончить. Поверите, кроме чаю, во весь день крохи во рту не было. Хорошо, что ваш посланный захватил нас дома. Мы сегодня должны были после обеда ехать на работу за 60 верст. Нас там теперь ругают. Да что ж делать, не разорваться!

— Сделайте милость, господа, не задержите и себя, и меня. Я здесь третий день ничего не делаю. А теперь знаете, какая пора.

— Прикажите собрать народ и заготовить вехи да колья. А нам позвольте по рюмочке водки да перекусить чего-нибудь.

— Антип! пошли за сельским старостой да давай обедать. У тебя постное?

— Постное.

Мне показалось, что я прочел торжество в глазах Антипа, и глубоко перед ним смирился.

— Вот только перекусим, да и за работу. Я хорошо знаю вашу дачу, — прибавил старичок. — Бог даст завтра к вечеру обойдем. А там, видно, делать нечего, придется ночку просидеть над черновым планом, а послезавтра утром и произведем нарезку крестьянского надела.

— Да, сделайте милость, не задержите, а я сейчас поеду к посреднику объявить о вашем приезде и попросить подготовить все бумаги. Количество десятин можно вписать и по окончательном с крестьянами соглашении.

— Так как вы уезжаете, то позвольте вас спросить: там на крестьянской даче есть болотца, поросшие камышом; пойдут они в надел или нет?

— Нет, пожалуйста, всю неудобную землю вон. Посредник осматривал их дачу, и мы решили, кроме всего, прирезать им две десятины навознику вдобавок к двум, на которых видны следы песку.

— Как вам угодно. Ну а как же береговой откос в их даче? Лугом его назвать нельзя, а все-таки он прорастает травой, и скот по нем пасется. Прикажете считать его в надел?

— Нет, не считайте.

— Да ведь этак много лишней земли к ним отойдет.

— Нет уж, пожалуйста! Посредник говорит, что им следует полный надел, по уставной грамоте, одной удобной земли. А так как я не могу выбрать оттуда сомнительную землю и оставить ее за собою, то придется, по оказавшемуся ее количеству, прирезать к их даче удобной.

— Как вам угодно. Это не наше дело. Нам только спросить: как делать.

В дверях показался смиренный сельский староста.

— Староста! вели сейчас приготовить четыре вехи и десять кольев.

— Вехи и колья готовы.

— Так наряди сейчас с барщины восемь человек на межу. Ступай! Староста видимо переминался.

— Ну, что тебе нужно?

— Воля ваша, — начал староста тонкою фистулой, приподымая голову, причем серые его глазки с красными веками засверкали зловещим огнем, — воля ваша, как вам будет угодно: а вы пожалуйте нам землю по Его Императорскому указу. — При последнем слове он даже ткнул пальцем вниз.

Оба землемера и я с изумлением переглянулись. Через мгновение на лице старика землемера появилась улыбка, а я обратился к старосте:

— Теперь послушай, что я тебе скажу. Во-первых, крестьяне просят о добровольном выкупе — стало, дело полюбовное, а во-вторых, такого важного дела ни посредник, ни кто другой не может делать иначе как по Им-

ператорскому указу. А если ты глуп и зол, то ты свою глупость и злость береги про себя, а ко мне с ними не ходи. А теперь ступай и сейчас исполни, что тебе приказывают. Пошел!

В половине второго землемеры ушли в поле, а я уехал к посреднику.

IX. Семен Семенович

В моих заметках я уже имел случай указывать на факты, опровергающие мнение, будто система штрафов не в духе русского народа. Что же мне делать, если обстоятельства наводят меня на подобные факты? Неужели, вопреки истине, обходить их молчанием только из-за того, что они могут противоречить той или другой теории?

Не успел я переехать за реку и поздороваться с Иваном Николаевичем, как последний уже воскликнул:

— Знать, крестьянам-то больно хочется похозяйничать на острове насчет мелкой лозы. Сегодня утром, промеж себя на сходке, положили 5 р. штрафу за всякую крупную ракитину. Вот уж не тронет-то никто! Ведь они уж

не простят, только бы в руки попался: сопьют пять-то рублей. Между своими и с хлыстиком не схоронишься. Вот наживете даровую полицию, что лучше и не надо.

Я только порадовался здравому смыслу крестьян, указавшему им на самую справедливую и практическую меру для ограждения общего интереса.

Посредника я застал за письменным столом и сообщил ему о работе землемеров. Он тотчас же распорядился насчет предварительного изготовления бумаг.

— Итак, — прибавил Семен Семенович, обращаясь ко мне, — я на послезавтра вытребую повесткою сюда мир, а вы потрудитесь пораньше привезти черновой план с точным обозначением удобной и неудобной земли, — и быть может, мы тут же все и покончим.

— Только *быть может?*

— Не более. В подобных делах ни за что ручаться нельзя.

Я узнал, что все богатство Семена Семеновича состояло из 400 десятин превосходной земли. Но как бы земля ни была превосходна, имение в первобытном виде не могло пред-

ставлять капитала свыше 20 или 25 тысяч рублей. Зная по опыту, до какой степени трудно начать и довести с небольшими средствами какое-либо дело до порядочных результатов, я не мог устоять от искушения свести разговор на хозяйственную почву.

— Меня здесь считают богачом, — заметил Семен Семенович с добродушною улыбкой. — А все мое богатство состоит в том, что до вступления в настоящую должность, поглощающую у меня почти все время, я делал все сам. Вот хотя бы и для этого дома, постройка которого вас так изумляет, я готовил материял в продолжение шести лет. Купить разом и доставить сюда такой материял было бы слишком дорого. А в продолжение шести лет я пользовался случаями приобретать его сходно. Год на год не приходит. Вы, как говорите, покупали кровельное железо по 4 рубля 30 копеек за пуд, а я свое купил по 2 рубля. Что касается до собственного хозяйства, то я старался поставить его в независимость от всякого рода колебаний цен. Всякая вещь имеет собственную цену; я поставил себе за неизменное правило не продавать ни одного,

даже ничтожнейшего сельского продукта, начиная с вощины и кончая телячьею шкуркой, ниже их действительной цены. Одни пчелы, которые вас так испугали своею близостью к балкону, доставляют мне значительный доход. А у других они гибнут с каждым годом. Нельзя вести дела, о котором не имеешь понятия. Мы напрасно обвиняем то или другое сословие. Общественные недостатки у нас те же во всех. И у крестьян, и у помещиков до сих пор всегда были деньги, с одной стороны, на водку, а с другой — на несоразмерные со средствами затеи, и вечно чувствовался недостаток в необходимом. У меня, как видите, затей никаких нет, но на дело полезное всегда найдутся средства.

Поздно вечером вернулся я домой и во всю дорогу находился под влиянием всего мною виденного и слышанного. Вот в каких людях, говорил я мысленно, нуждается наше время. Один такой мало разглагольствующий, но много и разумно трудящийся человек гораздо благотворнее действует на свой околоток, чем целые собрания доморощенных философов, проповедующих с пеною у рта неперева-

ренную нескладицу.

X. В волости

Землемеры честно исполнили обещание. На другой день завтрак им носили в поле, а обедать они пришли уже вечером, когда совершенно смерклось. Напившись чаю непосредственно после обеда, они устроились для ночной работы и только попросили папирос, так как их запас истощился. До рассвета труженики просидели за работой и, надо сказать правду, до того накурили в небольшой комнате, что стало трудно дышать. В шестом часу утра старичок-землемер, за утренним кофе, весело потирая свои мускулистые руки, объявил, что все, за исключением белового плана, готово.

— Теперь нам нужно только две сохи, и мы, пока вы доедете до посредника, духом отхватим межу крестьянского надела. Только уж сделайте одолжение, не задержите и нас. А по дороге домой потрудитесь завернуть за беловым. Завтра он будет готов, а крюку вам всего две версты. Жена угостит вас превос-

ходною наливкой, а я, коли застанете меня, угощу вас музыкой. Я играю на всех инструментах, на гобое, на валторне, на трубе, на фортепиано, на скрипке, словом сказать, на всех. У меня отец был большой музыкант. Милости просим!

С веселым старичком мы расстались друзьями.

Когда я вышел садиться в кабриолетку, то увидал у самой двери на дворе стоящего сельского старосту. Низко кланяясь, с опущенными глазами, он представлял олицетворенное смирение.

— Что тебе нужно?

— Да я за приказанием, насчет народу к землемеру.

— Тебе ведь с вечера приказано выслать двух пахарей с сохами. А что мир не пошел еще в волость?

Голос старосты перешел в какое-то стеклянное дребезжание.

— Осмелюсь, не во гнев вашей милости, я не знаю, как старики будут согласны идти в волость.

— А мне какая надобность? Это их дело. Повестка от посредника, а не от меня.

С этими словами я тронул лошадь. На половине пути я еще издали узнал черномазого дворового, в новой черной свитке, с палкою в руке, торопливо пробирающегося в волость.

— Что, Петр! как твое дело? Просил ты мир?

— Просил, батюшка!

— Что ж?

— Да Бог его ведает.

— А угощал их водкой?

— Угощал, батюшка! Две ведерки выпили. Уж не оставьте вы нас, кормилец.

— Ваша земля прирежется сегодня к крестьянскому наделу, а там уж не мое дело. Да авось примут вас, после водки-то.

— Кто же их знает? Разве их узнаешь?

У посредника я встретил общество, состоявшее из трех-четырех соседей. Сам хозяин, видимо, развеселился. Кажется, он не менее моего обрадовался случаю отвлечь мысли от неизбежных, чтобы не сказать роковых, занятий. Отрезанный от почтовых сообщений, я рад был услыхать о последних политических

новостях и о ходе польского вопроса.

Все эти разговоры не помешали мне два раза посылать в волость узнать: прибыла ли сходка, и каждый раз получать в ответ: «Нет никого».

Вся эта продолжительная комедия с выкупом до того мне надоела, что я решился, в случае разладицы, бросить все дело на произвол судьбы и уехать домой. К завтраку наше небольшое общество увеличилось прибытием из соседнего прихода священника, на которого хозяин указал мне как надельного и умного человека. Действительно, таким и показался мне этот далеко не старый человек, с открытым и добродушно веселым лицом. Разговор зашел о проповедях, их нравственном значении для народа. Но каково же было мое удивление, когда этот почтенный пастырь стал утверждать и готов был держать со мною пари, что в Евангелии Луки нет *Родословной Иисуса Христа.* Этот факт показался мне глубоко характеристическим по отношению ко всему нашему русскому быту. Возможно ли умному человеку всю жизнь провести над специальною книгой и не полюбо-

пытствовать ознакомиться с ее содержанием? А мы еще укоряем литераторов за суждения о предметах, вполне им незнакомых или недоступных! Верно, у нас куда ни сунься — в этом отношении везде одно и то же.

— Вот и старики прибыли, — сказал входящий в залу посредник, крутя толстую папироску. — Так ли, сяк ли, надо кончать. Я приказал им прийти в переднюю, где уже дожидаются волостной старшина и писарь.

Через несколько минут письмоводитель доложил посреднику, что все собрались и все готово, а в отворенную дверь я увидал знакомый ряд серых и черных свиток.

— Ну, пожалуйста, — сказал посредник, обращаясь ко мне и указывая на дверь прихожей.

— Семен Семенович! Нельзя ли мне передать все это дело вам и остаться здесь? Нового я ничего не могу сказать крестьянам, а мое присутствие только может быть поводом к новым претензиям и путанице.

— Нет, этого нельзя. Обе договаривающиеся стороны должны быть налицо.

Я пошел следом за посредником в прихожую, твердо решившись не произносить ни одного слова, иначе как отвечая на вопрос посредника, что бы ни говорили крестьяне.

Дверь в сени была отворена, и там, из-за плеч стариков, собравшихся в передней, тоже виднелись крестьянские головы помоложе. Влево, около сельских властей, стоял знакомый нам дворовый, ожидавший от мира решения своей участи.

— Прежде всего, — начал посредник, — надо нам покончить с ним. Вы знаете, ребята, что этот дворовый получил теперь усадебную землю? Согласны ли вы принять его и дозволить ему поставить на деревне избу?

Мертвое молчание, сопровождаемое переминанием с ноги на ногу и тяжелым забиранием в себя духу.

— Ну ты что скажешь? — обратился посредник к первому, ближе всех к нему стоящему.

— Как люди, так и мы.

— Ну, а ты?

— Как люди, так и мы.

— Постойте! — обратился он снова к первому. — Люди-то не какие другие сторонние, а все вы же. Ты, другой да третий — вот и люди. Ты-то что ж? Не человек, что ли? Я хочу знать, что ты думаешь? Ну, что ты скажешь?

Спрашиваемый совершенно растерялся.

— Да я-то, батюшка, ваше высокоблагородие! Я-то, — лицо старика приняло мягкое выражение, — я-то бы и Бог с ним. Что ж.

— Стало быть, ты согласен?

— Да я-то, Бог с ним, пусть его.

— Ну, а ты?

— Да и я что ж? Бог бы с ним, то есть право...

— И ты, значит, согласен. А ты? — обратился посредник к третьему. Третьим, случайно или не случайно, стоял сельский староста. Он поднял на посредника свои серенькие глазки, мгновенно засверкавшие злобой, и, не поднимая рук, оттопырил в сторону кисти с разогнутыми пальцами.

— Что ж, коли некуда, негде, — пропищал он.

— Если к барскому двору негде, так к концу деревни дайте место — к выгону.

— Помилуйте, да там гамазея, часом от него да и гамазея слетит.

— Да зачем же так близко к магазину?

— Помилуйте, коли негде, некуда.

— Ну, да тебя не переговоришь. А ты что скажешь, следующий?

— Я бы, я бы, коли, коли негде. — А ты?

— Коли негде.

«Коли негде», без всяких вариаций, пошло слева направо и дошло до дверей.

— Ну, а вы там? — крикнул посредник в растворенную дверь сеней. — Входите сюда.

Стоявшие в сенях стали по одному переваливаться через порог, кланяясь и произнося: «Коли негде».

При последнем «Коли негде» посредник махнул рукой, сказав:

— Это ваше дело! А теперь поговорим о том, зачем пришли.

— Точно, батюшка! Точно так! Так точно, ваше...! — поднялось разом со всех сторон, и посреди всего этого послышался пискливый голосок сельского старосты:

— Только, воля ваша, ваше высокоблагородие, нам эта земелька не подходящая. — И за

тем новое эхо:

— Она, то есть земелька-то, оченно того.

Дело радикально портилось, выходя снова на дорогу бесконечных претензий.

— Постойте, постойте! — крикнул посредник. — Все это не мое дело. Мое дело сказать вам вот что. Царь дал вам волю, а теперь делает вам милость, помогает вам выкупить ваш надел. Вы будете ваш *неполный* оброк платить 49 лет в казну. А после этого земля будет ваша.

— Знаем, батюшка! Слышали.

— Вот вы теперь и говорите дело: согласны вы идти на выкуп той земли, которая вам теперь отрезана, «не считая неудобной»?

— Нечего пустое говорить, — крикнул седобородый приземистый старик, выдвигаясь грудью вперед и отмахиваясь назад растопыренною пятерней правой руки. — Согласны, батюшка.

— Согласны, согласны! — пронеслось в толпе.

— И на наемку остальной земли согласны?

— Согласны! Много довольны!

— И не допускать водочной продажи согласны?

— Ну ее! На что она нам? Да пропади она!

— И на добавочную уплату в три года?

— Согласны, батюшка!

— Стало, и толковать нечего, вот вам письмоводитель прочтет все бумаги в волости, а вот и старшина и еще грамотники, кому хотите давайте руки и ступайте подписывать бумаги.

— Слушаем, батюшка! Покорно благодарим! — И повернувшись к сеням, толпа, один за одним, стала, стуча коваными сапогами и толкаясь в дверях, выходить на двор. Дело было кончено.

Я нарочно с такою подробностью описал этот эпизод из современной сельской жизни, чтобы хотя отчасти воспроизвести в читателе вызванное им у меня чувство. Приводя на память все переходы этого обыденного дела, я постоянно задавал себе вопрос: что бы тут вышло без посредника? «Ничего», — ответят многие вместе со мною; «то же, что и с посредником», — заметят другие; «много ли таких посредников?» — прибавят третьи и т. д.

Я привел факт и предоставляю каждому делать из него какие угодно заключения.

Из деревни (1868)

В настоящее время наша местность только что осчастливлена введением в действие новых судебных учреждений. Подавая голос из деревни, мы не отступаем от принятого нами правила говорить только о том, чему мы лично были свидетелями или что слышали из достоверных уст. Мы могли бы представить множество доказательств того горячего сочувствия, каким у нас встречены новые *порядки* во всех классах населения и преимущественно в крестьянском. Но говорить об этом деле считаем пока несвоевременным. И в солнце есть пятна, и в применении новых законоположений могут встречаться затруднения, но каждый из нас готов бы помириться еще с большими затруднениями такого рода, лишь бы не встречаться с отжившими уже для нас учреждениями, о которых, по пословице: nil nisi bene[5], лучше ничего не говорить.

Слава Богу! Темные времена недосягаемого, в большинстве случаев, на деле правосудия миновали. Тысячи ежедневных приме-

ров до очевидности доказывают, что народные массы нисколько не смотрят на охранительные законы как на условия, стеснительные для национальных инстинктов, обычаев и привычек, и что высказываемые нами когда-то ожидания положительных законов, ограждающих личность и имущество каждого гражданина, нимало не относились к тем фантастическим мечтаниям, в которых жнецы, только наблюдавшие под подвижными навесами за жатвенными машинами, возвращались к роскошному обеду, кончающемуся блестящим балом во дворце из алюминия.

Напротив, наши ожидания сбылись самым положительным и наглядным образом, и нам, несмотря на ежедневное соприкосновение с рабочим людом, еще ни разу не пришлось услыхать ропота на *новые порядки* именно от людей этого класса.

Это одна — светлая сторона современной русской жизни. Будь она единственной — нам бы оставалось молчать и блаженствовать. Но есть другая, темная, завещанная отжившими условиями, которая еще долго будет противодействовать благодетельным

преобразованиям. Над ней-то новым узаконениям и придется показать свои освежительные силы. И вот причина, по которой мы и в настоящее время считаем нелишним представить на суд читателям несколько набросанных с натуры сельских очерков.

I. Наша пресловутая хитрость

Ein Jude betrugt 2 Deutsche,
Ein Antiernier 2 Juden,
Ein Russe 2 Armenier. [6]

Остзейская школьная поговорка

Года за три тому назад мельницу соседа нашего Ш[еншина] снимал крестьянин, который между прочим молол и нашу рожь, по возвышенной в сравнении с другими мельниками цене. По близости его мельницы, приходилось на это обстоятельство смотреть сквозь пальцы, лишь бы избежать обычных на крестьянских мельницах проделок. Мельник Алексей Иванов, с крупными, правильными чертами лица и волнистыми седыми кудрями с изжелта-зеленоватым отливом,

мог бы для живописца, за неимением лучшего, служить типом патриарха. Правда, для этого типа Алексей Иванов слишком приземист и короткошей, а седая борода его не довольно густа. Но главной помехой для этого были бы его глаза. Таких серых глаз допустить у патриарха невозможно. «Каких?» В этом-то и вся трудность сказать: каких? В подобном положении всех счастливее живописец. Лишь бы он видел, какие глаза, а передать, что видит, он не затруднится; а писатель и видит, да ни с места. Есть довольно верная манера передавать выражение человеческого взгляда сравнением его с глазом того или другого животного. Можно ли лучше определить выражение глаз человека, вечно уверяющего вас в дружбе, преданности и т. д., а между тем не решающегося взглянуть на вас прямо, — что у него в глазах что-то сорочье? Но все подобные сравнения, несмотря на их кажущуюся верность, односторонни. Правда, каждое животное кроме выражения, свойственного его роду и виду, имеет, подобно человеческому индивидууму, свою личную физиономию. Но этим все ис-

черпывается, и если, по пословице: глаза — зеркало души, то у животного это зеркало всегда чисто, какого бы рода характер ни выражало. Душа животного, подобно Минерве, выходит в мир во всеоружии необходимого. Молодой перепеленок или жеребенок нисколько не глупее своей матери. Животные не переживают и не наживают той, подчас безобразной чепухи, которую люди называют историей. Вот эта-то личная история и отражается в глазах каждого человека. Если глаза вороны ясно и честно выражают всю подозрительность, алчность и нахальство этой птицы, то мы можем сказать, что мельник Алексей Иванов — с вороньими глазами, но если присмотреться, какую, должно быть, нелепую историю пережила и перемыслила эта ворона, так только руками разведешь.

Все эти наблюдения произведены нами над Алексеем Ивановым, разумеется, невольно, когда нам, по его же милости, пришлось с ним беседовать, и не раз.

В зиму, в которую началось наше знакомство, ему пришлось перемолоть нам до ста четвертей ржи. Как при мельнице нет боль-

ших помещений для хлеба, а подводы посылать туда или обратно порожняками нерасчетливо, то в продолжение зимы посылалось на мельницу с рожью известное число подвод, которые привозили обратно соответственное количество муки. Отпуск ржи и приемка муки каждый раз записывались в книге. Когда на мельнице осталось только пять четвертей ржи, мельник в качестве соседа и человека, добросовестно исполнившего дело, явился просить окончательного расчета, говоря, что и остальные 45 пудов муки готовы, и назначил день, когда мы должны за нею прислать. В назначенный день две подводы поехали на мельницу, но увы! вернулись порожнем, и старший при них рабочий передал слова мельника, что нашей муки там нет, что он, мельник, теперь счелся и что мука наша уже вся получена сполна. Надобно сказать, что рабочие, производившие перевозку, были постоянно одни и те же, а старший между ними Егор был известен своею честностью. Узнав о таком казусе, я послал за мельником. Вот тут-то и пришлось поневоле изучать эту личность в ее подпудренном му-

кою полушубке.

Вес ржи, по нашим правильным весам, был хорошо известен и нам и мельнику, следовательно, и вес муки должен был в свою очередь быть по нашим весам верен. Но Егор, каждый раз принимавший муку весом на мельнице, находил, при проверке нашими весами, на каждом возе от 2 до 3 фунтов недостачи, которая каждый раз записывалась и к концу операции составила дефицит в 5 пудов.

— Как же ты, Алексей Иванов, велел приезжать за мукой, а потом гонишь подводы, говоря, что мука вся получена?

— Это я обчелся, значит. А как сосчитался...

— Прекрасно, что ты сосчитался. Но и мне надо сосчитаться. Тебе говорили, что каждый раз на возах был недовес?

— Говорили, точно говорили.

— Ведь это составляет 5 пудов, а как их приложить к 45, то выходит 50. Если бы недостало только пяти, я бы, пожалуй, и смолчал. Но ты сам хозяин и должен понять: какое же может быть хозяйство там, где только по-

слать на мельницу — то уже 50 пудов нет? Могу ли я такое дело оставить, не разобравши?

— Этого никаким манером оставить нельзя. Может, она у вас, а может, и у меня.

— Ездили ли к тебе подводы порожняками?

— В первой две привезли рожь да порожняком поехали ко двору. А то что-то как будто ни туда, ни оттуда порожняком не ездили.

— И муки более 2 1/2 четвертей на воз не насыпали?

— Нет, не сыпали.

— Так как же, любезный друг, мука-то сама, что ли, прилетела в наш амбар?

— Да вот она у меня — весь отпуск — тут, для памяти, записан.

— Ты разве грамотный?

— Нет, да я цыхвирь помалости для себя...

— Покажи.

На перпендикулярно разграфленной бумажке стояли цифры, и когда я сличал их с домовой книгой, оказалось, что все цифры поставлены верно, несмотря на оригинальную манеру изображения. Где, например, у

меня стояло: 16 декабря получено с мельницы 72 пуда, у Алексея Иванова было изображено: в первой графе — 16, во второй — 70, в третьей — 2. Таким образом 22 декабря 112 пудов изображалось в первой графе 22, во второй — 100, в третьей — 12. Вся разница между двумя записями заключалась в том, что у Алексея Иванова внизу последней поездки стояло 45 без обозначения числа.

— Это они у меня на двери мелом были записаны, так я их теперь и записал. А они, значит, тогда же и взяты.

— Когда тогда же?

— Да вот тут как-то. Либо между эфтими, либо между эфтими числами.

— Кто же брал?

— Да ребята ваши.

Позваны ребята, и доказана невозможность, самовольно, среди белого дня, схватить две подводы и вернуться порожнем. Против такой нелепости общий протест.

— Что же теперь нам делать, Алексей Иванов?

— Да надо всеми мерами узнать, где эта самая мука. У вас видно, куда она идет. Значит,

тогда ее перемерить в вашем закроме.

— Прекрасно. Я так уверен, что муки у меня нет, что обязуюсь заплатить тебе 25 рублей серебром, в случае если у меня окажется лишняя мука. Но кто же будет производить эту работу? Ведь это 10 человек, пожалуй, два дня прокопаются!

— Что ж делать-то, батюшка! Надо же правды-то допытать. Уж прикажите вашим ребятам при мне промерить. Видно, уж грех мой такой вышел.

— Грех-то твой — да работа-то выйдет моя. Нельзя ли хоть отложить работу эту до тех пор, пока мука поизрасходуется? А считать ее и тогда все равно.

— Действительно, батюшко, пообождать.

— А между тем вот расписка, что обязуешься перемерить муку и, в случае недостачи, пополнить 45 пудов. Уж о пяти я не толкую.

Мельник дал расписку, которая была потом засвидетельствована посредником.

В назначенный день, с утра, Алексей Иванов начал с моими рабочими пересыпание из пустого в порожнее и к вечеру объявил,

что муки действительно недостает не 45, а 50 пудов. Давши вторичную расписку додать по условию недостающие 45 пудов, он выпросил дозволение рассчитаться осенью, во время усиленного помолу. Это не помешало ему броситься с протестом к посреднику и там заявить, что так как муки недостает 50 пудов, то туда же, куда ушли 5 пудов моих, ушли и 45 его, мельника, подразумевая под этим, что мука украдена у меня из амбара. Знавший подробности дела, посредник должен был согласиться со справедливым умозаключением Алексея Иванова, но в то же время ни по каким законам не мог освободить должника от уплаты долга только на том основании, что с него не требуют меньшую часть того же долга. Подписки мельника препровождены посредником в стан для взыскания. На этом, как по большей части бывало, дело и остановилось. Время шло, а взыскания нет. Только люди, стоящие в стороне от действительности и лишенные всякого практического смысла, не понимают, до какой степени такой ход дел гибелен для нравственной стороны хозяйства. Ничтожнейший пример торжества

нахальной неправды — заставляет тотчас же эту гидру подымать несколько новых голов.

Желая придать возможно благовидный исход делу, мы постоянно искали к тому удобного случая. Однажды летом нам понадобилось 20 молодых индеек, которым у нас цена от 25 до 30 копеек. В ближайшей округе индейки, как нарочно, задались только у мельничихи, и мы поручили посланному предложить мельнику хоть по 60 коп. за штуку, готовые с радостью променять репутацию бессовестно и безнаказанно ограбленного на репутацию обманутого. На такое предложение посланного Алексей Иванов отвечал: «Вы умеете только считать свое, а индеек я не отдам ниже 2 рублей за штуку». Тут мы вспомнили выражение, подмеченное нами в глазах мельника, и не стали добиваться смысла в его словах. Индейки в тот же день были куплены по 25 коп., а мы не отложили надежды получить следующую нам муку или следующие за нее деньги.

Вспомнив прошлой осенью, что Алексей Иванов должен по условию аренды молоть муку для домашнего потребления Ш[енши-

на], мы спросили соседа, нельзя ли нам променять в его экономии такое количество ржи на муку, помол которой равнялся бы стоимости следуемых нам по расчету с мельника денег? Таким образом, мельник, перемолов снова четвертей 30 ржи, невольно бы с нами рассчитался. Получив согласие Ш[еншина], мы избрали базисом операции уже не мельницу, а амбар самого Ш[еншина]. Когда обмен дошел до последних 45 пудов муки, дело остановилось снова. Мы спросили Ш[еншина] о причине замедления. Передаем, что не без смеху пересказал нам Ш[еншин]. История повторилась в увеличенном виде.

За несколько дней до помолу последней муки нашей мельник явился к Ш[еншину] с вопросом, долго ли ему даром молоть чужую рожь.

— Ты сам знаешь, что еще надо по расчету смолоть пять четвертей, — был ответ.

Когда ключник Ш[еншина] послал за последней мукой нашей, мельник объявил, что он муку уже сдал. Ш[еншин] позвал мельника.

— Сдал ты муку?

— Сдал.

— Кому?

— Ключнику, вместе с вашей.

— Сколько?

— 150 пудов.

— Да мне следовало всего получить с тебя 3 пуда. Откуда же ты взял с лишком 100 пудов?

— Да своя ржица сборная была. Так я... значит...

— Тебе было сказано, чтобы ты не смел мешать чужую рожь с моей. Кто ж тебе позволил так распорядиться?

Явился ключник, и, разумеется, оказалось, что никакой муки лишней никто не видал.

— Это не мое дело. Считайтесь между собою, — сказал обоим Ш[еншин].

Из таких счетов, кроме брани, ничего не могло выйти.

— Ключник! — сказал Ш[еншин]. — Ступай и пошли за градским десятским. — И, обратясь к мельнику, прибавил: — Так как вы сами разобраться не можете, то пусть вас полиция разберет. — Ключник вышел.

— А уж мне позвольте на мельницу, — сказал Алексей Иванов.

— Нет, ты подожди градского десятника и поезжай с ним в стан.

— Помилуйте, зачем же до этого доводить? Уж лучше — пропадай моя рожь.

— Нет, любезный. Ты уже дал мне 150 пудов, да с тебя следует, по моему расчету, 48, - это почти 200 пудов муки, — я этого не хочу.

— Да уж сделайте милость, позвольте, я завтра доставлю 48 пудов. На другой день мы получили нашу муку. А подписка Алексея Иванова, препровожденная в стан, сидит там и по сей день.

Так ли грубо и неуклюже таскают настоящие вороны?

Все это цветики нашей пресловутой национальной хитрости. Случай навел нас на такие ягодки, о которых мы не можем себе отказать в удовольствии поговорить с читателем. Дело, как нарочно, опять происходило на мельнице, но на этот раз уже на водяной крупчатке.

Ниже нашей мельницы, на той же реке, возникла новая крупчатка. Хозяин ее, купец

Обручев, слыл за тонкого знатока этого дела. Желая придать своей возникающей мельнице возможно большую силу, Обручев бумажным путем добивался такого высокого уровня воды, который в действительности каждый раз, как только из письменного слова переходил в очевидное дело, не только затоплял наши колеса, но и прибрежные угодья других владельцев. Какое же, после таких очевидных опытов, могло основаться сомнение в сущности дела, происходящего в глазах специалиста. Что специалист видит наносимое его притязаниями зло, но из своекорыстных целей не обращает на него внимания — понятно; но чтобы подобный человек, можно сказать, ежедневно видел подобное зло и все-таки продолжал искренно в него не верить — это, воля ваша, какая-то магия несообразности. Желая во что бы то ни стало прекратить это несносное дело, мы простирали наши уступки до того, что с принятием предложений собственная мельница наша из здоровой должна превратиться в чахоточную. Все напрасно. Обручеву, очевидно, недостаточно было видеть нашу мельницу в чахотке, ему

хотелось ее смерти. С одной стороны, он не поступался ни вершком из несообразно-возвышенного уровня воды, а с другой — не скупился на клятвенные и даже слезные уверения, что и при таком подъеме он не только не затопит наших колес, но ни в каком случае даже не дойдет до них своею водою. Зная, что одному Моисею при переходе через Красное море, и то на короткое время, дана была власть нарушить вечные законы водяного уровня[6], мы не могли на все эти клятвы смотреть иначе как на самую простодушную уловку вызвать наше согласие. Но постоянно возобновляющиеся уверения противника заставляли нас подумать: нельзя ли повернуть дело другим концом?

— Вы, — обратились мы к Обручеву, — не желаете нас затоплять?

— Ни в каком случае — Боже мой! Боже мой!

— А я, с своей стороны, готов вам все уступить, лишь бы вы не подтопляли моей мельницы. Если ваши желания настолько же искренни, как мои, то нельзя ли нам с общего согласия определить у подножия моей лест-

ницы высшую точку уровня воды, которую вы дадите формальное обязательство ни в каком случае не заливать, а я дам, с своей стороны, обязательство не претендовать, как бы высок затем ни оказался уровень вашего пруда?

— Да, батюшка! я ничего больше не желаю, я только ищу, чтобы было справедливо.

— Как и я не добиваюсь ничего другого, то нам остается определить исходную точку и при свидетелях на этом основании составить мировую.

Сказано — сделано. В мировом акте с общего согласия исходным пунктом операции назначена печать на столбе под колесами нашей мельницы, отстоящая по перпендикуляру на 5 аршин 5 вершков от печати столба, стоящего выше наших колес. Этот верхний столб с печатью незыблемо утвержден на берегу при закладке мельницы и признан законным актом, объявившим 5 аршин и 5 вершков свободного пространства от него вниз неотъемлемой собственностью нашей мельницы. Хотя нижний столб самым правильным образом поставлен был инженером

по возникновении процесса, но, в сущности, он не изменял дела, будучи только видимым знаком нижнего конца перпендикуляра в 5 аршин 5 вершков, исходной точкой которому должна быть печать верхнего столба.

Невелика мудрость от неподвижного потолка комнаты отмерить к низу по стене 5 аршин 5 вершков и поставить на отмеренном месте знак. Таким-то видимым знаком и была печать на нижнем столбе, принятая обеими мирящимися сторонами за исходный пункт операции. Обоюдное соглашение наше уже закреплено законным актом, которого изменить уже ни та, ни другая сторона не имела права. Дело было покончено de jure, оставалось кончить его de facto, то есть поднять воду до условного знака и затем отметить подъем ее на нижнем конце пруда, то есть на мельнице Обручева, отстоящей от нашей почти на 9 верст.

Разумеется, чем ниже был избран исходный пункт операции, тем безопасней был бы для нас, и наоборот, чем этот пункт был бы выше, тем выгоднее было бы для нашего противника. В настоящее время такие соображе-

ния оказывались неуместными. Возможно ли признать известный пункт исходным и затем сомневаться в его законности? Никто не мог помешать мирящимся избрать любой другой пункт, например корень растущего дерева, случайный знак на строении, исходным. Отвергать однажды избранный знак можно, только приведя доказательства, что он передвинут со времени заключения условия. Против всего здесь сказанного здравый смысл возражать не может, но не так бывает у нас в жизни. Заметим для незнакомых с делом, что столбы с казенными печатями выбираются прочные и забиваются насколько возможно глубоко в грунт, причем на верхний конец, чтобы он от ударов не разбивался и не плющился, надевается железный обруч. Когда столб таким образом добит насколько нужно, железный обруч снимают и верхний конец заостряют. Ясно, что после этого малейшая, и, разумеется, безуспешная, попытка забить столб глубже — окончательно уничтожит верхнее острие. Накануне практического осуществления акта, при осмотре нашей мельницы в присутствии официальных лиц и че-

ловек 25 посторонних свидетелей, арендатор нашей мельницы обратил внимание присутствующих на столб, назначенный быть исходным пунктом, и указал на небольшую язвину на самом его острие, прося убедиться, что она — следствие загнившей сердцевины дерева. По общему приглашению, Обручев приказал находившемуся тут же старшему своему крупчатнику осмотреть язвину. Крупчатник, воткнув при всех в загнившую сердцевину железный аршин вершка на три, объявил, что макушка не тронута, а явно загнила и весьма мало лишилась остроконечного вида. С этим публично согласился и наш противник. Дело оставлено до следующего дня.

Но — утро вечера мудренее, и, вероятно, оно-то внушило Обручеву сомнение насчет чуда, вследствие которого вода, стоящая на одном конце бассейна на низком уровне, вдруг на вечные времена, без всяких побудительных причин, образует высокую гору на другом конце того же бассейна. Вслед за таким сомнением явились всевозможные белыми нитками шитые уловки, чтобы как-нибудь сделать исполнение условий акта невоз-

можным, а если этого нельзя, то, по крайней мере, исказить его.

Избавляем читателя от подробного описания всех куриозов, остановясь на главном — невероятном. На следующее утро Обручев объявил сомнение насчет положения условного знака, стал, вопреки общему голосу, требовать проверки расстояния по отвесу нижнего столба от верхнего. Как ни старались ему доказать, что такая проверка, с одной стороны, противоречит главному основанию мировой, а с другой, требуя нивелировки, приведет к перепроверке простым ватерпасом того, что добросовестно сделано техническим инструментом, — ничто не помогало. Делать нечего: в угоду такой причуды ватерпас пошел шагать по кольям, и к вечеру оказалось — увы! — что 5 аршин 5 вершков умещаются не от верхней печати до нижней, а от верхней печати до поверхности воды, стоящей на этот раз на 2 вершка ниже печати нижнего столба.

— Вот извольте видеть теперь, господа! — восклицает Обручев. — Что я недаром утруждал вас. Вот и нашлись моих 2 вершка. Те-

перь, значит, надо потянуть столб из земли на два вершка, тогда и будет настоящая *исправедливость.*

— Как же это вы, г. Обручев, измерив сами, что от печати до печати не выходит 5 аршин 5 вершков, а всего 5 аршин 3 вершка, хотите исправить дело, сблизив печати между собою еще на два вершка? Тогда, по-нашему, между ними будут уже не законные 5 аршин 5 вершков, а только 5 аршин 1 вершок. По здравому смыслу следовало бы, приняв в уважение вашу собственную проверку, которой мы с своей стороны не сделаем, отодвинуть нижнюю печать от верхней на 2 вершка, т. е. углубить нижний столб на такую меру.

— Господи Боже мой! Да как же это! Нада потянуть на 2 вершка, а вы изволите говорить — забить! где же тут исправедливость? — и т. д.

Напрасно старались мы образумить нашего противника следующим примером. Я купил в лавке 5 аршин 5 вершков сукна. В отрезанном для меня куске оказалось только 5 аршин 3 вершка. Должно ли, исправляя неверность, прибавить мне из лавки 2 вершка или

отрезать их от моего же и без того неполного куска? Ничто не помогало. Заведомо ловкий специалист продолжал несколько часов кряду восклицать на все возможные тоны и, удивительнее всего, от чистого сердца. Только на другой день, размыслив на свободе или вразумленный близкими людьми, он даже неохотно отвечал на вопросы: убедился ли он во вчерашней своей ошибке?

Помилуйте! Господи! готовы мы воскликнуть в свою очередь, — вероятно ли, чтобы взрослые люди, не под влиянием кошмара, а наяву, в продолжение нескольких часов серьозно занимались решением такого головоломного вопроса? Но злой судьбе угодно было протянуть эту нелепую кукольную комедию за пределы всякого смешного. Когда нам вдвоем с исполнителем мирового акта, после двухчасовой мучительной болтовни под палящим солнцем, удалось наконец убедить 50 человек мельников, сторонних и сведущих людей в очевидной несообразности требования Обручева, — в официальном лагере, к нашему отчаянию, поднялся голос человека, кончившего курс в высшем учебном заведе-

нии, голос, выражавший мучительное сомнение насчет того: следует ли опустить или вытянуть столб?.. И опять все доказательства снова. Дело дошло до того, что уже 50 человек хохочут, когда им только намекнут о сомнении в подобном вопросе. А питомец высшего учебного заведения, даже по уходе с места битвы, даже за вечерним чаем, все еще томился роковым вопросом. Впрочем, надо отдать ему справедливость, когда на другое утро его озарила истина, он один не мог простить Обручеву его вчерашней несообразительности и беспощадно трунил над ним по этому случаю, когда другие молчали. Долго после того нашу память терзал безотвязный стих:

Науки юношей питают.

II. Бедные люди

Однажды в конце ноября мы сидели за утренним чаем у знакомого нам помещика, давно пользующегося заслуженной известностью отличного агронома. Еще в крепостной период крестьяне пользовались у него заметным благосостоянием, и он один из первых сумел окончательно разойтись с ними по обоюдному соглашению, а сам завести вольнонаемный труд в весьма значительных размерах. Это новое хозяйство, по разумности приемов и удовлетворительности результатов, может вполне быть названо образцовым. За чаем прислуживал давно знакомый нам Иван.

Зашла как-то речь о нравственной силе примитивных людей.

— Вы не помните, — спросил нас хозяин, — деда нашего Ивана? Такой высокий, здоровый и добрый старик. Он еще в прошлом году приходил поздравить нас с праздником. Умный и дельный был мужик. Лет ему уже было под 90, но он все время был здо-

ров и бодр.

Мы отвечали, что решительно не знаем или, лучше сказать, не помним ни деда, ни матери Ивана — дочери этого старика.

— Вы можете расспросить самого Ивана и его домашних о смерти старика, последовавшей нынешней зимою. За два дня до смерти, будучи в полном сознании и без всяких признаков болезни, он отребовал священника, попросил особороваться. По совершении обряда старик два дня был на ногах. Вы знаете, что дворовые обедают рано — в 12 часов, т. е. именно когда у нас подают завтрак; поэтому Иван, убравшись в буфете, уходит домой и обедает после всех своих домашних один. В роковой день Иван, по обычаю садясь за накрытый для него матерью стол, нашел старика деда стоящим у печки. Проголодался ли особенно на этот раз Иван или это так казалось деду, но последний стал приставать к внуку за долгий процесс обеда... «Что это все есть да есть? Можно ли так долго есть? Да когда же ты кончишь обед? Степанида, да скажи сыну-то, что стыдно так долго есть!» Когда Иван кончил обед, а Степанида убрала со сто-

ла, старик потребовал, чтобы его одели в чистое белье и положили на стол. Едва успели в точности исполнить волю старика, как он стал отходить. Тогда объяснилось неудовольствие покойника на продолжительность обеда. Он хотел, чтобы ему в последний раз очистили место на единственном столе, находящемся в распоряжении семьи. Кто бы не пожелал так же просто и спокойно отнестись к неизбежной смерти? Пока мы рассуждали на эту тему, Иван доложил о приходе мужика.

— Что ему надо? — спросил хозяин.

— Пришел хлеба просить, — был ответ.

— Как! — обратились мы к хозяину. — Возможно ли, чтобы ваш крестьянин уже нуждался в хлебе в ноябре такого урожайного года, когда рожь почти нипочем?

— Их теперь, — отвечал хозяин, — много таких развелось. Даешь им, потому что по старой памяти как-то совестно отказать своему мужику. Ну и даешь, будто бы за то, что он зимою будет ходить на работы. А какая от него польза, какой он работник? Он приходит в 10 часов утра, а в сумерках уже уходит домой. Надел у нас небольшой, по полторы

десятины на душу. Пока они владели землею по дворам — жили хорошо. Один брат около земли хлопочет, а другой на стороне промышляет; хоть бы у меня стоя в работниках, он и хлеба-то дома не ест, да еще и домой деньги несет. Вот им было и легко. А теперь они все помешались на дележах. Бабы поссорятся за горшки — и семья требует раздела. Эта мания доходит до того, что в иных местах семейства, не будучи в силах построить нового помещения, разгораживают старые избы плетнем на две половины и прорубают новую дверь в глухой стене. Вот и сядет такой отделившийся с женою да дочерьми на 1/2 десятинки в клину. Оторваться ему от дому нельзя. Хоть у него одна лошадь, да жеребенок, да телка и несколько овец, а ведь все это требует утром и вечером ухода: какой же он работник на стороне? Если что и родилось — надо отдать повинности, купить соли и т. д. — поневоле продашь, а там и делай что хочешь.

Мы вспомнили этот разговор по поводу единственного истинно бедного крестьянского семейства, которое случаю угодно было по-

казать нам во всей его беспомощности.

Запрошлой осенью, при заключении мировой по делу мельницы, частыми переездами по нескольку раз в день с одной мельницы на другую нам до того пришлось загонять единственную, бывшую в нашем распоряжении четверку лошадей, что надо было пользоваться каждым удобным случаем сократить для них эти двадцативерстные перебежки. Приглашенный с общего нашего с Обручевым согласия и проработавший целый день на ближайшей от себя мельнице посредник должен был на следующее утро с такою же целию ехать на мельницу нашего противника, где необходимо было и наше присутствие. Не желая никого задерживать медленностию, посредник обещал прибыть на место в 9 часов утра. Ему приходилось ехать по большой почтовой дороге, а как деревня государственных крестьян на этой дороге отстоит от нашей мельницы версты на полторы, то мы и упросили посредника свозить нас на своих могучих лошадях туда и обратно, обещая в известное время подождать его на большой дороге. Не желая, в свою очередь, заставить

посредника дожидаться, мы к 8 часам утра выехали на улицу деревни и отпустили лошадей.

Утро было морозное. Растолченная вдоль деревни домашним скотом большая дорога застыла колчами. Резкий ветер так и низал насквозь. На улице не было ни души, и даже собаки куда-то попрятались, несмотря на грохот только что отъехавшего по мерзлой земле экипажа. Но нельзя было полагаться на их миролюбие чужому человеку, оставшемуся одному посреди улицы, даже без палки. Я стал искать глазами кого-нибудь и наконец за разломанным плетнем увидал небольшого роста крестьянина в черной, на самые глаза надвинутой шапке. На мое приветствие крестьянин, кряхтя, приподнял обеими руками шапку и, болезненно простонав: «Мочи нет, голову разломило!», снова обеими руками натянул ее на самые брови. Длинный, острый нос, черные глаза и черные как смоль волосы, при жидкой бороде крестьянина, явно указывали на его восточное происхождение. Однодворцы — большею частию потомки старых дворянских фамилий, происходивших от

татар. Замечательно, что выходцы-родоначальники передали свой красивый тип до позднейшего потомства одним мужчинам, тогда как белокурые женщины сохранили свой местный и — надо сказать правду — весьма некрасивый тип.

— Чего ж ты тут на ветру стоишь больной? — спросил я крестьянина.

— Да вот, вывел сюда хоботьица дать животам, — отвечал крестьянин, указывая на пару тощих лошадей, у которых особенно неразвита была упоминаемая хозяином часть тела. Лошади были явно подорваны и, дрожа всем телом на холодном ветре, жадно ели корм.

— Корм хорошо едят, а лошади-то твои худы.

— И, и! Лошадь была! — воскликнул мужик, любовно ударяя гнедого мерина по тощему крупу. — Добро милое была, да вот что-то с ней поделалось и тела не стала брать. Вот и теперь вывел нарочно со двора да посыпал мякину-то, чтобы там овчонки да коровенка их не обидели. Ведь солю им, ей-Богу, — наблюдаю, а нету тела! Да и голова меня

эта доняла, ото всего отбила. Вон! — крестьянин указал на несколько борозд картофеля с воткнутою в землю сохою. — Надо бы картошку допахать, да не стану; пропади она пропастью!.. — При этих словах он болезненно закряхтел и начал обеими руками еще ниже натаскивать на голову шапку.

— Ну, брат, если ты сегодня не выпашешь остального картофеля, то он, пожалуй, так в земле и останется. Ты видишь, земля начинает застывать.

— Что ж, когда мочи моей нет. Я, должно быть, ее застудил, голову-то, — это вот тут в самую мятель суседа хоронили. Я семь верст без шапки до церкви-то прошел, да знать ее, голову-то, и настудил.

— Знаю я, брат, ваши порядки. Вы глаза-то нальете, а там вам и море по колено.

— Како, глаза-то? Оно точно, батюшка, ваша правда. Поднес это он мне три стаканчика, и шел я будто тепло, а ее-то, видно, и настудил.

— Что ж мы теперь-то с тобою стоим на ветру?

— Точно, что студено здесь стоять-то, пожалуйте в хату. Прошедши грязные сени, я отворил низкую дверь избы и должен был согнуться, чтобы переступить через порог. И на охоте, и во время кочевой военной службы мне привелось перебывать от хаты крестьянина-молдавана и спиртуозного помещения польского еврея-голяка до замечательно неопрятных хижин прибалтийских чухонцев; поэтому крестьянская изба для меня явление нисколько не новое. Зная по опыту, что чистота у нас один из самых дорогих предметов роскоши, я мало ожидаю ее от людей, у которых все время поглощено заботами о необходимом. Но на этот раз только нежелание оскорбить хозяев заставило меня войти в избу и поклониться сидевшей под окном за шерстяным чулком хозяйке. Трудно передать колючую остроту поразивших меня миазмов! Садясь у самой двери крошечной избы на лавку, я поспешно достал и закурил сигару, но и это средство не помогало. Я решился пробыть в избе несколько минут и придумать безобидное для хозяев отступление. «Стюдено», — дико прошептала совер-

шенно охрипшая хозяйка, не отрывая глаз от чулка, который вязала. Боже мой! какое несчастное существо была эта женщина, по-видимому, лет 40 от роду. Это была при последних днях беременности, простуженная Юлия Пастрана кавказской породы без бороды. У единственного небольшого стола две ножки рядом отгнили по нижнюю перекладину, поэтому семейство должно было обедать на наклонной плоскости, которую представлял стол. Под этим же столом валялись миски с недолизанными, замешенными для теленка отрубями. Все это давно прокисло и отчасти объясняло удушливую атмосферу жилища. На приземистой печке в длинных и грязных рубахах копошились девочки, одна другой меньше и безобразнее. Сам хозяин не садился, а как-то конфузливо топтался посреди избы, стараясь по временам еще глубже натянуть на голову шапку и приговаривая: «Застудил ее это на похоронах, видно».

— Все так-то, — с озлоблением прошипела жена. — Люди кто полотенцем, кто тряпкой подвязали уши, а ты так.

— Точно, что поднес он мне три стаканчика...

— Много ли у вас земли-то на душу?

— По одной десятинке всего.

— Что ж, навозите вы ее?

— Конопляники-то нешто. А в поле кто ее навозит? Жеребий у нас. Так она это пресная и живет.

— А много ли у вас работников в семье?

— Да вот все тут, — прошипела жена, отчаянно махнув вокруг себя вязаньем. — Что ж ты нейдешь картошку-то пахать? — сердито обратилась она к мужу. — Глянь-ка на печку-то — сколько их. А ведь они есть просят.

— Не пойду, — решительно отвечал мужик, обеими руками натягивая шапку на голову.

Присоединив свой голос к убеждениям жены, я успел склонить крестьянина допахать картофель. Ему поэтому надо было идти запрягать лошадь, а я воспользовался случаем вырваться на свежий воздух. Улица уже успела оживиться. Мальчишки старались гнать лошадей в поле, но лошади, пробежав несколько шагов, поворачивали назад и со

всех ног неслись ко дворам. К брани и крикам мальчишек присоединялся лай собак. Экипажа посредника все еще не было видно, и я решился от скуки идти к нему навстречу, взяв в провожатые от собак какого-нибудь мальчика. Скоро у меня явилось два таких провожатых, и когда мы с ними стали выходить за деревню, у нас уже завязался разговор. Не приводя его содержания, скажем только, что в первый раз мы услыхали слово *пазубник* вместо лесная земляника, и слово это нам понравилось. Наконец вдали на пригорке показался экипаж посредника. Юные спутники, в которых уже не было надобности, получив по грошу, ушли, довольные судьбой. Желая как можно скорее сесть в экипаж, я пошел к нему навстречу. Только тут весь образ только что виденной мною бедности представился мне во всей своей беспомощности, со всеми очевидными причинами такого явления. Вот, подумал я, та стена, в которую упрется общинное владение землей, но в ту же минуту меня поразила другая мысль: Боже мой, неужели я до такой степени литератор, что за наблюдениями да сооб-

ражениями потерял всякую способность действовать! Эта несчастная белая Юлия Пастрана должна на днях разрешиться от бремени при таких условиях, где малейшая денежная помощь значительно облегчит ее участь.

— Извините, — сказал подъехавший посредник, — опоздал, задержали, нам надо торопиться... — Тем не менее я упросил посредника остановиться на минуту около знакомой мне избы. Я инстинктивно побежал не в избу, а на огород, и не ошибся: натянутая на брови шапка подпахивала картофель, а простуженная вязальщица, несмотря на свое положение, согнувшись, подбирала плоды в коробку.

III. Цыгане

Лет пять тому назад лесами Калужской губернии возвращались мы с приятелем в половине июля с тетеревиной охоты. Кто не способен самобытно подмечать и вкушать красоты природы, а между тем желал бы понять всю прелесть русских сосновых лесов, с их пустынно строгим видом, раздражительным смолянистым ароматом, тишиной, вызывающей на раздумье, и какою-то замогильной тайной, тому советуем перечесть мастерской рассказ Тургенева «Лес и степь». Кому и это не поможет, тому остается видеть в сосновых лесах залог будущих дров. Во всю станцию нам приходилось ехать почти сплошным лесом, изредка перерываемым большими полянами, заросшими молодым березником, ивняком да живописно изуродованными дикими яблонями и грушами. По этим более открытым и черноземным местам можно было ехать резвее, но, как только дорога снова уходила под густой навес сосен и елей, духота становилась невыносима, и добрая трой-

ка шагом тащила легкий охотничий тарантас. В одном месте лес перерезает неширокая долина, оставленная весенним разливом безымянной речки. Несмотря на слабое во время летних жаров течение своих из-под вековых корней пробирающихся студеных вод, речка эта то извивалась по дну оврага, то раскидывалась небольшими озерцами, совершенно изменяя своею живительною влагою однообразно-строгий вид полесья. Место это давно памятно нам по своей самобытной красоте. На пути в полесье приходится спускаться к нему по широкой, извилистой и сумрачной сосновой аллее, и некрутой спуск этот посреди какой-то торжественности сводит вас по белому рассыпчатому песку к сочно зеленеющей долине. Зато на обратном пути из полесья, к плохому мостику, перекинутому через речку, приходится довольно круто спускаться по безыскусственной дороге, проложенной по оврагу, образованному вешними водами. Справа и слева обнаженные корни, как пальцы гигантов, впиваются в глинистый грунт, из которого то там, то сям пробивают ключи. Все это живописно, но ехать по

неровной дороге, местами разгрязненной и перепутанной обнаженными корнями, очень неприятно. Зато вид, открывающийся при спуске с этого природного амфитеатра, прелестен и оригинален.

— Ведь вот, — заметил мой товарищ, как бы отвечая на занимавшую меня мысль, — нарисуй художник все, что мы видим с вами в настоящую минуту с этого пригорка, скажут: изысканно придумано для эффекта, — а перед нами самый обыкновенный лесной ландшафт. Тем не менее в нем есть что-то театральное и декоративное. Из-за строгой темной рамки соснового бора еще жарче кажется безоблачное небо, освещающее картину. Посмотрите, как живописен на первом плане этот гнилой мостик, на котором одна из наших пристяжных, пожалуй, провалится. Как хороши направо от него эти извивы речки, а налево озеро с ярко-зеленым и широколиственным камышом. Все ярко и зелено, но через несколько сажен эта отрадная яркость переходит в ослепительную белизну сыпучих песков, как бы нарочно для того, чтобы мало-помалу меркнуть под темными сводами

гигантской аллеи и при крутом ее повороте окончательно померкнуть. Право, недостает, чтобы из этого поворота показался хор друидов или иной фантастический кортеж, — мы могли бы забыть, что мы в лесу, а не на театре.

Когда тарантас застучал по мосту, стая диких уток с криком поднялась из камышей и закрутилась над долиной. Предсказание моего товарища не сбылось: ни одна лошадь, слава Богу, не провалилась; зато фантазия его осуществилась вполне. Не успели мы очнуться от сильного толчка последней мостовины, как из сумрака лежащей перед нами просеки, точно из-за кулис, показался громоздкий воз парою и стал понемногу подвигаться к нам навстречу, подаваясь с каждым шагом все более и более вперед на освещенный солнцем песок. Следом за ним показалась еще подвода, третья, четвертая — словом, целый кортеж. На ворохах всякого рода пожитков сидели женщины в живописно перекинутых через плечо шалях, между которыми преобладал красный цвет. Черные локоны, вырываясь с дикою силой из-под пестрых платков,

повязанных какими-то причудливыми тюрбанами, придавали женским лицам на известном расстоянии какую-то матовую бледность и мягкость. Изо всего этого выцветали черные большие глаза, под бровями изящнейшего рисунка.

— Цыгане! цыгане! — воскликнули мы оба в одно время. — Какое оригинальное, красивое племя, — заметил мой спутник. — Ведь вот теперь вблизи черты лиц этих женщин, как у большей части дочерей юга, оказываются грубоваты, но напрасно наши европейские женщины стараются искусственным образом воспроизвести эту матовую пушистость кожи, которая никогда не достигается в новейших мраморах и так очаровательна в антиках.

— Странное дело, — заметил я в свою очередь, — что у нас, где цыгане еще вполне сохранили свой оригинальный тип и где поэтическая их сторона возбуждает так много сочувствия, ни один писатель, ни один живописец не воспользовался неисчерпаемым богатством этого загадочного, исполненного самых вопиющих противоречий типа?

— А Пушкин?

— Вы правы. В его мастерской поэме даже все несообразности типа намечены довольно верно, но целое слишком идеально. Мне бы хотелось встретить в искусстве не цыган, повествующих об Овидии, а просто вот этих самых, которые для художника клад, но, надо сказать правду, клад, трудно дающийся в руки. Вы знаете мое благоговение перед Пушкиным, но amicus Plato, sed magis[7] и т. д., и, мне кажется, художнику надо подъехать к цыганам с другого конца. По-моему, тон небольшого стихотворения Полежаева «Цыганка» — ближе к правде. Как красив и в сущности верен, например, куплет:

Под узлами бедной шали
Ты не скроешь от меня
Ненавистницу печали,
Друга радостного дня.

Въехав в сыпучий песок просеки, мы должны были подвигаться шагом. За последнею миновавшею нас цыганскою телегой бежало двое или трое кудрявых и полунагих цыганят. Разумеется, что, поравнявшись с та-

рантасом, они повернули к нам и стали бойко заглядывать в лицо, прося милостыни своими звонкими, свежими голосами, подернутыми тем же легким матом, которым отливали их загорелые детские щеки. Один из детей, мальчик лет девяти, в последних лохмотьях рубашки, до того поражал своею цветущею красотой, что при нем на других нельзя было обратить внимания. Весь бронзовый и стройный, как неаполитанский Меркурий, он скорее летел, чем шел, так легки и огненны были его малейшие движения. Что за головка! что за глаза! Товарищ мой достал мелкую монету и передал ее мне, так как мальчик бежал с моей стороны. Не успела еще брошенная мною монета упасть на песок, как мальчик одним движением успел уже, с энергически раскинутыми руками, на мгновение застыть перед нами, как это делают балетщики, кончив трудный пируэт. Надо было видеть оживленную позу мальчика, веселье, каким разгорелись его глаза и лицо, чтобы никогда уже не забыть этого момента. *«Барин! поплясать?!!»* Было что-то убедительное в этом вопросе. Я взглянул на подателя милостыни.

«Не надо», — как-то робко сорвалось у него с языка. Цыганенок опустил раскинутые руки, и кожаный верх движущегося экипажа закрыл от нас его прелестный образ.

— Что? Каков? — спросил я товарища.

— Да, батюшка, прелесть! Вот бы где, между прочим, нашим художникам поискать бессмертия. Но такой воплощенный огонь поддавался одной кисти Мурильо. Вспомните в Лувре его мальчика, сидящего с обращенными к зрителю подошвами.

— А вы зачем лишили меня удовольствия видеть его пляску? Я понял, что вы хотели дать, а не променять ваш пятиалтынный. Но, во-первых, цыганенку в голову не придет подобная тонкость, а во-вторых, неужели, по вашему мнению, право плясать за деньги должно оставаться за одними богатыми корифеями? А жаль! отхватал бы такое болеро, что не только мы с вами в тарантасе, а и сам бородатый Влас на козлах пустился бы в пляс.

— Действительно, теперь и мне жаль, зачем я отказался. А ведь пробовали брать таких с виду гениальных цыганят и воспитывать по-европейски — ничего не выходит.

Только убежденный горьким опытом в дороговизне земляных работ и непрочности канав на черноземе поймет, почему иногда, видя человека, вопреки всем правам собственности лезущего через канаву и обсыпающего ее вал, припоминаешь Ромула, не пощадившего за подобную проделку и брата. Тем не менее не раз нам доводилось видать целые толпы цыган, появившихся в саду, куда они не могли попасть иначе как через внове выкопанные канавы. Бесцеремонные гости на вопрос об избранном ими пути развязно отвечали, что они курские купцы и имеют дозволение везде разъезжать. На такие аргументы приходилось объявлять им, чтобы они ходили там, где общество имеет право им это разрешать, а что по моим канавам ходить я никакому обществу не позволяю. Дозволить цыганам таскаться по усадьбе — значит наверное быть обокраденным. Кочевая жизнь вымуштровала их до совершенства. У цыгана всегда с собою аркан, чтобы при случае захватить вязанку дров или соломы, а под длинными шалями женщин приспособлены такие карманы и мешки, что в них в мгновение ока

погружаются индейки, гуси, даже ягнята. Ходят цыгане безустанно и споро, а украсть у русского даже не считают молодечеством, а самым обыкновенным промыслом. Попробуйте после проливных дождей развести сырыми дровами огонь среди поля. Цыганам это нипочем. Возвращаясь через час к месту, где ничего не было, вы находите целый ряд шатров под проливным дождем, с семействами, расположенными вокруг дымящихся котлов. Единственная цель цыган — добыча. Они великие физиономисты и ловко попадают в тон лица, к которому обращаются. Как люди практические, они не самолюбивы и не настойчивы: не удалось напугать, озадачить, цыган начинает просить, умолять; почуяв погоню, он тотчас же бросает похищенную вещь, зная по опыту, что мужик хлопочет из-за украденных гусей, а не из-за отвлеченной идеи общественной безопасности. Если же и этот расчет случайно окажется неверным, т. е. заметившие покражу мужики пустятся верхами в погоню за табором, прихватив с собою кто кол, кто оглобли, то цыган, недосчитавшись одного или двух ребер, никого не бу-

дет беспокоить жалобой из-за такой безделицы.

Какой русский не знает, что такое метель, как важно в подобном случае какое-нибудь дерево на беспредметной степи и как трудно у нас посадить и уберечь его. По полутораверстному проселку с большой дороги до усадьбы одного из наших ближайших соседей насажено на днях более 200 ракит — и мы случайно узнали, что эта плантация заводится уже в третий раз. Какая ожидает ее судьба теперь? Увидим. Но из 500 прежних уцелела, и то до половины ободранная, одна, которая спасла пишущего эти строки от катастрофы в одну из метелей. Понятно, до какой степени мы, степняки, дорожим скудными остатками великолепных придорожных ракит, взращенных только при помощи минувшего энергического за ними надзора. Больно видеть, как беспощадны руки распущенного произвола. Для удовлетворения ничтожной потребности или даже прихоти сдирают кожу с могучего дерева, губя единовременно результат ухода нескольких поколений и избавителей грядущих. Прощайте, честные старо-

жилы! Если мировые судьи не взглянут милосердным оком на ваши честные раны — ничто не спасет вас от окончательной гибели.

Прошлым летом я в шарабане пробирался по нашему проселку на большую дорогу. Занятый движениями лошади, я ничего не замечал, пока молодое животное, насторожив уши, не остановилось, видимо не желая идти далее. Только тогда я увидал на большой дороге целый ряд цыганских шатров, из которых крайний белел как раз под ракитою, обозначающею наш поворот.

— Вы зачем все тут дерете ракитки? — спросил я цыган, разместившихся вокруг огня, против свежеоблупленной стороны дерева. У корней несчастной ракиты лежал топор и перья только что ощипанного некупленного гуся.

— Мы не понимаем, что вы говорите, — отвечали цыганки, размахивая руками, как на театре. — Кому вы говорите? Нам? Да помилуй нас Бог! да чтобы мы...

Молодая лошадь, соскучась, вероятно, и громким текстом, и оживленными жестами комедии, подхватила, и мне удалось остано-

вить ее, только когда цыгане далеко остались за нами.

На другой день мы с приятелем должны были ехать верст за сорок по большой дороге, и я выслал кучера на подставу. Запрягая нам в коляску своих отдохнувших лошадей, кучер со смехом рассказал, как с вечера, когда он ехал на подставу, крестьяне гнались за цыганами и как последние, заметив погоню, выпустили на дорогу украденную овцу с ягненком. «А сегодня, — продолжал кучер, — часа за два до вашего приезда, и в этой деревне была свалка. Украли они у мужика колесо. Тот хватился, позвал соседей, и бросились догонять. Колесо-то отняли, да, должно быть, и в бока-то им наложили. Били здорово!»

Верстах в семи от подставы мы нагнали цыган, уже расположившихся станом на пригорке небольшой зеленой изложины. На этот раз вокруг шатров валялись куриные перья, а толпа играющих цыганят буквально оправдывала стихи:

Младенцы смуглые, нагие
В беспечной резвости шумят.

На многих решительно не было одежды.

Какие прелестные дети! При нашем приближении вся их ватага обступила коляску, с заученной интонацией выпрашивая милостыню. Зная, что цыгану свойственнее плясать, чем хныкать, я достал мелкую монету и крикнул: плясать! Все глаза мгновенно загорелись весельем, и под такт собственной, характерной песни все закружилось и разошлось энергическими телодвижениями. Монета упала на дорогу, и на нее навалилась груда ребяческих тел.

Если в настоящее время закон справедливо запрещает ту доморощенную расправу, к которой крестьяне в былые времена прибегали по отношению к непрошеным соседям-кочевникам, то можно думать, что он, с другой стороны, оградит мирных граждан от подобного внезапного соседства. Всем известно, что из 10 совершенных краж — слава Богу, если вовремя замечено и открыто три.

IV. Уголок западной тесноты

Нередко в только что миновавшее для нас, так называемое переходное время доводилось нам встречаться с громкими фразами о широте русской натуры, неспособной будто бы уживаться с строгою, определенною законностью. О таких мнимых качествах нашего народа говорилось не с сожалением, а, напротив, с похвальбой. Любители славянской шири забывали, что широта почти всегда проявляется на счет глубины. По узенькому Одеру безопасно ходят большие пароходы, а по широкому раздолью Волги они то и дело натыкаются на мели. Мы привыкли разом пахать по 500 и более десятин в клину, но пашем их на вершок глубины, и когда обстоятельства заставляют пахать всего 50 десятин, то вершковая пахота нас сажает на мель.

Но оставим все это и заглянем в крошечный уголок той западной тесноты, где человек не может шагу ступить, не наткнувшись на какой-либо закон. Давно ли, подумаем, мы так заносчиво толковали о бессилии и бедно-

сти Запада. Теперь «шапками закидаем» умолкло, а люди со средствами опрометью бегут от мнимого богатства в страны бедняков, чтобы как-нибудь удовлетворить своим потребностям. Пока мы хвастали, мнимые бедняки успели при помощи незыблемых законов запастись всеми удобствами жизни. Опираясь на строгие учреждения, они сумели, например, удержать старые и развести новые леса в густо населенных местах, сохранив в то же время всякого рода дичину в страшном изобилии. Между тем как мы, отдавшись плоской ширине нашей жизни, до того успели оголить почти безлюдные пустыни, что под конец сами ужаснулись возможных результатов такого образа действий. Мы вечно забываем свою же пословицу: «Любишь кататься, люби саночки возить». А уж куда как любит кататься широкая русская натура.

Несколько лет тому назад, поздней осенью, знакомый нам на Рейне обер-форстмейстер приглашает нас на охоту за зайцами, объявляя, впрочем, что нам придется охотиться по местам, уже опустошенным пред-

шествовавшими радикальными охотами. Зная, что на языке немецкого охотника слово *опустошенный* представляет картину гораздо заманчивее, чем наше *«видимо-невидимо»*, мы с удовольствием приняли предложение.

С утра довольно холодного дня мы с оберфорстмейстером запаслись всем необходимым, уселись в крытые дрожки и отправились из города в деревню, где назначен был сборный пункт всем остальным охотникам. Дорогой, переходя от одного предмета к другому, разговор коснулся отношений моего собеседника к лесовладельцам и приходящим с ними в соприкосновение крестьянам. Неужели, спросили мы, в вашей счастливой стороне никогда не бывает неприятных столкновений между лесовладельцами и окрестными жителями, а вследствие того ропоту на вас как на официальное лицо?

— Как не быть столкновений! Но у нас на все строго определенный закон. Что же касается до ропота, то он, не имея никакого смысла и основания, — невозможен. Наш крестьянин скорее поверит всему, чему угодно, чем заподозрит мое решение в пристрастии, как

бы оно в сущности ему ни было неприятно.

Приехав на место за четверть часа до назначенного времени, мы не успели еще расположиться в чистой комнате крестьянского дома, как один за другим стали прибывать наши будущие товарищи охоты. За некоторыми следовали легавые собаки. «Что это? — подумали мы. — Легавые собаки на зайцев?» Когда охотники собрались, обер-форстмейстер в качестве хозяина охоты пригласил всех следовать за ним, а сам отдал егерю какое-то приказание. Пройдя чистым полем версты полторы или две по старому жнивью, мы вышли на дорогу, усаженную яблонями на довольно значительных одна от другой расстояниях. Тут хозяин охоты повел нас по дороге, приглашая каждого в свою очередь остановиться под указанным ему деревом. Когда очередь дошла до меня, старик обер-форстмейстер, видя перед собою новичка, просил не двигаться с места, чтобы не привлекать внимания зверей. «Sein sie stumm», — отвечал я, буквально переводя наше русское: *будьте покойны*, за которым неминуемо следуют всевозможные беспокойства и напасти.

Пассивно выжидать будущих благ — едва ли не самое трудное для русского человека, хотя, в сущности, он во всю жизнь ничего другого не делает. От скуки я начал всматриваться в ближайших от меня охотников. Какое спокойствие в позах и выражении лиц! Видно, что они дело делают и что им не скучно. Ни малейших признаков нетерпения или суеты. Голубые дымки из продолговатых фарфоровых трубок никак не могли привлечь внимания зайцев. Шага на три далее ближайшего моего соседа, с правой стороны и рядом с ним, на окраине дороги сидела, глядя в поле, толстая легавая собака. Она была еще неподвижнее и безмятежнее своего господина. Что ж это будет? — подумал я, с любопытством посматривая на собаку. У нас в России легавая собака, случайно привыкшая отыскивать зайцев, начинает, как гончая, гнать в голос и окончательно отбивается от рук; поэтому каждый русский охотник, заметив, что его собака напала на заячий след, тотчас же зовет ее назад и даже наказывает, чтобы вперед отбить охоту выслеживать зайцев. А этот сам привел свою собаку на зайцев. Неужели у

них и собаки руководствуются не инстинктом и рутиной, а строгими правилами закона, вменяющего при известных обстоятельствах в обязанность то, что при других вменяется в преступление? Увидим, чем кончится эта штука!

Ждать пришлось недолго. На противоположном конце поля, от деревни, параллельно с нашей дорогой, показалась цепь крестьянских мальчиков (так называемый *кричан*), и по ветру до нас стали долетать их пискливые возгласы. Вслед за тем вдали по желто-бурому жнивью начали то там, то сям появляться до тех пор не замеченные темные колышки. Станешь всматриваться и замечаешь, что такой колышек, простояв некоторое время неподвижно, начинает качаться и двигаться. Вон, вон! — другой, третий, четвертый. Ясно, что это все зайцы, и все они бегут на нас. По мере приближения кричана число зайцев и возникающая между ними суетливая беготня все увеличиваются. Некоторые из раньше вскочивших самым добродушным образом уже приближаются к дороге, не замечая стоящих под яблонями охотников. Вот один из

передовых несется прямо на моего соседа справа, как бы желая сбить с ног его собаку. А вон еще и еще зайцы. Как тут с непривычки не растеряться русскому охотнику? Между тем передовой заяц так и лезет на моего соседа и на его собаку. Еще несколько мгновений — и неподвижная собака со всех ног кинется на зайца — и пошла потеха! Ничуть не бывало. Не допустив зверя шагов на 30 до дороги, охотник выстрелил, и перевернувшийся через голову заяц остался на месте. Собака продолжала равнодушно сидеть, как сидела, а охотник стал проворно заряжать ружье. В эту минуту мне самому стало не до наблюдений. Заяц, пробиравшийся следом за убитым и, видимо, озадаченный выстрелом, переменил направление и стал забирать вправо, т. е. приближаться ко мне. Оглядел ли он меня под яблонью, или вообще переправа через дорогу показалась ему небезопасной, но, не добежав до меня шагов семьдесят, он сел и потом лег, запав между бороздами. Выстрел на таком расстоянии не мог быть верен, а мне не хотелось потерять его напрасно перед немецкими охотниками. Не хотелось тоже

упустить и зайца, который как нарочно лежал передо мною, я знал, что тонный заяц, хотя бы и залег, не станет лежать в чистом поле, если к нему будут подходить. Но много ли нужно мне пройти для того, чтобы выстрел был смертелен? Каких-нибудь пятнадцать, двадцать шагов. И кому я этим могу помешать? Если заяц уйдет, то уйдет от меня. Было бы несправедливо не сознаться, что если все эти доводы шептали мне на ухо, как гоголевскому почтмейстеру: «Распечатай», то какое-то чувство приличия нашептывало: «Не распечатывай»... Да ведь всего-то каких-нибудь пятнадцать или двадцать шагов! Побежденный таким доводом, я тронулся с места. Но не успел сделать и десяти шагов, как заяц вскочил и побежал параллельно с дорогой, стал перебегать ее около моего соседа с левой стороны. Тот спокойно припустил его шагов на пятнадцать и выстрелом положил на месте. Не без неловкого чувства вернулся я ни с чем под свою яблоню. Не успел я несколько успокоиться, как еще заяц, бежавший было на только что выстрелившего моего соседа с левой стороны и севший против

него вследствие выстрела, — надумался и, повернув влево, стал ко мне приближаться. Но и этот, заметив, вероятно, издали мои манеры не держаться близко к своей яблоне, пробегал мимо ее шагах в 50, и на таком-то расстоянии он находился от меня только в ту минуту, когда, видимо, стал направляться к моему соседу с правой стороны. «Лучше, — подумал я, — рискнуть неверным выстрелом, чем вовсе не стрелять», — и выстрелил. Заяц покатился через голову, но тотчас же вскочил снова, пустился бежать к моему соседу справа. Тяжелораненый зверь бежал очень тихо, но ловить его руками нечего было и думать. «Неужели этот флегматик, — подумал я, — добьет моего зайца и воспользуется моею добычей?»

— Fass! (хватай!) — раздалось вдруг отрывисто и громко, и вместе с тем неподвижно до сих пор сидевшая собака со всех ног бросилась за ковыляющим зайцем. Собрав последние усилия, тот попробовал было понаддать, но сильная собака тотчас догнала его и, схватив поперек, принесла к ногам хозяина. Кричан дошел до нас, и нам надо было переме-

нить место для повторения операции. Поэтому хозяин охоты, возвращаясь по цепи стрелков, просил каждого из них следовать за ним. Когда очередь дошла до меня, старик подошел ко мне с сердечным смехом.

— Видел я ваши маневры! — говорил он. — Знаете ли, что вы сделали эту яблоню легендарной. Сколько бы раз мы или наши дети ни охотились в этой местности, каждый раз будут говорить: «Вот яблоня, из-под которой (der Russe) побежал за зайцем». Ни один немец не позволит себе подобного отступления от правил охоты.

Урок был вполне заслужен, а разнообразные выводы из нашего рассказа предоставляем сделать читателю. Мы сдержали обещание заглянуть, хоть одним глазком, в ту западную тесноту, с помощью которой мои соседи справа и слева били преспокойно зайцев, а я, увлекаясь широкостью русской натуры, без их же помощи рисковал остаться с пустыми руками. Мало того, эти люди, не удовольствовавшись собственной теснотой жизни, сумели воспитать в ней и животных. Позднее мы узнали, что все легавые собаки

исполняют то же, что сделала нами описанная. В России мы до сих пор не встречали ни одной подобной, а уходящих и пропадающих за зайцами, к совершенному отчаянию их хозяев, знали сотнями.

V. Так ли противна нам западная теснота, как говорят?

Не будем разыскивать причин, по которым ближайший сосед наш Ч., вступив в распоряжение небольшим имением, решительно не занимался своим хозяйством. Прекрасная земля его раздавалась большею частою в наймы соседним крестьянам, которые немилосердно ее выпахивали, а небольшое количество собственного скота таскалось где попало и заставляло хозяина со времени установления таксы о потравах нередко платить за подобную распущенность. Но, должно быть, результаты подобной экономической системы оказались настолько неудовлетворительны, что заставили Ч. иначе отнестись к делу. В настоящее время и у него надворные Строения опрятно прикрыты, поля возде-

лываются тщательно, скотина не бродит без пастыря — и представьте себе чудо! — Ч., никогда не помышлявший загонять на своей земле чужой скотины, теперь зорко следит за потравами и неуклонно требует законные штрафы.

Практика — дело великое. Только одна она до последней очевидности указывает, в какие стеснительные условия поставлено наше сельское хозяйство. Это не то что в Англии, где и рук много, и времени много. У нас мало и того и другого. Из 12 месяцев в продолжение 7 наша земля, скованная морозами, не дозволяет к себе приступиться, и в продолжение остальных 5 надо во что бы то ни стало совершить все тяжелые операции нашего гигантского земледелия. Нечему удивляться, что целое лето работы обгоняют друг друга и хозяева напрягают все силы ума и воли, чтобы не отстать от торопливого соседа.

У очень торопливых или счастливых бывает с недельку отдыха за недельку до Петрова дня. Удобрение вывезено, пар вспахан и передвоен, а трава еще не готова. Это корот-

кое время употребляется на поправки и починки около двора. Тут исправляются крыши, раскрытые весенними бурями, плотины, размытые полой водой, и т. д., а этого дела во всяком хозяйстве набирается довольно.

В прошлом году у нас на конюшенном сеновале подались от тяжелой крыши стропилы на откосе. Осмотрев изъян, мы решили, не разбирая откоса, подпереть стропилы и тем предупредить окончательное разрушение. Призванный для этой операции плотник оказался далеко не механиком, и волей-неволей пришлось самому указывать, как подставить подпорки, как подвести рычаги, чтобы приподнять тяжелый откос, предупредив доморощенного Архимеда, чтобы он поосторожнее действовал во избежание катастрофы.

— Будьте покойны. Помилуйте! разве нам впервой?

Мы ушли в сад на плотину, где два-три рабочих тачками наваживали землю, и через несколько минут окончательно забыли и Архимеда, и оставленных ему для подмоги рабочих.

Не прошло получаса, как вижу — плотник торопливо едет по дорожке. Остановясь в смущении передо мной, он развел руками и лаконически произнес: несчастье случилось! Что я мог подумать? Известно, какое несчастье бывает после заверений доморощенного зодчего вроде: «Будьте покойны». Стропилы, вероятно, выскочили, весь откос рухнул и, чего доброго, еще кого-нибудь прихлопнуло. Все эти грозные картины разом вспыхнули в моем воображении, тем не менее надо было спросить: какое несчастье?

— Лошадей загнали.

— Фу-ты, братец! какой чудак. Каких это лошадей и где загнали?

— Да наших у Ч. загнали.

— Стало быть, моих, так тебе какое до этого дело, что ты и работу бросил и как угорелый прибежал толковать о несчастии?

— Помилуйте, да наших собственных лошадей, да добро бы поблизости, а то за 8 верст сорвались, да три лошади к ним забежали. Ведь вот какое дело.

— Что же ты мне об этом пришел объявлять? Лошади загнаны не у меня, я не посред-

ник. Что ж я тут стану делать?

— Да уж сделайте милость, напишите к Ч.

— О чем?

— Да чтоб он отпустил наших лошадей.

— Помилуй, я три года просил Ч., чтоб он загонял моих лошадей на своих полях, и рад-радехонек, что человек за ум взялся, — а я ему теперь стану писать, чтоб он отпустил твоих?

— Да уж вы о моих-то напишите. Уж не досадно б было, как бы по соседству, а то ведь за 8 верст прибежали.

— Что ж, ты думаешь, ему приятней, что ли, что к нему за 8 верст скотина прибегает на поля?

— Да ведь за 8 верст!..

— Может быть, у тебя денег нет, так я тебе сейчас 1 рубль 20 копеек вынесу.

— Нет, на что денег? А вы напишите.

— Полно, брат Егор, — отозвался один из работников, — зубы-то чесать... Загнали лошадей — уж какое тут писанье, отдай деньги, и вся недолга.

— Ишь с какими выдумал подъезжать лясами! — отозвался другой, выворачивая тач-

ку. — Чудак, право.

Последние афоризмы я услыхал, уже уходя с плотины, на которой оставил недоумевающего плотника. Возвращаясь на нее снова, я заметил бойко приближающегося крестьянина, а когда он стал раскланиваться, узнал в нем рывшего у меня когда-то канавы Алексея, которого мне приходилось и лечить, и вводить в надлежащие границы его строптивость и своеволие.

— А! старый знакомый! Что тебе надо?

— Да вот я к вашему плотничку. Я ихний сельской.

— Стало быть, по делу?

— Точно так. Ну, что ж ты стоишь — растопырил пальцы-то? Двое хозяев-то прислали по 40 копеек, так из-за твоей одной не спускают со двора. Что ж мне — ночевать, что ль, тут из-за тебя?

Невольно вспомнил я замечание, нередко слышанное мною от людей, близко стоящих к новому сельскому управлению, что самые строптивые горланы, подбивавшие весь мир на непокорство, вступая в административную должность, бывают самыми ревностны-

ми и требовательными блюстителями порядка. Таково различие теории от практики.

— Уж пожалуйте деньжонок, — обратился ко мне плотник.

— Сколько тебе?

— Да 40 копеек. Моя-то тут, выходит, одна.

Когда я уходил за деньгами, то снова мог расслышать посыпавшиеся со всех сторон на плотника насмешки и упреки, вроде:

— Ну, парень, — жила! Что ж тебе? Ч. подрядился, что ли, лошадей кормить? — и т. д.

Спрашивается, привилась ли такса о потравах к народным обычаям, или является она народному сознанию каким-то невозможным, заморским Змеем Горынычем, как о том когда-то так усердно пророчила нигилистическая литература?

Мы представили самый мелкий пример, но если бы мы представили их десятки — внутренний смысл их нисколько бы не изменился. Если можно чему-либо удивляться в характере нашего народа, то это не воображаемой косности, а действительной, несомненной способности сживаться с новыми, небывалыми формами и условиями жизни. Не бу-

дем говорить об освобождении крестьян и о железных дорогах, которые в свое время казались простому народу порождениями нечистой силы, а не далее как в нынешнем году, при бесплатной перевозке рабочих на порожних платформах, не могли отбиться от даровых пассажиров. Возьмем мировые учреждения, считающие свое существование в нашей стороне даже не месяцами, а только днями. Что же мы видим? В стороне от всякого правильного почтового сообщения конверты и повестки летают по всем направлениям, без нового обременения для обывателей. Вызываемые, большею частию безграмотные, являются, говоря вообще, весьма исправно. Прошения и жалобы поступают в новые учреждения со всех сторон, и явно не поступили бы никуда, не появись эти учреждения. Этого мало: многие уже успели ознакомиться с правами, предоставленными им новыми законоположениями.

Спрашивается: это ли косность?

Спрашивается: новые законоположения загнали ли народную жизнь в несвойственную ей тесноту или же, напротив, несказанно

облегчили ее и дали благодетельный простор всякому честному начинанию?

Из деревни (1871)

Скажите: Экой вздор! иль bravo
Иль не скажите ничего.

Пушкин

I

Наши первые записки *из деревни* совпадали с обнародованием крестьянской реформы. То были первые весенние дни свободы со всеми неразлучными спутниками. 19 февраля было днем не возрождения, а истинного рождения. Россия, долгое время болезненно носившая зреющий организм свободы, наконец произвела на свет не недоноска, а вполне развитого младенца, вздохнувшего в первый раз. Тем не менее это был младенец, и кто мог знать, не искалечат ли его на первых порах многочисленные бабушки и нянюшки и не оправдается ли пословица о 7 няньках? Да, то были первые весенние дни. Русская грудь вздохнула мягким, свежим воз-

духом, но двигаться, ехать было некуда. Торные зимние пути быстро таяли под ногами, весеннее половодье сносило одни старые мосты и гати за другими, и тоскливый взор путника видел одну невылазную бездорожицу. В картине, списанной в то время с нашего скромного хозяйства, многие узнали собственную обстановку, зато другие всеми силами старались выдать фотограф за памфлет и донос. Наши записки в течение долгих лет служили неистощимой темой свистков и дешевой карикатуры. Дети, взглянув на барометр и догадываясь, что скоро их не пустят на улицу, готовы были разбить безмятежный инструмент, точно он виновник приближающейся грозы. С тех пор прошло около 10 лет. Все обошлось благополучно. Правительство, пропуская мимо ушей вакхические возгласы и намеки непрошеных нянюшек, не решилось испытывать над новорожденной свободой утопических, нигде в мире не существующих приемов воспитания, а придержалось общеизвестных приемов, оправданных наукою и опытом. Оно прежде всех поняло, что замена частного произвола личной свободой

безотлагательно требует сугубого ограждения личности и собственности положительным законом, незыблемости договоров, полноправности частного хозяйства, права гласного обсуждения своих нужд и т. д. Все это своевременно было понято правительством, и результат вышел громадный.

За последние 10 лет Россия прошла по пути развития более, чем за любое полустолетие прежней жизни. Современник Екатерины удивился бы менее, воскреснув в 1860 году, чем умерший в этом году и воскреснувший в 1871-м. Быстрота развития изумительная, но она делает нас слишком требовательными по отношению к поступательному движению и в то же время приучает удовлетворяться одним номинальным существованием предметов нового порядка, не давая времени осмотреться, в какое соотношение эти новые, прекрасные вещи пришли с окружающим их миром и могут ли они, в настоящем соотношении, приносить ожидаемую пользу. За примерами ходить недалеко: их можно представить до пресыщения. Железные дороги пролетели из конца в конец Европейской Рос-

сии, закрывая местные почтовые станции. В то же время судебные камеры, заменившие прежние уездные суды и полицейские управления, разбросались по всему уезду. В результате оказалось, что двойное благодеяние сподручного местного суда и быстрого почтового сообщения, по неполной организации последнего, приводит край к двойному затруднению. Уездные суды, удаляясь от уездных почтовых контор, разбежались по селениям, а сельские почтовые конторы ушли из селений и исчезли в уездной. Из почтовых вагонов на подоконники станций выбрасывают простую и просительскую корреспонденцию, за которую никто не отвечает. Приема казенной и денежной корреспонденции на станциях вовсе нет. Прежде вы ее возили за 7 верст, теперь ступайте в уездный город за 70. Чуть не за полвека Гоголь смеялся над почтмейстером, читавшим частную корреспонденцию. Теперь ему пришлось бы смеяться над начальниками станций и телеграфистами, которые не читают и не берут чужих журналов в вечную собственность. Куда тут кричать: *не распечатывай* Распечатывай сколько

угодно, да хоть через месяц брось на подоконник, с которого малограмотные и безграмотные хватают и увозят в неведомые страны чужие письма и журналы. Основываясь на положительном законе, публика требует от судьи скорого удовлетворения ее справедливых просьб. Судья один отвечает за свои решения, а исполнители, т. е. судебные пристава, ни за что. Но вот решение состоялось, а волостной старшина ничего не делает по исполнительному листу. Истец ропщет на новые суды, а что станет делать судья в чужом ведомстве? Крестьянский самосуд во многих отношениях превосходное учреждение, но почему же он один должен пользоваться безапелляционностию, подлежа обжалованию только в кассационном порядке, сводящемся к единственному вопросу: присутствовал ли старшина при постановлении приговора? Ежедневные вопли крестьян у дверей мировых судов доказывают неудовлетворительность такого порядка. Мы с вами проматываем свою собственность — мы правы. Мы идем в волость и берем у третьего лица работу на всю рабочую силу, хорошо известную воло-

сти, — и проматываем полученный задаток — мы опять правы. Но мы идем в ту же волость и заведомо берем такую же одновременную работу у четвертого лица, которое не может знать о нашем первом обязательстве. Ясно, что в день исполнения договоров выходит хаос. Воздерживаясь от дальнейших примеров, заметим только, что устранение неудобств в приведенных случаях не требует никакой ломки или новых расходов со стороны общества, а легко осуществимо небольшими исправлениями недосмотров, явившихся вследствие быстроты поступательного движения. Последнее условие, т. е. безденежность полезных мер, мы считаем до того существенным, что вне его готовы обозвать вредной химерой всякое, в сущности, благое начинание. Привыкшие в столицах к громадному, непрестанному движению капиталов не хотят понять, каким образом целая необъятная местность, без различия сословий, в продолжение месяцев сидит без копейки. В подобное время предусмотрительный хозяин с улыбкой самодовольствия скажет вам: соль есть, сахар есть, свечи и керосин есть — и я

покоен. Представьте же себе, что жители этой местности узнают о намерении вашем облагодетельствовать их новым налогом — и вы поймете, в какой мере они сочтут вас благодетелем.

Нам и на этот раз хотелось бы сохранить за нашими записками характер фотографии. Если первые отражали порядок хаоса (если в хаосе мыслим порядок), то настоящим придется отражать хаос порядка. Это уже большой шаг вперед. Наша жизненная среда совершенно видоизменилась к лучшему, но ее новый характер еще не успел окончательно определиться. Мы все Робинзоны, все ищем новых путей и средств к произведению тех самых вещей, которые когда-то так легко производились по рутине. Таких путей в настоящее время множество. Сами по себе они не новы, но не торны только потому, что сама почва повернулась под ногами. Что при крепостном труде было выгодно — при вольном убыточно. Практика, как бы назло теории, указывает на два рядом уживающихся рода промышленности: *коммерческий* и *крестьянский.* В первом труд ценится непомерно высо-

ко, во втором — ни во что. Такую аномалию необходимо понять. Что такое положение дела вытекает из существенных условий нашей промышленной жизни, этого не хотят или не умеют понять наши регламентаторы, и подобный недосмотр часто приводит к самой жалкой и напрасной затрате капитала в ущерб делу. Так, например, громадное конопляное производство стало исключительной монополией крестьян, главной опорой их благосостояния, тогда как при вольнонаемном труде оно не мыслимо. Нынешней весною один из наших деятельных агрономов попробовал посеять 8 десятин конопли. Конопля на жирной земле родилась дивная, но тут же и сгнила на корне. Осенью ни за деньги, ни исполу, ни на других еще более выгодных условиях до нее никто не дотронулся. Агроном махнул рукой и говорит: «Довольно! поучился. Другу и недругу закажу». В нашей местности крестьяне охотно берут десятину под овес, платя за нее от 6 до 8 рублей. Попробуйте нанять такую землю и обработать ее наймом не в убыток. Мы пробовали. Дуализм нашего народного хозяйства требует крайне-

го к себе внимания и не дозволяет успокаиваться кабинетными выкладками насчет известных мер, на том основании, что-де одному выгодно, стало быть, и всем выгодно. Нам еще долго будет выгодно делать многое кое-как, мы даже не прибавим: к сожалению. Такое сожаление предполагает, что мы не то, что мы на самом деле. Не так смотрят на дело наши регламентаторы из двух противоположных лагерей.

Вы им указываете на известное зло только потому, что явилась возможность на него указать. Они сами знают, что зло вековое, хотя встречаться с ним неприятно. А вы, как нарочно, на него указываете. Уничтожить его нечем. Средств на это под руками нет, а то давно бы их употребили. Между тем неприятное впечатление произведено вами. Вы автор этого дурного впечатления. Если нельзя уничтожить зла, надо уничтожить впечатление, — сказать, что зла нет, что его выдумал NN и все войдет в прежнюю колею, с отчетами о полном благоденствии. Правда, этот испытанный прием напоминает голову индейки под лопухом, но зато прост и удобен. Тако-

ва старая школа. Не менее оригинальны приемы *новых людей*. Если им не нравится известное явление, то перед ними не смейте заикаться, что оно неизбежно, а потому и своевременно. Обозвав явление злом, они не ограничиваются требованием за него к суду одной современности. Они разыщут его корень у Иоаннов, Бориса и т. д. и докажут, как бы было отлично, если бы Екатерина поступила не так, как поступила. Они знать не хотят, что прошедшее не более как невозвратный призрак, к которому подходить с современными понятиями добра и зла по малой мере — смешно.

«Как? — воскликнут регламентаторы. — Две меры и двое весов для одного и того же дела в руках различных производителей? Где же равенство?» Извините, господа! мы только позволяем себе заметить, что, поставляя две вещи, основанные на разнородных факторах, одну вместо другой, вы впадаете в арифметическую ошибку, могущую отозваться большим недочетом в народном хозяйстве. Вы полагаете, что достаточно видеть зло, чтобы тотчас устранить его. А жизнь говорит: беда

беде рознь и помощь помощи рознь. Тришка был прав, говоря: «Так я же не дурак», когда догадался, отрезав фалды и полы, починить кафтан. Лучше ходить в теплой куртке, чем в дырявом кафтане. Но будь у него дырявая куртка, он, как практик, не стал бы чинить ее, вырезывая куски из спинки, а донашивал бы ее, пока не наживет новой. Так поступает всякое разумное хозяйство. В запрошлом году в нашей местности урожай был отличный и цены на хлеб высоки, и затем в прошлом 1870 году все точно сговорились строиться. Тришка стал шить себе новый кафтан. Помещики и крестьяне рвали друг у друга из рук камень, бревна и плотников.

Вместо прежних 6 руб. в месяц плотнику, еле владеющему топором, с радостью давали 10 руб. Что это? Случайность или сила вещей? В первый теплый денек, в половине апреля, пересеките в выгоне черноземную полосу средней России от Тулы до Курска. Вы увидите, что все население высыпало в поле сеять. Что это? Тайный уговор по телеграфу (tacitus consensus) или естественная сила вещей? Та всемогущая воля, которая единовре-

менно гонит молодую озимь из земли и плодоносный сок от корней к вершине дерева?

Всякое улучшение тогда только прочно и плодотворно, когда помогает естественному развитию дела, а не рвет его из корня вон. В этом случае бессмертным образцом не всегда останется наша великая крестьянская реформа. По-видимому, не трогая ничего, она изменила все. Она только на деле осуществила трехдневную барщину, давно узаконенную. Она оставила помещиков при фактическом праве на крестьянский надел, предоставив крестьянам юридическое право на землю, которою, в существе, они владели в продолжение столетий. Реформа, по-видимому, произошла только на словах и потому на всем громадном пространстве вызвала несколько ничтожных недоразумений, но нигде не произвела потрясений. Не из-за чего было враждовать. Изменились только отвлеченные понятия — слова. Но эти слова были слова свободы; это были те слова, о которых поэт сказал:

Есть речи — значенье
Темно иль ничтожно,

Но им без волненья
Внимать невозможно.

Эти слова хлынули на вековечную землю новым потоком жизни. Нечему удивляться, что живоносная влага, разгулявшись по лицу земли, местами не тронула высот, а местами, не вправляясь в старые русла, понесла мельницы и целые селения, да и сама перемутилась с песком и землею. Действительно, многие из снесенных зданий были хороши и полезны, и жаль, что сама вода, видимо, помутилась. Но перевести ваши сожаления на русский язык, выйдет одно из двух. Либо жаль, что оплодотворили жаждущую землю разом в таком количестве. С этим едва ли кто согласится уже потому, что полмира одним ведром не оросишь. Либо жаль, что вода тяжела и текуча, т. е. сильна и мокра. В ином случае может быть и жаль, но секрет сухой воды еще не открыт. Погодите: «Живя, умей все пережить», — сказал поэт-философ. Закон тяготения лучше всяких регламентации распределит текучую силу по новым и старым руслам, вода отстоится, и все придет в надлежащий

вид. Нередко вся мудрость воспитателя состоит в умении воздержаться от уничтожения временного безобразия воспитанника. Обрубите у молодой хвойки ее корявые низменные сучья. Лишив дерево необходимого питания воздухом, вы убьете его. Подождите лет 40 и увидите стройный, могучий ствол с небольшой зеленой короной наверху. Куда же девались безобразные сучья? Они засохли и сами обломились. Что может быть безобразней лица, покрытого подсыхающей оспой? Только не трогайте и не дерите — все сменится благообразием. А станете драть, и безобразие останется навек. Молодая лошадь не знает, что ей делать. Она нейдет. Не бейте ее, она одумается и сама пойдет. Ударили — все пропало. Она норовиста навек. Переходим к другому порядку мыслей и к другому аполог у. Заяц, пустившийся взапуски бежать с черепахой, пренебрегает ее медленностью и колесит по сторонам, пока та ползет прямо. Черепаха остается победительницей. Что же делать, если такова природа человека, в положении крыловского зайца? Мы не дорожим тем, что достается легко, — *что имеем*

не храним, хотя *потерявши плачем.* Но, невзирая на горькие слезы, если завтра легко получим оплакиваемое, не сохраним его снова. Такими зайцами, в свою очередь, были до крестьянской реформы наши помещики, не потому, чтоб были исключениями, а, напротив, потому, что оставались верны человеческой природе. Неудивительно, что другие сословия, бывшие по отношению к ним в положении черепахи, обогнали их в деле благосостояния.

Реформа всех уровняла и пожаловала в черепахи, и присмотритесь, с каким напряжением и ловкостью новые черепахи поползли к благосостоянию. Продолжают гибнуть те, которые, по старой памяти, воображают себя зайцами, забывая, что они давно черепахи. Если сравнительно образованные люди способны поддаваться такому увлечению, что ж мудреного, что наши крестьяне, очутившись на воле, поддались ему? Когда подумаешь, что у наших крестьян еще свежо объяснение троекратного погружения новорожденного в купель — посвящением его на три зимних обоза с барским хлебом в Москву, т. е. на еже-

годный извоз (в два пути) в 2400 верст на собственный счет, что кроме бесконечной молотьбы всего урожая цепами с каждого двора приходился весьма почтенный сбор живностью и хозяйственными произведениями — и вдруг, в один день, все это свалилось с плеч крестьян, то перестаешь удивляться, что в новом положении крестьяне, в свою очередь, почувствовали себя зайцами.

В сороковых годах в Елисаветграде, бывшем в то время центром громадных царских смотров, между военной молодежью славилась гостиница еврейки Симки. Бывшая красавица вдова M-me Симка мастерски вела свое предприятие и умела угодить всем, от юнкера до генерал-адъютанта. Мы уверены, что большинство старых служивых помнят ее чистые, богато убранные номера, роскошный стол, приготовленный тонким лопухинским поваром, живых стерлядей, высокие вина, английские сервизы и заграничный хрусталь. Нечего говорить, какая жизнь кипела в гостинице во время царских смотров и передвижения войск, когда вспомнишь, что половина кавалерийских офицеров армии со-

стояла из людей богатых. В числе лиц, пользовавшихся особенным вниманием ловкой хозяйки, был и наш полковой командир барон Карл Федорович, постоянно останавливавшийся в ее гостинице во время приездов в корпусный штаб по делам службы. Однажды осенью, вернувшись из Елисаветграда, барон, между прочим, сказал мне: «Симка вам кланяется».

— Покорно благодарю — как идет ее торговля? При этом вопросе барон покатился со смеху.

— Вообразите, — отвечал он, — я спросил ее о том же, как говорю, торгуете? «Ничего, — говорит, — слава Богу!» — «Кто же у вас тут проходил?» — «Проходила, — говорит, — конная артиллерия. Ах! какие это прекрасные молодые люди! какие воспитанные молодые люди!» — «М-те Симка! да за что же вы их так хвалите? разве уж очень много пили?» — «Ах! всэ попили, всэ поб-били и всэ-э — заплатили». Можно представить, какую цифру она выставила в счету за побитую посуду.

В настоящее время в нашей местности квартирует артиллерия. Нам нередко прихо-

дилось обедать в трактире с офицерами, и мы можем засвидетельствовать, что эти, в свою очередь, прекрасные молодые люди почти ничего не пьют и очень осторожны с посудой. Мало того, во внешней жизни они окружены сравнительно большим комфортом, и, верно, у них нет тех долгов, какие бывали у их предшественников-богачей. Если вы не согласитесь с M-me Симкой, что ее посетители были прекрасные, воспитанные молодые люди, то будете неправы. Вспомните греческих философов-стариков, родоначальников спекулятивного мышления, предававшихся ночным оргиям. Тут дело не в образовании, а в легкости добывания денег. Вспомните игроков. Наша комедия, усердно изучавшая тип старожилов-купцов, наживших миллионы, никогда не упрекала их в мотовстве. Такое обвинение было бы нелепо. Куда моту наживать. Между тем упрек в мотовстве чаще всего относится к их сравнительно более образованным сыновьям, которых легко достающиеся деньги нередко соблазняют олицетворить народное выражение: «Не препятствуй моему ндраву». Словом сказать: *«что имеем не*

храним».

Неудивительно, что крестьянину, как всякому другому, не впрок легко дающийся избыток. Попробуйте сдать миллионеру в долгосрочную аренду какое-либо имущество за третью часть действительной наемной цены — и спросите его: чему равняется ваш поступок? Он ответит: покорно благодарю; вы подарили мне 2/3 найма, которыми я воспользуюсь для приумножения капитала. *«Большая-де куча не надокучит».* Посмотрим, таким ли оказался результат подобных подарков по отношению к нашим крестьянам?

В первое время освобождения многие помещики, вероятно испугавшись предстоящей беспомощности, представили своих зажиточных крестьян на обязательный выкуп и сдали им же барскую землю в долгосрочную аренду почем попало. Таким образом в ближайшем нашем соседстве сданы земли в деревне Степановой по 2 р. 75 коп., а в селе Спасском по 2 р. 30 коп., тогда как в селе Богородицком в истекшем году крестьяне сняли господскую землю в аренду по 8 руб. за десятину — кругом. Смотря на дело с коммерче-

ской стороны, должно было ожидать быстрого обогащения спасского и степановского обществ. Вышло наоборот. Это единственных два общества в нашем округе, со времени освобождения, видимо, захудавших и задолжавших кругом и работами и деньгами. Дело объясняется просто. Земли плодородной много под руками, кому же и верить, как не ее хозяевам? А тут неурожай. Надо платить аренду, хоть и ничтожную. Заняли под постороннюю работу. Пришла весна — надо работать на стороне, а свое кое-как. Чужую убирают, а своя сыпется. Зимой еще нужней деньги и работа на стороне и т. д., как следует настоящему зайцу, а соседняя черепаха все ползет да ползет. В запрошлом 1869 году крестьяне золотаревского общества, по случаю больших заработков, при постройке Орловско-Елецкой чугунки, получали десятки тысяч. Спросите: куда девались эти деньги? Часть пошла на уплату недоимок, а большая часть в кабак.

Это очень грустно, но быть иначе не может, потому что рядом живет человек с теми же потребностями, которым удовлетворяет третьей частью такого случайного дохода. Де-

ло является в ином виде там, где крестьяне медленным трудом, хотя бы при крепостном праве, приобрели собственную землю. В таких селениях, как, например, в соседнем с нами Глебове, не только сами крестьяне, но даже случайные наследницы поземельной собственности — бабы и девки до того проникнуты своим правом собственности, что никакой адвокат их не собьет. Они просто выкладывают на стол сотни рублей, лишь бы не подвергать своих земель отчуждению, согласно обязательствам покойного владельца. «Покойник да может и обещал выдать купчую, а мы не желаем. А вы берите с нас долг — и, как следует, убытки». Зато из такого селения никто не пойдет к вам дня поработать. Разве в виде величайшего одолжения — за водку. Что касается до развития общего уровня крестьянского благосостояния, то уже из немногого сказанного можно заключить, что возгласы об упадке его неосновательны. Слава Богу! нет причин для его понижения и есть тысячи для его возвышения. Крестьянин, у которого все время было занято семидневной барщиной в течение веков, нес лежащие на

нем расходы и поборы при помощи надела, обрабатываемого безтягольными лицами семьи. Теперь он на том же наделе полный хозяин своего времени. Заработная плата, несмотря на помощь и конкуренцию машин, поднялась до того, что выгоднее получать из-за границы изделия из собственного сырья, чем выщелывать его дома. Посмотрим, в какой мере действительность оправдывает наше умозрительное (a priori) заключение.

Оставим в стороне такие частности, как покупка крестьянами целых имений. Мы знаем примеры таких покупок во 100 тыс. Два года тому назад мы купили клок земли за 7 тысяч, и временнообязанный крестьянин откровенно объявил, что не перебивает покупки только потому, что *земельки маловато.* Хотя таких, весьма нередких явлений не следует упускать из виду, но в данном случае нас интересует общий уровень благосостояния масс. Прибегнем к сравнению этого уровня до и после освобождения. Куда девались раскрытые, развалившиеся задворки и избы? Избы пошли на задворки, а на месте развалившихся коптелок стоят новые, отлично

крытые избы, нередко с трубами. Пригласите сотню-другую крестьянских подвод насыпать хлеб и потрудитесь взглянуть на лошадей и упряжь. Есть ли у вас на дворе хоть одна рабочая лошадь в таком виде и теле? И быть не может. Ваша лошадь зимует дома на соломе, а вы даете крестьянину возможность кормить свою овсом. Кажется очень нерасчетливо. Почему бы не дать своей корму и не возить своими рабочими хлеба? Попробуйте, коли есть охота остаться без лошадей и упряжи. Тогда узнаете, где труд спорей: в руках хозяина или придуманной корпорации. До освобождения *побираться* было зимою для многих селений нормальным обычаем. Бывало, слышишь: вон подбелевские, или хализевские, или ядренские уж наладили побираться. Теперь, как редкое исключение, ходят погорелые да потехи — набирают невероятные возы зернового и печеного хлеба.

В неурожай 67-го года мучительно перебивались, но не побирались. Вышло из обычая. До освобождения верхнюю одежду мужиков и баб составляли кафтан или *зипун.* Первый гладкий, второй со складками и нашивками

назади из шерстяного шнура. Кроме того, во всяком дворе был общий полушубок, попадавший на плеча выходившего надолго на мороз. Тулуп был вещью неизвестной. Теперь не только у мужика, у всякой бабы свой полушубок — большею частью дубленый. У одной трети крестьян тулупы. Всюду появились сапоги. Вместо прежней пакли во время извозов на шее вощиков ситцевый или шерстяной платок, а не то шарф. На ярмарках — ни одной кички и замашной рубахи, — все ситцевые платки и рубашки. Куда девался замеченный французским путешественником особый род безруких детей? Улицы в деревнях кишат салазками и леднями, на которых сидят не безрукие, а одетые и обутые дети. Мы бы долго могли проводить нашу параллель и прибавить, что розданный нами в 67-м году вспомогательный капитал нуждающимся в нынешнем, несмотря на упадок цены на хлеб, почти весь с процентами и благодарностью возвращен крестьянами и при сборе его не продано из их имущества ни одной курицы. На чем же основаны возгласы, будто благосостояние крестьян упало с осво-

бождения? Этого быть не могло и на деле, слава Богу, нет.

II

Нам приходится рассмотреть капитальнейшее явление современной жизни, которым и други и недруги тычут в глаза России, — пьянство. Для уяснения дела позволим себе некоторые предварительные соображения.

Один замечательный человек, говоря о бедности, сказал: «Я не слушаю жалоб горожанина на бедность. Горожанин говорит, что каллиграфия плохо его обеспечивает. Горожанка говорит, что стенография в окружном суде не дает ей средств на билет в театр, на извощика, на чтение книг. Все это кажется им необходимым, а в сущности, не нужно. Каллиграфу необходимо являться на уроки в тонком платье, женщине-стенографу в окружной суд надо являться в шелковом. Ступай в деревню, в избу и будешь за 25 рублей в год отоплен, освещен, одет и накормлен». Возражать против такого приговора нечего,

можно только смягчить его необходимыми объяснениями. Действительно, крайне необходимое, из которого поступиться нельзя, для существования человека, к счастию, весьма недорого. Такое необходимое будет наименьшей собственностью, в противоположность наибольшей, т. е. обладанию всем шаром земным, за пределами которого собственность немыслима. Только эти две крайние точки восходящей линии богатства определенно неподвижны и объективны, тогда как все миллионы промежуточных, подлежа внутренней оценке стоящего на каждой субъекта, вполне относительны и субъективны. В строгом смысле, даже исходная нижняя точка не вполне определенна, так как количество крайне необходимого далеко не одно и то же у русского и у китайского или индейского рабочего.

Очевидно, что на всех промежуточных точках чувство довольства и недовольства, достаточности или бедности зависит от требовательности отдельного лица — от горизонта его истинных и мнимых потребностей, оценка которых, практический их регулятор,

в самом лице. Практическая оценка этих потребностей лицом посторонним равняется посягательству на чужую сюбоду и возможна только при отношениях властелина к бесправному: отца к несовершеннолетним детям, господина к рабу. Недовольство собственным экономическим положением, присущее людям, ведет к желанию его улучшения, т. е. к накоплению капитала. Для достижения этой цели необходимо двоякое напряжение: нужно, *во-первых*, поравняться производительностью с лицом, коего положение вас искушает, а *во-вторых*, необходимо, при увеличенной производительности, оставаться на первобытной точке потребления, а еще лучше спуститься в этом отношении до крайне возможного предела. Человек, удовлетворяющий возникающим потребностям по мере возрастающих средств, ничего не наживет и при первой неудаче почувствует лишения. Дать человеку возможность развитием скрытых в нем сил к высшего рода деятельности достигнуть соответственного ей благосостояния — экономически и нравственно хорошо. Но схватить человека сомнительных способ-

ностей с низменной ступени благосостояния и потребностей и развить в нем потребности высшей среды, ничем не обеспечив их удовлетворения, — экономическая и нравственная ошибка. Только та личная потребность вполне законна, на которую у потребителя есть средства. Удерживать желания на уровне материальных средств и даже спускать их ниже этого уровня можно только при внутренней борьбе с ежеминутными соблазнами с помощью известных соображений. Это весьма трудно. Тогда как страдательно отдаваться внешним побуждениям (стимулам) легко и приятно. Поэтому, по крайней мере у нас, люди, живущие по средствам, составляют меньшинство, а живущие сверх состояния — большинство. В экономическом отношении человек, легкомысленно разбрасывающий избыток дохода, в виде ли предметов тщеславия или страсти, воочию доказывает, что этот избыток ему не нужен (а кому об этом судить, как не ему самому?). Расточительное побуждение его можно сравнить с вентилатором зерносушилки, выбрасывающим изо ржи излишнюю влагу. Присутствие

такого вентилатора над карманом можно рассматривать с разных, даже противуположных точек зрения, например с нравственной и экономической.

С первой, такой вентилятор плохая рекомендация, ибо свидетельствует о недостатке сообразительности или самообладания, если вентилация происходит по легкомыслию и тщеславию. Если же вентилатором является предосудительная страсть — порок, то дело, с нравственной стороны, еще ухудшается. С экономической точки зрения вентилация не только необходимое зло, но положительное благо. Вы не согласитесь, унизав пальцы солитерами, ездить по Подновинскому в неслыханном экипаже с дамой, разряженной в пух, перья и бриллианты, и благодарите моду, удерживающую людей в границах однообразия и благообразия. Вам такая дама кажется невозможной, а тысячи ремесленников, трудившихся над ее выездом, не без основания считают ее благодетельницей. Без таких, часто неблаговидных благодетелей никакое развитие промыслов и искусств невозможно. Если все откажутся от дорогих рыб, что ста-

нут делать рыбаки? Если бы мода не гнала людей в концерты и картинные галереи, что сталось бы с музыкой и живописью. С моральной точки зрения непохвально, что люди из тщеславия облыгают себя знатоками. Но с экономической — давай Бог побольше тщеславия и денег. Где ежедневно набирать тысячи знатоков? Всякая страсть, не умеряемая рассудком, вредно действует на одержимое ею лицо. Но и в нравственном смысле она только тогда заслуживает запрещения и наказания, когда нарушает чужие права, т. е. совершает неправо. Гарпагон — очевидный вор, «но он ворует собственный овес у собственных лошадей, и никому до этого нет дела», кроме какого-нибудь общества покровительства животным, да и то едва ли успешно повело бы против него обвинение. Он мог не воровать овса, а, поучась у русских хозяев, кормить лошадей одной соломой. У каждой экономической единицы есть и должен быть вентилятор. Без этого нет народного хозяйства. Аскеты — исключение, над которым останавливаться нельзя, а с экономической точки зрения все равно, из какого матерьяла

вентилатор, красив он или уродлив, дело в том, в какой мере он исполняет свое назначение.

Крестьянин почерпнул свой быт не из академий, трактатов и теорий, а из тысячелетней практики, и потому быт его является таким органическим целым, стройности и целесообразности которого может позавидовать любое учреждение. В исправном крестьянском хозяйстве всех предметов как раз столько, сколько необходимо для поддержки хозяйства; ни более, ни менее. При меньшем их количестве пришлось бы нуждаться, а при большем одному хозяину-труженику за ними не усмотреть. Кроме строевого леса, приобретенного единовременно, и немногих кусков железа, все свое — домашнее. Не глумиться надо над крестьянином, а учиться у него. Начиная с одежды и кончая рабочими орудиями, попробуйте изменить что-либо в среде той непогоды и бездорожицы, в которой крестьянин вечно вращается, и пуститесь лично с ним конкурировать, тогда скоро поймете значение сермяги, дуги, чересседельня и т. д. Сломите среди степи ваш железный плуг и

поезжайте за новым к Бутенопу. Время сева прошло, а крестьянин сам переменил дома сломанную часть сохи и опять пашет. Он твердо помнит пословицу: «Чего маленько, того кроши меленько», а вы хоть и помните ее, да руки-то крошат не ваши, и выходит разница как небо от земли. У крестьянина ни места, ни лишнего корму для птицы нет, а у вас все это есть, и потому-то у вас нет птицы и вы ее покупаете у баб. Если же вы настойчиво решитесь конкурировать с бабами, то хоть потрудитесь счесть, во что вам обошлась конкуренция. Выкормленная дома свинина не может обойтись менее 4 руб. за пуд, а в Орле нынешней зимой на базаре она была дешевле 2 р. 50 к. Без пророчества можно предсказать, что вы никогда не поравняетесь производительностью с крестьянским хозяйством уже на одном основании стихов Кольцова, в которых пахарь говорит сивке:

Мы сам-друг с тобою,
Слуга и хозяин.

Еще менее можно равняться с крестьянином в искусстве уменьшать круг потребно-

стей. Естественное, так сказать почвенное, его положение таково, что, с одной стороны, не требует особенных усилий удерживаться на данном уровне, а с другой — нисколько не благоприятствует тем затеям, какими одержим человек, шагнувший через заветный круг крестьянства. Предметы, соблазняющие вас на каждом шагу, ему для личного употребления даром не нужны. Крестьянин, заведший часы и цепочку, уже перестал быть крестьянином. Он должен надеть жилет, без которого часов положить некуда. Сказанное подтверждается тем, что до сих пор крестьянин-пахарь, умеющий удержать лишнюю копейку, если не купит земли, вклеивает деньги в дугу или зарывает под печку. Что в более искусственной среде побуждения мнимых потребностей громадны, не требует доказательств. Сколько жертв непосильной работы, сколько мошенничества и казнокрадства из-за каких-нибудь женских нарядов и т. п. предметов тщеславия. Неужели эти образованные, умственные труженики не могут растолковать своим развитым женам, что надрываться над работой или красть из-за

модной шляпки или кареты — не стоит? Видно, не могут, коли весь трагизм жизни нашего развитого общества почти не знает другой завязки.

Подобных побуждений к обогащению для крестьянина не существует, да и вряд ли можно пожелать ему развития в этом смысле. Между тем у крестьянина свой вентилатор — *водка.* Говорите, что хотите о *привлекательном труде* (travail attractif), трудиться, подобно русскому крестьянину, — не легко, и неудивительно, что он предпочитает ограничить свои потребности до крайности — тяжелой работе, хотя случаи к заработкам сами ищут его на каждом шагу. Приводим мелкий, но характеристический пример. Прошлое лето травы было вдоволь. Ко времени уборки пошли дожди, а когда распогодилось, все бросились на покос, в том числе и мы. Беги в Глебово за народом. Говорят: «Свое убираем, ни за деньги, ни за водку не пойдем». Ступай к обществу, работающему у нас от десятины, и скажи: в нынешнем году им трудно будет своевременно свозить весь хлеб. Пусть придут покосить, а мы на это место дадим им

своих подвод. Пусть наш конный рабочий пойдет за их пешего. Говорят: «Некогда». Что ж они делают? Все общество у целовальника за водку убирает покос. Не столько работают, сколько пьют. Так и провалялись 2 недели. Что делать? Давай своим рабочим ежедневную порцию, чтобы постарались. Действительно, 10 рабочих при помощи 4 поденщиц скосили, сгребли конными граблями и свезли с 50 десятин до 5000 пудов сена. Ясно, что тут одной былинки лишней убрать некем. Между тем в молодом саду тимофеевка по пояс, а высокая и буйная трава в молодом березнике начинает путаться и садиться. Что, брат Александр! пропадает пудов 300 сена даром — говорим мы садовнику. «То-то уж и я смотрю, — отвечает Александр, — пропадает экое добро! А что осмелюсь вашей милости доложить, пожертвуйте мне покос в березнике, а я расстараюсь — уберу вам тимошку. Всего делов-то дня на 4 будет». Сделай милость, убирай, только сначала убери тимошку, а там коси березник. «Знамо дело, надо наперво ваше добро убрать». Александр — бывший дворовый из крестьян, и потому на

его наделе хозяйничает сын его. На другой день явились: сын его, жена, дочь и невестка, и через 4 дня тимофей был уже на сеновале, а еще через 3 дня на садовой луговине вознеслась, почтенных размеров, копна отличного сена. «Уж это позвольте до зимы тут оставить. Куда с ним теперь ломаться? По снежку подыму».

В начале декабря по первому санному пути является зимующий дома Александр с сыном и четырьмя подводами и увозит до 100 пудов сена, т. е. на худой конец на 20 рублей. А что оно ему стоит? Малый и бабы так бы проболтались неделю, своего покоса нет; а жалованье, как садовник, он за это время, в свою очередь, получил. Через неделю по увозе сена является Александр цветы поливать. «Ну что, хорошо сено?» — «Слава Богу, покорнейше благодарим». — «Это хорошо, что ты свою скотину не забываешь, а вот что ты сам садовник, да, уехавши с сыном, бросил настежь садовые ворота — это стыдно. Я посылал за тобою затворять». — «Виноват, так это я маленько промахнулся».

— Отец Василий! — спрашивали мы первое время после освобождения священника. — Как это вы убираетесь? У вас таки порядочный просевец.

— Ну ведь и семейство большое. Чего одна семинария стоит. Нынче требуют образования. Убираем более праздниками — за водку.

Сначала нас коробило сопоставление священника, праздников и водки. Но задавшись вопросом: что ему делать? За деньги и в будни не пойдут. Все руки за год и даже за два вперед разобраны по письменным условиям. Не найдя на такой вопрос ответа, мы перестали смущаться. Не работать в праздники, в горячее время уборки, когда от одного дня зависит существование на целый год — в безрукой стране, по малой мере, безумие. «Господь сказал ему в ответ: лицемер! не отвязывает ли каждый из вас в субботу вола своего или осла от яслей и не ведет ли поить? Луки XIII ст. 15».

В подтверждение слов наших о достаточности, по крайней мере в нашей местности, крестьянского надела на необходимо нужное и о нежелании крестьян искать посторонних

заработков укажем на марьинское общество. Надел этого общества ничем не отличается от других наделов, а между тем марьинские крестьяне, в продолжение 2 последних лет, с прекращения обязательной работы, никуда нейдут на заработки и свои поля возделывают кое-как. А недоимок или воровства за ними не слыхать. Между тем присущий человеку вентилатор действует неустанно, как действуют легкие, сердце и т. д., и если излишняя влага продолжает брызгать в одинаковой и даже возрастающей пропорции, можно безошибочно сказать, что рожь насыщена в избытке. О количестве излишней влаги можно судить по предположению акцизного сбора на 1871 год, доходящему до 150 миллионов. Для получения такой суммы необходимо, чтобы вино выпивалось на двойную сумму, если принять во внимание всю процедуру, какой подвергается рожь, до поступления в виде водки в желудок потребителя.

«Salus publica prima lex esto». Нечего глубокомысленно останавливаться над вопросами: нужно ли войско и флот, нужно ли, чтобы государство, исключительно земледельческое,

пахало и сбывало хлеб? также малозатруднителен вопрос: может ли государство, желающее развития земледелия и вынужденное прибегать к возрастающим налогам, превратить громадный, безнедоимочный и косвенный налог в прямой, которого оно никакими усилиями не соберет?

В заключение представим себе следующую невозможную картину. По раздолью плодоносных степей раскиданы одинокие селения, которых жители, довольные произведением собственных нив, не желают прикладывать рук к промежуточным полям, остающимся невозделанными. Ни путей сообщения, ни торговли нет, потому что производительность равна с потреблением. Между тем за границами этих степей живут люди, сплошь покрывающие свои как огород возделанные земли; люди, занятые переделкой сырых матерьялов на дорогие товары и тут же, на месте, вырывающие, за большие деньги, хлеб из рук у своих земледельцев. Люди эти сильны капиталами и выше всего в мире ценят хлебородную землю. Представим себе степную страну басней словным королевством

II части «Фауста». Бывший доктор призывает Мефистофеля и говорит: нам нужны деньги, в размере 150 миллионов в год. Другими словами, нам нужно убедить поселян, чтобы они, хотя это им и не нужно, ревностно принялись за страшный труд возделывания всех полей сплошь. Что касается до будущего громадного урожая, то я заранее распределил его. Часть пойдет на продовольствие городов и войск, а часть за границу. Но вот беда, по расчету придется до 100 миллионов четвертей покупать без надобности и истреблять. Без этого предложение превысит требование и цены на хлеб упадут.

Но кому покупать такую массу ненужного хлеба и, кроме того, откуда нам-то взять 150 миллионов? Вопрос сводится к следующему: нельзя ли убедить крестьян, чтобы они, за хорошую плату, шли обрабатывать земли частных владельцев, а по окончании уборки покупали бы у нас, на свои заработки, на 300 миллионов ржи и сжигали бы эту рожь дотла, так как есть ее некому. 150 миллионов мы бы возвращали частным лицам, для 290новых наймов, а 150 оставалось бы нам.

Нет сомнения, что при помощи наглядного опыта и Мефистофель и Эдип произнесли бы всемогущее слово: *дешевка.* Этот вентилятор хоть какое количество излишней влаги вытащит из кармана.

Вспомните рабочего сибирских золотых приисков. Каких еще надо заработков? Но все это до первого кабака. Выпил и пошел все бить да рвать, да еще кричит: «Подстилай мне под ноги кумачу, а то идти не хочу». А наши охотники-рекруты, за которыми хозяин ездит да расплачивается за битую посуду?..

Мы уже слышим восклицания: «Вы хотите покровительства пьянству». На это можно ответить: понимать, что осеннее ненастье, портящее одежду, дороги и здоровье, необходимо для озимей, еще не значит любить мокнуть или, что еще нелепей, *покровительствовать ненастью.* Пора догадаться, что квартет *дерет* не потому, что музыканты рассажены не в должном порядке, что усталому, одинокому человеку, завязнувшему в болоте, одно средство из него выбраться — отдохнуть и собраться с силами, и что в целом мире только герой «Не любо не слушай» сумел помочь бе-

де, вытащив себя за волосы из трясины.

Признавая в *водке* одного из капитальнейших факторов современного народного хозяйства, невольно спрашиваешь: неужели не сыщется ему более достойного конкурента, хотя бы в отдаленном будущем? Как не быть? Если вам не нравится прежний полицейский надзор крепостного права, разделите 100 миллионов четвертей ржи стоимостью на 300 миллионов на годовые пайки на человека — и вы получите потребное число ртов; для поглощения этого количества в виде пищи — равняющееся 50 миллионам. Прибавьте к настоящему населению страны 50 миллионов рабочих, и все придет в нормальные отношения и строгая нужда прогонит легкомысленный разгул[8]. Жизнь потому только жизнь, что постоянно борется со смертью. Борьба эта далеко не шуточная и ведется со всем напряжением и даже ожесточением. В народном хозяйстве так же мало места идиллии, как и в народной войне. Необходимо, чтобы эти 50 миллионов явились в самой стране конкурентами труда. Один вывоз за границу потребляемого ими количества хле-

ба поможет делу только отчасти. Не указывайте прямо на землю как на источник богатства. Земля без рук — мертвец. И в этом отношении опыт последнего десятилетия не пропал даром. В первые дни освобождения, не зная, как сложится дело, увлекаясь теориями и избегая неприятных столкновений с крестьянскими обществами, покупатели платили за земли дороже по мере их отдаления от селений. Тратились громадные деньги, чтобы сбыть крестьянские селения как можно далее от усадьбы. Теперь стало наоборот. Чем ближе земля к селениям — тем она дороже.

Пойдем далее в нашей искренности. Вопреки кажущимся явлениям, мы решаемся утверждать, что пьянство нисколько не составляет отличительной черты нашего крестьянина. Пьяница, как и постоянный употребитель опиума, больной человек, которого воля безапелляционно подчинена потребности наркотического. Тип таких людей преобладает в чиновничьем мире у Иверской, между московскими нищими и затем рассеян по лицу русской земли, без различия сословий. Сущность этого типа верно намечена в

пословице: «Как ни бьется, а к вечеру все напьется». Такой субъект не может иметь собственности, по отношению к которой он отрицатель. Своя и чужая для него только средство — напиться. Поэтому он зимой раздет, у жены тащит последнюю копейку, у соседа — плохо лежащий шворень. Очевидно, что крестьянин-собственник, по своему положению, не подходит под этот тип, хотя, быть может, и подходит под тип человека *(Руси веселие пити)*, готового на всех ступенях развития с каким-то благоговением относиться к богатырскому выпиванию чары в *полтретья* ведра и придирающегося ко всякому случаю поесть и выпить. Иностранцы открывают общества, школы, железные дороги, справляют крестины, свадьбы и похороны — плачут и танцуют впроголодь. Северный русак ничего этого не делает, чтобы не выпить и не закусить. Даже воспоминание об историческом событии или просто о родителях у него тождественно если не с обедами и выпивкой, то хоть с блинами и выпивкой. Очень развитый русский рассказывал нам, как они вдвоем с покойным Герценом всю ночь просидели у Тортони во вре-

мя декабрьского погрома (coup d'etat). С вечера Герцен спросил двойную бутылку коньяку, к которой собеседник его не прикасался. Герцен говорил с увеличением разочарования. К утру, заключил рассказчик, Герцен встал, выпив весь коньяк маленькими рюмочками, и ушел *ни в одном глазе.* Покойного Герцена можно упрекать в чем угодно, только не в неразвитости или пьянстве. Какой молодой человек, в свою очередь, не увлекался славой выпивания полтретья ведра? Конечно, хвастаться тут нечем, но можно ли эту категорию людей назвать пьяницами, не смешивая двух, только по видимому однородных явлений?

В нашем личном хозяйстве с пастухом и конюхами до 14 человек рабочих. Только во время усиленной косьбы утомленная их природа требует водки, и им дают по хорошему стакану. Иногда косцы и сами просят. Но в остальное время года работники об ней не думают и не заикнутся. На свои, в будни, пить не на что, потому что жалованье большею частью забирают их домашние. Но подходит праздник престольный, и Гаврику очередь

идти домой. «Пожалуйте денег». Сколько тебе? «Рублей 5». Зачем ты это делаешь? Ведь через неделю или через месяц занадобятся деньги в семье — и близко будет локоть, да не укусишь. Гаврик смотрит оловянным взглядом недоумения. Пять ли, десять ли возьмешь на праздник, все равно прогуляешь. Не дам больше рубля — спасибо скажешь. «Ну что ж, — говорит Гаврик, чувствуя, что не совладает с вентилатором, — пожалуйте хоть рублик». Какие же это пьяницы? это дети, за стаканом вина забывающие цену вещам. Тратя непроизводительно 60 — 80 рублей на свадьбу, крестьянин забывает, что в прошлом месяце его бабы бегали по дворам занять сольцы, которой на 3 рубля ему хватит на круглый год на весь дом. Мы не хотим сказать, чтобы между крестьянами не было пьяниц в полном смысле слова; но не думаем, чтобы сравнительное большинство таких экземпляров выпадало на долю крестьянства, поставленного положением собственника в неблагоприятные для беззаветного пьянства условия. Нам приходилось не раз спрашивать у городских извощиков: почему в празд-

ники весь народ выпивши, а между извощиками пьяных незаметно? И каждый раз получали в ответ, что извощику напиваться нельзя — лошадь угонят. Беззаветное пьянство — удел пролетариата, которому у нас не о чем думать. Сыт и пьян он всегда будет, а остальное ему не нужно. Сюда относится громадное большинство бывших дворовых: домашней прислуги и мастеровых, созданных покойным крепостным правом, без которого не было бы всех этих необходимых личностей. Что нужда повсюду являлась истинным источником труда, известно не со вчерашнего дня. Посмотрите, с какой неотразимой логикой *Бедность* в комедии Аристофана «Богатство» выставляет себя возбудительницей производительных сил, матерью всех искусств и ремесел. На основании этих вечных законов можно бы ожидать, по крайней мере от нашего пролетариата, большого рвения к труду и большого самообладания. Но, применяя общие законы к нашему быту, не должно забывать, что наше историческое развитие поставило нас до поры до времени в противоположное с другими образованными сторонами

экономическое положение. Там работ нет, здесь рук нет. «Как! — восклицает сосед ваш. — Сидор, которого я прогнал за пьянство, у вас? Помилуйте, да ведь его невозможно держать!» — «Право? — отвечаете вы. — Жаль, что я этого не знал. А у меня он ведет себя сносно». — «Как! — продолжает сосед. — Да он сейчас с вами говорил пьяный». — «А я, признаться, не заметил», — отвечаете вы. Через месяц не замечать уже невозможно, вы отказываете Сидору и можете, в свою очередь, ехать удивляться к соседу, который, тоже в надежде на исправление Сидора, уже успел нанять его.

Не стоило бы говорить о пьянстве и его экономическом значении, когда бы со всех сторон не раздавались если не лицемерные, то, по крайней мере, бесплодные возгласы против этого явления. Принимая в расчет все количество крепких напитков, начиная с виноградного вина и пива, мы не найдем, чтобы русский человек в общей сложности выпивал более немца или англичанина. Можно только упрекнуть его в способе выпивать свою долю. Если всякий, настойчиво пьющий

постепенно превращается в коня, льва и, наконец, в свинью, то наши питухи нередко с такой быстротой проходят все метаморфозы, что наблюдатель не замечает двух первых превращений. Посмотрите на кучера, ссадившего хозяина на чугунку и заехавшего на обратном пути к первому кабаку. Долго ли он там пробыл? Две, три минуты. А в каком он виде? О коне и льве и помину нет. Что же тут делать? Нельзя же за всяким приставить няньку, которой известна и его *душа мера* и экономические средства. Кроме того, надо же хоть каплю последовательности. Ведь была нянька, и довольно строгая. Она более 200 лет своею палкою не давала пить и заставляла работать. Но она устарела, отставлена и даже умерла. А теперь — *любишь кататься, люби и саночки возить*. Кто же, искренно говоря, не желает кататься? Государство ли не желает громадных миллионов? Народ ли не желает пить водку? Или частная промышленность желает лишиться последних рабочих рук? Ввиду двойственности воли, мы и тут готовы на уступку. Мы согласны допустить, что государство желало бы получать большие милли-

оны помимо акциза, крестьяне желают осуществления хохлацкого элизия «Энеиды» Котляревского:

Сиделы ручки поскладамши.
Для них усе праздники були,
Люлки курилы полягамши,
Або горилочку пили
И не простую и не пинну,
А усе трехпробну, перегинну,
Настоянную на бадяне.

А частная промышленность желала бы постоянно иметь сериозных, трезвых и благонадежных рабочих за вознаграждение, соответственное рыночным ценам продуктов. Все отдельные желания чисты и прекрасны, а осуществите их единовременно, как это бывает в жизни, глядь — все помутилось и вышла сегодняшняя действительность. Выжженный камень холоден, и вода холодна, а пришли в соприкосновение — и закипели.

Считаем нашу мысль до того уясненной, что без преднамерения она уже не может быть превратно истолкована. Указав на органическое или лучше стихийное значение известных современных явлений, мы ни на ми-

нуту не признавали их нравственной красоты и ограничились вопросом другого порядка, гамлетовским *быть или не быть.* Развитие страсти к обогащению без труда не похвально, и лотереи как азартная игра признаны противузаконными. Но когда дело касается вопроса: *быть или не быть детскому приюту!* — найдутся моралисты, которые ответят: *быть*, даже с разрешением лотереи в его пользу. Между тем в вопросе о лотерее есть выбор. Можно не допустить лотереи и не заводить приюта; но, хотя бы и можно было желать промышленного застоя и народного банкротства, можно ли свободному человеку воспретить пить? Запретите винокурение, хоть под смертной казнью, вы только распространите злоупотребления и преступления. Вспомните дорогую водку в городах при дешевой в окрестностях. Что было? Говорите о возвышении среды — мы со вниманием станем вас слушать. Среда — это жилище, дороги, религия, суд, исполнительная власть, рынок, словом, все — и, между прочим, грамотность. Грамотность, как простая техника чтения, вещь полезная и пригодная в жизни, но

видеть в ней какой-то амулет от порчи и безнравственности мы просто non possumus. Сравнительное большинство беспросыпных пьяниц — заштатные чиновники, писаря и бывшие дворовые, более грамотные, чем крестьяне. Восклицать и только восклицать против стихийного явления данной среды — значит восклицать против всей ее органической совокупности. Кто находит это разумным, пусть восклицает. Если кто находит, что непьющий степняк виновен в склонности архангельского жителя выпить и закусить, потому что иногда покупает рябчиков и навагу, пусть находит. Говоря о пьянстве как о стихийном зле, временно явившемся для искупления большого, мы далеки от мысли отстаивать его безнаказанность в тех случаях, когда оно из пределов дозволенной свободы врывается в область чужой личности и собственности. Наш закон не признает опьянения смягчающим обстоятельством. Пей, коли есть охота, но разума не пропивай.

Сказанное относится к органическому росту, коренных условий которого изменять человеку не дано. Зато человек в самом густом

лесу может пролагать тропинки, не трогая деревьев, а только порой отклоняя и подвязывая мешающие сучья. Человек может достигать значительного улучшения своего быта применением к делу вещей, не имеющих цены, — т. е. даром. Так поступают фабриканты бумаги и вигони, превращая грязные тряпки в блестящий товар, так поступает ключница, объявляя при оказии в город, что *свечей нет*. Каждое из этих двух слов, сказанных своевременно, равняется экономии одного рубля. Что такой образ действия применим и в общественном хозяйстве, поясним примером. В нашей местности мировые учреждения действуют четвертый год и на съезд не поступило ни одной жалобы на медленность судопроизводства. Никто не жаловался на неполучение повесток и заочных решений. Кто же развозил все эти тысячи конвертов? Местное крестьянство? или почта на земские деньги? Никто или, лучше сказать, ни *то*, ни *другая*. Первый способ был бы новым видом натуральной повинности, а второй более чем удвоил бы расходы земства на мировые учреждения. Границы нашего участка в трех глав-

ных направлениях отстоят от судебной камеры верст на 30 и только в четвертом — верст на 20. Приняв во внимание уклонения от главных направлений, какие до цели назначения должен совершить отдельный конверт, надо по каждому тракту держать не менее 3 верховых, давая их лошадям по 4 гарнца овса. Таким образом, каждый наемный верховой обойдется земству не менее 200 рублей, а 12 человек почтовых не менее 2400 рублей. В уезде 4 участка, и потребовалось бы 9600 рублей расходу сверх ассигнуемых на содержание судей и их канцелярий. Как же мы делаем, чтобы и овцы были целы, и волки сыты? Говорим лично за себя. Мы подражаем ключнице, вовремя заботящейся о свечах. Никто более истца не озабочен верной и скорой доставкой повестки ответчику. В большинстве случаев сосед жалуется на соседа, и, кроме того, всякий истец если не сосед ответчика, то чей-нибудь сосед. На этом основании каждый раз возникает следующий разговор. «Вам угодно это поскорее?» — «Да, сделайте милость». — «Если посылать через волость или через полицию, то надо назначить более

продолжительный срок, а если вы потрудитесь сами вручить конверт местному сельскому старосте или соцкому, можно назначить разбирательство на послезавтра, а вы или поверенный ваш представите второй экземпляр повестки с распиской в получении первого». — «Очень рад. Мне все равно ехать мимо». — «Уж кстати потрудитесь передать старосте и этот пакет по другому делу». — «С великим удовольствием». Что *великое удовольствие* истца не фраза, можно увидать из следующего сопоставления. Граница Малоархангельского уезда от нас примерно в 20 верстах. Иски и обвинения против соседей не редкость; в случае доставления повесток истцами дело может быть решено на другой, много на третий день по заявлении жалобы. Проследим теперь официальный путь повестки. Положим, что от судьи она пройдет за 25 верст до становой квартиры один день. У станового, отправляющего конверты раз в неделю с сотским во Мценское полицейское управление, повестка может пролежать неделю. Сотский провезет ее за 35 верст до городу день. При всей исправности чиновников она

пролежит день в управлении и день в почтовой конторе и затем проедет назад по чугунке в Малоархангельск день. Итого 12 дней. Прибавьте такую же процессию по Малоархангельскому уезду — получите 24 дня да столько же для обратного следования второго экземпляра повестки, до получения которого нельзя приступать к разбирательству. Выйдет 48 дней. Ввиду всего этого нельзя назначить разбирательства ранее 2 месяцев. Как это удобно, например, при жалобе на уход рабочих во время хлебной уборки!

Мы убеждены, что большую часть недосмотров, оказавшихся при быстроте водворения самых хороших вещей, также легко устранить какою-либо практической мерой, нередко *несколькими* словами. Мы, например, по поводу незначительных краж сомневаемся в практической пользе тонко-юридического различия понятий: *со взломом* и *без взлома.* Сомневаемся также, чтобы крестьянин с достаточною ясностию понял, что жалоба его *о выпущенной бочке масла, на 100 рублей,* так долго не разбиралась вследствие недоразумения судьи, полагавшего, что про-

рубить топором бочку с целью добраться до масла — взлом, тогда как это совсем не взлом, *потому что бочка по отношению к содержимой жидкости — только вместилище, а не хранилище.*

III. Вне службы

На днях один из местных деятелей по окончании мирового съезда любезно пригласил нас в числе других к себе на квартиру отобедать, справедливо заметив, что все лучше, чем в гостинице, посылающей за обедами в рыночный трактир. Собралось человек 10, председатель управы познакомил нас с одним из земских врачей словами: вот, доктор, тот судья, который передал мне полученный вами рецепт от сифилису для испытания на практике. Дело в том, что пишущий эти строки получил сочувственное письмо от незнакомого ему лично мирового судьи чужой губернии по поводу статьи «Московских ведомостей» о сифилисе. При письме приложен был рецепт, коего успешное действие при самых неблагоприятных для лечения условиях

свидетельствовалось судьей. Кроме того, указывалось на двух евреев Могилевской губернии, излечивающих эту болезнь с особым мастерством за 6 руб. платы с человека. В рецепте главную роль играет сулема. Считая нравственной обязанностью оказывать помощь больным посильными средствами, мы, согласно прямому смыслу закона, не только не преследуем в участке деятельность частных благотворителей, но и сами никогда не отказываем в клещевинном масле, липовом цвете, нашатыре, глазной примочке и т. п. и могли бы, в свою очередь, представить список людей, над которыми эти медикаменты производили чудеса. Но давать сулему на собственный страх мы не могли решиться, а потому передали в управу письмо и рецепт почтенного судьи. «Ну что, доктор? — спросили мы нового знакомца. — Делали вы опыты над рецептом?» — «Нет, помилуйте! — тут сулема». — «Так что же?» — «А ну как откроются меркуриальные раны?» — «Да ведь по этому рецепту вылечивались сотни людей — и как знать: откроются раны или нет. Возьмите самого сильно страждущего и испробуйте». —

«Нет, помилуйте, наука этого не допускает». Итак, лечить дорого наука не имеет средств, а прибегать к дешевым лекарствам она не допускает, а управа с радостью заплатила бы еврею по 6 руб. за исцеление больного[9].

«Кстати, — заметил вслушавшийся в разговор хозяин, — некоторые сомневаются в точности ваших указаний насчет распространения болезни. Село Бортное в моем соседстве, и у меня в экономии тамошних крестьян не принимают на работу из боязни заразы».

«А вот и инспектор народных училищ. Позвольте познакомить вас». — «Очень рад». Инспектор стал указывать на странные явления нашего народного обучения. Действительно странно. Вот хоть бы в нашем участке. Помещик пожертвовал на собственном дворе великолепное каменное строение под школу и обеспечил существование школы.

Школа, наверное, пойдет хорошо, а тут же рядом волостная школа существует только по имени в лице одного учителя. В другой волости крестьяне безропотно платят жалованье официальному учителю, а детей учат у себя

по домам через вольнонаемных учителей, отставных солдат и т. п., а в волостную школу детей не посылают.

В иных учитель получает жалованье, но, за неимением учеников, исполняет должность волостного писаря за 50 верст в чужой волости. Если где и загонят на зиму учеников в школу, то, не научась азбуке, они считают себя отбывшими службу и их на следующую зиму ничем не заманишь. «Нет, господа! — воскликнул инспектор. — Все зависит от учителей. Они не умеют заохотить мальчика». Следовали доказательства и примеры.

«Надо устроить учительские школы, приготовить учителей, тогда все пойдет иначе». — «Позвольте, — заметил один из собеседников, — вкратце доложить о судьбе нашей земской попытки приняться за школы». Один из гласных объяснил собранию, что всякое начинание и даже значительная затрата окажутся бесплодными, пока образованный человек не возьмет под свое личное попечительство местной школы и не приложит к этому новому делу знания и усердия. Мысль признана основательной, и в минуту все

школы были разобраны усердствующими лицами за себя и за жен своих. Ожидали чуть не дворцов и резной мебели для школ, вследствие частного соревнования, но такой проект оказался не соответствующим законоположению о народных школах — и вышло: *шла кума пеша.*

«Да, — заметил официальный оппонент, — правительство не может отдать в руки частных лиц бесконтрольное управление такой важной статьи, как народное воспитание». Что же оно делает другое, предоставляя каждому родителю воспитание детей? «Но ведь вы не родитель школы?» Извините, родитель; если я призову к жизни несуществующую школу — я ее родитель и она будет мне дорога как детище. Неудачный антецедент столичных воскресных школ много повредил делу. Но, хвалясь современной реальностью взглядов, мы постоянно забываем главного фактора — среду. Земство потому и земство, что оно земля, т. е. собрание собственников. Кто же видал собственников нигилистов?

Что же касается до земских попечителей школ, то каждый из них будет радоваться

правительственному контролю, избавляющему его от неприятной необходимости указывать соседу на вредное направление его школы. Эту обязанность, бесспорно, лучше исполнит лицо от правительства. Такой контроль может наделе оказаться излишним, но в принципе он необходим как предохранительный клапан. Пусть лицо, уличенное в духовной контрабанде, ответствует перед судом и законом. Но таким законным контролем и должно ограничиваться вмешательство правительства в местное хозяйство. Закон всегда ставится в отрицательном смысле. Он указывает на зло, которого не должно делать, — а не в положительном. Производи что хочешь, но не распространяй миазмов, держи диких зверей, но без вреда другим людям. При вмешательстве правительства или даже земства в выбор часов и метода преподавания или самих преподавателей никто из частных благотворителей не пойдет в кабалу попечительства и не раскроет своего кошелька. Дают отчет в полученном. Попечитель, получивший субсидию, обязан дать в ней отчет, но не более. Ждать от человека добровольного прино-

шения и хотеть распоряжаться его трудом и средствами, по малой мере, нелогично. На такое требование один ответ — пассивное молчание.

Не успел председатель дать необходимые объяснения и обещания инспектору, как к нему уже подступил один из мировых судей, обязанный объезжать участок из-за реки, на которой от сотворения мира не было порядочной переправы, но зато не бывало и мировых судей и земских врачей.

В те времена эта переправа была истинным прибежищем нижнеземского суда, на случай улики в явной проволочке дела. В ответной бумаге неизменно появлялась фраза: *По случаю поводка сообщение прекратилось, а потому* и т. д. Теперь поводки на бумаге стали не нужны, а переправы наделе необходимы. Дорога-то проселочная, но не настолько проезжая, чтобы перевоз мог привлечь частного содержателя, а обязать содержать перевоз некого. «Однако, господин председатель! что ж тут делать? Как же я в поводки буду вызывать тяжущихся или переезжать к ним? Как поедет врач?»

— Погодите. Это надо сделать, но потихоньку, без огласки, а то таких случаев наберется много и, удовлетворив одного, нельзя будет отказать другим, а средства земства...

В это время хозяйский слуга, не ожидавший стольких гостей, стал раздвигать стол и раскинул на нем вдвое сложенную скатерть.

«Вот, господа, с кого нам следует брать пример, — заметил один из собеседников, указывая на слугу. — Он как раз по одежке протянул ножки, а вы раздвигаете стол на большую скатерть, когда у вас в руках только салфетка. Каждый теребит ее в свою сторону, а стол все-таки не покрыт. Еще и доходу нет в виду, а у вас уже пять безотлагательных расходов наготове. Разве есть здесь хоть один, который бы у себя дома так хозяйничал?» — «Что прикажете делать? Ежеминутное развитие потребностей».

— Ну уж извините! Это смахивает на ежеминутное развитие фраз. Разве можно развивать жизнь? Действительно, слабому цыпленку мать помогает разбивать скорлупу, но преждевременно обколупывать недоразвившегося цыпленка значит убивать его.

Подали на стол, и все приступили к закуске.

На другое утро надо было на раннем поезде ехать домой. В общей зале вагона все места были заняты еще спавшими проезжими, которых будить было не для чего, благо нашлось совершенно свободное отделение. На спрос новых газет кондуктор отвечал, что все распроданы, но что в общей зале у всех довольно газет. Отправляясь на поиски, мы увидали господина с газетами в руках, он любезно предложил нам новый нумер. Между спавшими на диванах нам кинулась в глаза старушка в черном поношенном шерстяном капоте и старинном чепце. Морщинисто-желтоватое, но круглое лицо ее напоминало залежалый лимон. Когда, прочитав газету, мы понесли ее хозяину, в общей зале все уже поднялись, но свободные места были заняты пожитками проезжих. Поднялась и лимонная старушка, успевшая накрыть свой бюст старой турецкой шалью, узкая каемка через правую руку, широкая через левую, — словом, живой старинный портрет, нечто вроде бабушки в гончаровском «Обрыве».

От времени до времени старушка пережевывала бесцветными губами, быстро выпрямляла голову и, заглядывая в окно вагона, спрашивала: «Далеко ли до станции, где можно завтракать? Кофею хочу». Мы объяснили ей, что подходим к большому буфету. «А долго ли стоять?» — «30 минут». — «Слава Богу». За кофеем сидевшая с нами рядом старушка усердно принялась за завтрак, причем беззубые челюсти ее, сходясь вместе, почти подводили подбородок к носу и придавали всему лицу вид закрывающегося полного кошелька. С большой станции в наше отделение вошли трое проезжих, которых по внешности нельзя было предполагать в первоклассном вагоне. Между тем кондуктор попросил нас в общую залу, так как эти господа взяли-де четыре места, а всех мест шесть. Избегая излишних объяснений, мы перешли по указанию и просили господина, снабдившего нас газетой, снять шубу с противуположного дивана. Старушка уже пересела на ближайшее от нас кресло, против молодой брюнетки, державшей в руках две книжки английского журнала. Очутившийся напротив нас госпо-

дин ехал, как оказалось, к далеким угольным копям. Между нами завязался разговор о народном земском хозяйстве, заинтересовавший, по-видимому, и других проезжих. Не выдержала и старушка, сказавшая перед тем несколько фраз брюнетке на прекрасном французском языке, и в свою очередь с большим оживлением вступила в разговор. «Это вы все земство хвалите, господа?! Я ведь этих дел не знаю. Теперь все гласные, согласные, безгласные и разногласные. Они все речи говорят. Лично я ничего против них не имею. В Париже я много слыхала речей в палате депутатов. Но ведь наши невинные ораторы это не какие-либо *Мираба*, у них нет ничего вредного, а любят речи говорить. Встанет и — и - начнет говорить. Никто его даже не слушает, а он-то старается. За ним подымается другой, и того тоже никто не слушает. А потом даже в умиление приходят и целуются. Ты, говорят, отлично сказал. Нет, ты еще лучше сказал. Ни тот, ни другой ничего не слыхал. Все это прекрасно и невинно, — но зачем они меня к этому приплетают? Я их не трогаю, а говорят мне, что я должна платить за их речи». —

«Позвольте, сударыня! Ведь у вас есть посредник?» — «Как же! 1500 рублей получает!» — «Ну так как же не платить? Ведь он развел вас с крестьянами?» — «Он мне только все спутал и испортил. А мне пришлось все распутывать. Я и распутала и кончила. Он только мужикам речи говорил, зато до сих пор жалованье получает, хоть и речей-то говорить стало некому». — «А мировые учреждения у вас введены?» — «Как же! Мировой судья тоже 1500 рублей получает, все речи говорит и ничего не делает». — «Помилуйте! — вступилась брюнетка. — Вот уж это несправедливо! Они завалены делами». — «Какое завалены! Они их сами сочиняют, лишь бы речь сказать. У меня крестьянин сводил лес и ломал поросль. Я к мировому. Пошлите, говорю, чиновника освидетельствовать убыток». — «Надо, — говорит, — сначала вызвать ответчика и ему речь сказать, когда очередь придет. А когда очередь придет? Может, через 4 месяца. А тут снег выпадет. Что они в лесу увидят? А главное у них на уме: что-де мужичка тревожить? А мужичок тысячами ворочает и вдвое богаче меня». — «Согласи-

тесь, сударыня, что есть разница между новыми судами, в которые доступ открыт всякому, и старыми, в которых всюду было написано: вход воспрещается. Вы можете жаловаться на медленность судьи». — «Помилуйте! Куда я пойду? Чтобы мне речь сказали? Они мне и в Париже надоели». Старушка говорила таким убедительным тоном, что возбудила общую веселость. Приехали к нашей станции. На платформе мы встретились с управляющим опекунским имением *Чижовым*, тоже возвращавшимся с мирового съезда, на котором по трем искам ему была присуждена довольно значительная сумма. «Позвольте спросить, — обратился к нам Чижов, — чем кончилось наше дело?» — «Как, чем кончилось? Мне сказывали, съезд утвердил все три решения и вас можно поздравить». — «Покорнейше благодарю». — «Да меня-то за что? При ваших делах меня и на съезде не было, а они разбирались с участием прокурора». — «Все-таки ваше решение утвердили». — «Полагаю, что съезд не утвердил бы противуположного решения».

Вернувшись днем раньше против обыкновенного, мы на станции не застали своих лошадей. «Не угодно ли доехать на моей? — спросил Чижов. — Тут недалеко». — «Покорно благодарю, но вы-то как же?» — «Мне надо по делу пробыть здесь часа два, а к тому времени лошадь моя вернется». Работник подал довольно удобные пошевни, и добрая лошадка пустилась рысью по узкой дорожке. «Ты, брат, не очень гони лошадь-то. Ведь ей еще назад, да к вам домой надо». — «Я вас довезу, а на станцию вернусь шагом». — «Ты годовой, что ли?» — «Нет, я недавно нанялся, до Святой». — «В работники?» — «Нет, на конюшню, да вот выехать. За 10 рублев». — «А летом дома будешь жить?» — «Дома. Я ведь *заплотскит*». — «Стало быть, ты у меня в Марьиной работаешь?» — «Как же, работаю. Осенью у вас под ригой на машине молотил». — «Ну, брат, молодец! Чем зиму-то дома сидеть, на одежонку заработаешь да хлеба не ешь». — «Как же — вестимо». — «Ты какого двора?» — «Потаповых». — «Это вы у меня под рощей опекунскую землю снимаете?» — «Как же». — «Ну, ребятки, снимать снимайте, дело хоро-

шее, а вот что вы казенный рубеж подпахиваете — это дело дрянь. Я уж говорил вашим молодцам, да все им неймется». — «То-то наш брат глуп-то». — «Однако, по глупости, вы не бросаете недопаханной нанятой земли». — «Как же можно?» — «Так ты скажи своим ребятам, как бы им, по глупости, на все лето *в кутузку* не попасть. И стыдно, и убыточно будет». — «Вестимо!» Проехав в конец деревни Глебовой, мы увидали высокого крестьянина в новой черной свитке, в рукава сверх полушубка и высокой ямской шапке, силящегося пройти с большой дороги в свою крайнюю избу. Снегу нанесло много, а ноги, видимо, не слушались хозяина. Длинные рукава свитки упрямо сползали через кисть руки и, мотаясь в воздухе, наподобие подстреленных крыльев, помогали равновесию. Пациент явно возвращался от ближайших постоялых дворов, отстоящих саженей на 150 от Глебовой. Взглянув перед собой по дороге, мы увидали целый гордиев узел человеческих тел, хитросплетенно державшихся друг за друга и подвигавшихся нам навстречу. «Что нынче за праздник?» — невольно спросили мы малого.

«Денег много — вот и праздник, денег девать некуда», — внушительно заметил малой. Признаемся, мы караулили какой-либо выходки против смиренной лошадки или возницы, но гордиев узел, со страшным усилием, свернул с узкой тропы и, когда мы поравнялись с ним, приветствовал наше шествие каким-то ревом лирического предназначения. Неужели вызвать их завтра и всех оштрафовать? С какой целью? Отучить пропивать лишние деньги? Не отучишь. Вредного для других они ничего не сделали. Но могли сделать. На этом основании можно оштрафовать весь род человеческий огульно.

IV. Деревня летом — рай (Грибоедов)

Хотя земной рай вещь субъективная и относительная, тем не менее смысл грибоедовского полустишия ясен. Автор указывает на созерцательное спокойствие духа, вызываемое материяльным довольствием, невозмущаемым безмерными требованиями столичной жизни. Всего необходимого в изобилии. Приходит оно в руки само собою. Наслаждайся природой, чтением, охотой. Если ты работал в городе, отдохни летом в беспечном бездействии, а если в городе ничего не делал, продолжай это занятие более дешевым способом в деревне. Таков был для большинства землевладельцев идеальный деревенский рай. Нечего говорить, что подобное положение неминуемо вело за собой беспомощную скуку и апатию, ставившую себе противуположный идеал городской суеты и гоньбы за всевозможными призраками. Таков был идеал деревенской жизни до освобождения крестьян. Но прилагать его в настоящее время к

сельскому быту — значит не иметь о последнем ни малейшего понятия. Если переживаемый нами период может быть вернее всего охарактеризован задачей: *делать все из ничего*, то в земледельческой деревне, у корня всего государственного дерева, эта задача должна чувствоваться сильнее, чем где-либо. *Рук нет, людей нет.*

Вот постоянный наш припев. Чтобы правильно судить о положении современного сельского хозяйства, надо навсегда выбросить из головы всякие образы и соображения другого порядка вещей и сказать себе: это коммерческое предприятие, подобно всякому другому, ни более, ни менее. Только с этой, единственно справедливой точки зрения могут быть объяснены и поняты многие явления нашего сельского хозяйства. Усиленная конкуренция всюду приводит ко всевозможным выдумкам и уловкам, доходящим до рекламы и шарлатанства. Являются папиросы, конфекты, журналы и ноты с сюрпризами. Что это значит? Надо во что бы то ни стало поймать покупателя. То же самое во всевозможных видах происходит в деревне по отно-

шению к рабочему, этой редкостной птице *(гага avis)* нашего времени. Каких сюрпризов и соблазнов для рабочего нет у нанимателя! Картофель, капуста, яровой корм, пастбища, ягоды, женские наряды, земля, водка и деньги вперед — словом, трудно придумать заманчивую для рабочего вещь, которая не была бы уже пущена в ход. Положительных цен на известный сельский труд, даже приблизительно, во многих случаях не существует. Так, на вопрос: что стоит в нашей местности связать десятину ржи? — придется отвечать так: цена эта зависит от вашей расторопности и юркости, от времени, в которое вы нанимаете рабочих, от степени их нужды в деньгах во время заключения условия. Совокупность этих условий до того изменяет цену труда, что ловкий хозяин вяжет свое поле по 60 коп. за десятину, а ищущий в то же время вязальщиков к переспелой ржи рад, что нашел их по 6 руб. с десятины.

Он был рожден для жизни мирной,
Для деревенской тишины, —

говорит Пушкин. Заглянем на минуту в эту тишину. Конец июля. Хлеб давно поспел, но постоянные дожди мешают уборке, ухудшая ее с каждым днем. Хлеб все более ложится и путается. Там или сям ретивый хозяин, вдоволь намучившись наблюдениями за причудами барометра, при первом проблеске солнца послал за 20 верст вызывать крестьян на условленную вязку. Смотришь, вереница телег с бабами, молоком, хлебом и квасом расположилась по загону. К позднему обеду иная семья успела связать две копны полусырой ржи. Сели обедать — дождь полил как из ведра. Рабочие забились под телеги и просидели там до следующего утра. Небо окончательно заволокло. Люди окончательно перемокли и, решив, что, *видно, не разгуляется,* запрягают лошадей и отправляются домой. Впрочем, это исключение. Жалоб на рабочих нет. Но мало-мальски опытный судья знает, что [это] затишье перед бурей, которая тем страшнее разразится над его головой, чем продолжительнее будет ненастье. Наконец барометр поднялся, и солнце второй день печет с безоблачного неба. Еще в 3 часу утра та-

бун мимо наших окон пробежал в поле. Семь часов. Надо бы узнать, в каком положении собственные работы. Но об этом и думать нечего. Вот-вот нагрянут. Действительно, по двору раздается конский топот и в окне мелькает белая лошадь, вслед за ней несется гнедая, за гнедой рыжая. Через минуту на каменном крыльце раздаются отрывистые удары, напоминающие пистолетные выстрелы. Так и есть. Выстрелоподобные звуки производит мешковский, безногий хохол на деревяшке. На гнедой приехал хрящевский прикащик, воспитанник Горыгорецкого института, а на рыжей молодцеватый и рыжий бурмистр мецневской экономии. Дверь приотворяется, но безногий хохол останавливается за порогом. «С жалобой?» — «Точно так». — «Войдите в камеру». — «Не приказано входить. Деревяшка у меня гвоздем подбита, так я полы ковыряю». — «Ничего. Войдите. Нельзя через порог разбирать жалобу. Ну что? Степановские не выходят на работу?» — «Точно так. Рожь сыпется, другой день езжу, только пять дворов выехало. Деньги забрали еще до Рождества, а теперь никак не вызовешь. Сделай-

те милость, помогите». — «Вот вам повестка к сельскому старосте, чтобы сейчас выгонял на работу или явился ко мне с тремя выборными на разбирательство. Отдайте повестку, и если тотчас не пойдут на работу, явитесь сюда. Явятся или не явятся ответчики на суд, тотчас разрешу производить уборку на их счет». — «Помилуйте! кого ж мы найдем? Теперь и за 6 рублей никто не пойдет». — «Наймите за 7 рублей». — «А с кого ж нам просить эти деньги?» — «С ответчиков». — «Да что с них взять-то?» — «Ну, батюшко, об этом будет время думать, а теперь надо вылезать из беды. Может, дело и мирно обойдется. Время горячее. Поскорей везите повестку». — «Счастливо оставаться. Мигом сомчу». По двору раздается топот ускакавшего хохла. Хохол прав. С неисправного плательщика-некрестьянина суд возьмет все: землю, строения, рабочий скот и инструменты, словом, что под руку истца попадет. А с крестьянина? Ничего. Продать у него всего сказанного нельзя. Юридически это было бы справедливо, но в действительности оказалось бы полным извращением настоящего порядка вещей, одинаково ги-

бельным для всех членов народного хозяйства, начиная с истцов. По закону истец может указать на излишний скот истцу и т. д. Но могут сказать, что все это описано за казенную недоимку. Кто это станет и может проверять в чужом ведомстве? Вот почему судьи, к помощи которых прибегают в критическую минуту, так боятся этого рода дел, ясных с юридической и безвыходных с практической стороны. «Вы тоже с жалобой на степановских?» — «Точно так-с, — отвечает горыгорецкий воспитанник, — сделайте милость, помогите! Я человек семейный. Матвей Матвеич, сами изволите знать, они этого в резон не принимают. Ты, говорят, деньги раздавал. Это твое дело. Ты, говорят, неспособен. Ну, а так сказать, будь я действительно способен, что я тут поделаю? Еду к вам сегодня мимо мешковского поля, глядь, а этот самый степановский *Козорезов* преспокойно у них на десятине вяжет. А он первой осенью у меня под отработку деньги забрал. Я еще его спрашивал: не нанялся ли ты куда? Заклялся, забожился. Выручи, говорит, родимый! Сампять, говорит, выйду. За два дня ублаготво-

рим. Ублаготворим! Ан он и у Мешковых тоже забрал. Отбивать на соседнем загоне рабочего как-то не приходится. А уж вы сделайте милость». — «Послушайте, вы человек грамотный и так часто были здесь на суде, что заявлять невозможные требования вам не приходится. Вы слышали сейчас мой ответ хохлу. Я могу вам дать разрешение нанять сторонних рабочих. Наконец, выдать вам, согласно условию, на ответчика исполнительный лист, что же я могу сделать больше?» — «Помилуйте! Да у меня на этого Козорезова за недопашку ваш исполнительный лист другой год лежит; был я с ним и в волости. Все говорили: непогода, хлеб у крестьян не молочен, а теперь уж и хлеб съели, а ваш лист все валяется». — «Да ведь вы, верно, обдумали, чего вы просите?» — «Уж пожалуйте и мне повестку. Намедни в сенокос пожаловали повестку, слава Богу, полегчало. Духом собрались». — «Вот вам повестка, и желаю, чтобы с вас было снято подозрение в неспособности». — «Покорно благодарю». Горыгорецкий уходит, бормоча: «Вот беда-то! вот горячка-то!» В таком же роде объяснение с рыжим

бурмистром и затем то же самое и то же самое ежедневно, до конца уборки. Крайнее, лихорадочное напряжение рабочих сил представляет в это время не исключительное, а повсеместное явление. Что же сказать о людях, своевременно не заручившихся рабочими? Их ожидает ни с чем не сообразная плата за уборку окончательно спутавшегося и осыпавшегося хлеба, т. е. хозяйство в чистый убыток. Можно ли предполагать, чтобы человек добровольно ставил себя в подобное положение? Пока мы разбираем чужие экономические затруднения, в собственном нашем хозяйстве возникают однородные явления. «Прикащик пришел». — «Что тебе надо?» — «Да вот, не знаю, что с кухаркой делать! Сами изволите знать — по контракту годовая, а вот уж в третий раз уродничает. Не хочу, говорит, жить. Намедни к больной свекрови отпросилась на два дня, — пробыла неделю: тогда хоть можно было поденных баб нанимать, а теперь горячая пора и за рубль никто не пойдет. Завтрак, обед, полдник и ужин да четыре пуда хлеба каждый день. Народ с поля вернется — только подавай. Как же ее в са-

мую рабочую пору отпустить? Народу не евши быть невозможно. Прежде все-таки резон принимала, а вот недели с две толкует: не буду жить, да и все тут. Свекровья, говорит умерла, в доме никого не осталось». — «Как же ты мне до сих пор ничего не сказал об этом?» — «Да она целое лето проуродничала. Что ж мне вас всякий день беспокоить? А теперь не с коротким пристала — к вам просится». — «Позови ее сюда». — «Она около крыльца». У крыльца действительно стояла кухарка и за ней крестьянин. «Отпустите меня, батюшко, домой». — «А тебе что надо?» — спрашиваем мы крестьянина. «За невесткой пришел. Двор весь обмер. Мать умерла». — «Из волости есть удостоверение?» Мужик подал формальную бумагу. «Ты что же, матушка, за две недели не объявила?» — «Вот другую неделю брешу Лаврентьичу, а теперь уж до твоей милости пришла». — «Ты четыре рубля перебрала?» — «Четыре». — «Доставь деньги и ступай». — «Завтра утречком предоставим», — говорит мужик. «Тогда и невестку забирай». — «Вы изволили ее отпустить? — спрашивает прикащик по уходе кухарки. —

Как же это возможно?» — «Ты грамотный, прочти вот эту статью и скажи: можно ли ее не отпустить?» — «Да что статья? Статья нам завтра народа не накормит». — «Это наша забота, а как представит четыре рубля, так и отпусти». — «Слушаю-с», — отвечает уходящий прикащик, подымая руки, наподобие мокрой курицы, тщетно собирающейся лететь. «Все это прекрасно, — подумали мы, проходя через двор к конюшне. — Закон удовлетворен, но в действительности назавтра создается трагикомедия, из которой выхода можно только ожидать от слепого случая». Не знаем, сколько времени мы простояли в мучительном раздумье перед конюшней.

Из-за угла последней показалась женская фигура в поношенной ситцевой кофте, в таком же платке на голове и с грязным узлом в руке.

Первою нашею мыслью было: уж не посылает ли нам сама судьба кухарку? Женщина прямо шла на нас. «Что тебе надо?» — «Да вот, сказывали, не здесь ли *мировая судьба* живет?» — «Я судья. Что вам угодно?» — «Произношу вашей милости жалобу об своей

обиде». — «Говорите скорее, мне некогда». — «Жила это я у гречихинского священника в кухарках». — «И теперь, как видно по узелку, отошли?» — «Отошла, батюшка, и прямо к вашей милости с жалобой». Господи! — подумали мы. — Какую прекрасную женщину нам Бог посылает. «В чем же дело?» — «Обижена, батюшка, кругом обижена. Полпуда замашек моих там осталось. Сулили коты и онучи, 1 р. 40 к. деньгами да головной платок. А все по наговору. Дьячковская работница. У них там скот падает. Все она, дьячковская работница, коровы передохли, а я-то свою все на рубеже держала. Травки где схвачу, — тпружинюшка-матушка! Вот через это через самое. Как прищучил меня на огороде, так я свету белого не взвидела. Морда гадкая, с рогами и с хвостом. Уж ён меня! — все рогами-то». — «Кто такой он?» — «Вестимо — ён самый — нечистая сила. Измаял». — «Я вас прошу сказать: кто такой он?» — «Да все она». — «Кто такая она?» — «Да он самый, рогатый, с хвостом». — «Я перестану слушать, если вы не будете говорить толком, кто этот рогатый — он?» — «Да она же, батюшка, она, дьячкова работница.

Уж ён меня мучил. Цыборку, говорят, украла. А я им цыборку на огороде нашла, до половины землей засыпана. Совестно, видно, стало, вот и разочли». — «О чем же вы просите?» — «Прикажи мне, сироте, отдать зажитое». — «Вы за сколько в год жили?» — «За шесть рублей». — «Пройдите в канцелярию, там запишут вашу просьбу и вызовут священника. А ты, матушка, чем теперь места-то искать, становись ко мне в кухарки, благо моя отходит». — «С великим удовольствием», — и новая кухарка отправилась к должности. По сведении взаимных счетов священник был принужден к уплате кухарке 10 копеек, но так медленно и трудно лез за кошельком, что мы сочли более удобным, с разрешения ответчика, самим удовлетворить истицу. «Покорнейше вас благодарю», — с низким поклоном отвечал уходящий ответчик.

Кстати заметим, что кухарка у нашего предместника по хозяйству получала, по ее словам, обужу, одежу и 3 руб. в год; следовательно, не дороже 9 рублей. У нас она стала получать 12 рублей, а в настоящее время женщина, исполняющая эту должность, по-

лучает 2 рубля в месяц. В такой же мере возросла и наемная цена работника.

Говоря о сельских хозяевах, поневоле приходится иметь в виду людей недостаточных или же среднего состояния. Богатые землевладельцы, к сожалению, большею частию не живут в имениях, а если временно в них и проживают, то не в качестве сельских хозяев. Что касается до землевладельцев средней руки, то крестьянская реформа совершенно изменила не только их хозяйственный быт, но и самые приемы общежития. Прежний владетель 1000 десятин счел бы неприличным встать при гостях из-за обеденного стола для исправления какого-либо недосмотра прислуги, на которые он в крайнем случае только указывает глазами, или, что еще хуже, оставя гостя одного, бежать по поводу каких-либо распоряжений. Дело понятное. Стол окружала даровая, привычная и многочисленная прислуга, а неотложимых распоряжений не существовало. Если бы дождик помешал чистить сад, то староста погнал бы людей дрова колоть, падрины подбивать и т. д. В настоящее время они, кроме сада, никуда не пойдут,

да еще надо с ними уговориться, когда и на каких условиях они снова придут в сад. Тогда никто не приходит за деньгами, а теперь пришел и скорей удовлетворите его, а то не только он не придет, да за ним другой усомнится. Таких вопросов у сельского хозяина ежечасно по нескольку. Желающий во что бы ни стало сохранить *decorum* хозяин, чувствуя, что вы любезным визитом его грабите, в душе проклинает и вас, и мнимое приличие. Впрочем, сила вещей и тут взяла свое. Большинство деревенских хозяев уже перестало стыдиться своего ремесла, и «извините, Бога ради, я сейчас вернусь» стало ходячею монетой, которая и выдается и принимается ежечасно, без малейшего смущения.

Положение сельского хозяина наряду с другими производителями исключительное. Только он один, в отношении к рабочим силам, идет по непрестанно проваливающейся дороге, только он один поставлен лицом к лицу к несостоятельному ответчику, который в случае своей недобросовестности может причинить нанимателю неисчислимый убыток. Зажиточный крестьянин в работники

нейдет — идет неисправный. В настоящую минуту перед нами просьба о взыскании с не явившегося на работу крестьянина 12 рублей задатку и по 50 копеек в день неустойки, итого 27 рублей. Можно ли требовать, чтобы наниматель не жаловался на нарушение условия? Все рабочие разбегутся. А есть ли надежда на получение 27 рублей? Полагаем, что нет, или из 10 вероятностей только 2 в пользу получения денег, а 8 не в пользу. Заметьте, что строгое требование через суд исполнения условий открывает перспективу остаться без желающих поступить в работники. Таково ли отношение хозяина к хлебному рынку? В начале минувшего декабря нами изготовлено было в продажу 500 четвертей овса и продано с доставкой к 15 января. Следовало продать 600 четвертей, т. е. обмолотить еще 100 копен овса в течение 1 1/2 месяцев. В нашем хозяйстве рабочие были наняты, деньги давно уплачены, и без особого напряжения должно обмолачиваться от 40 до 50 копен овса в зимний день. Таким образом, рассчитывать на двухдневную работу из 45 дней не значило брать на себя неисполнимое. Тем не менее

мы ограничились продажей 500 четвертей, и, как оказалось, пессимизм выручил нас из беды. С начала декабря стояли оттепели, затем поднялись метели и праздники, затем сборы в волости по случаю рекрутства, снова метели и наконец ясная погода. Во вторник на всеедной раскрыли скирду в 150 копен. Помолотили день — погода ясная, но мороз дошел до 30 градусов, и бабы нейдут молотить. Как же быть? «Помилуйте. Тут всей работы на два дня осталось». — «Да ведь я это с ноября слышу». И раскрытая скирда простоит за Масленую, перебьется со снегом, т. е. изгадится. Увлекись мы теорией вероятностей, так, пожалуй, и заплатили бы за недоставку 100 четвертей могущий произойти для покупателя убыток. Не приводя новых образчиков ежечасных треволнений, в которых осужден жить сельский хозяин, признаем несомненный факт, что рай праздной лени, поэтической обломовщины менее всего осуществим в деревенской тишине, если живешь в ней не гостем, а деятелем.

Говоря о земледелии, мы не имеем в виду отдельных лиц или сословий, а рассматрива-

ем только этот основной, чтобы не сказать единственный, источник нашего народного благосостояния. При этом сам собою возникает вопрос: какие пути проложила или хотя наметила эта промышленность в продолжение последних 10 лет? Таких путей или способов производства мы знаем четыре.

1. Обработка всего или, по крайней мере, ближайшего поля наемными работниками.

2. Наемка крестьянских обществ от десятины.

3. Отдача крестьянам полей исполу — и наконец

4. Сдача крестьянам земли в аренду.

Первый способ самый дорогой, хлопотливый и требующий значительного оборотного капитала, зато, как ближе подходящий к ферменному хозяйству, заключающий в себе задатки всяческого развития. Только при нем вы полный хозяин севооборотов, качества пашни, приемов уборки, количества скота и удобрения. Только при нем возможно применение усовершенствованных орудий. Только при нем земледелие имеет будущность.

Второй способ, удерживая главные преимущества первого, как, например, возможность скотоводства и удобрения полей, и требуя меньшей затраты капитала, влечет за собою дурное и несвоевременное исполнение работ, а иногда и совершенное неисполнение договоров.

Третий способ, уносящий половину зерна, корму и топлива из хозяйства, влечет за собою уменьшение в хозяйстве наполовину прежней его производительности.

Что касается до четвертого способа, то хотя он и носит громкое название арендаторства, но в сущности представляет высшую степень расхитительного хозяйства, при котором ни скотоводство, ни удобрение полей уже немыслимы. При значительности запашек черноземной полосы хозяева по обстоятельствам должны придерживаться одного из четырех способов или держаться нескольких единовременно. Справедливость заставляет признаться, что большинство хозяйств проходит упомянутую лестницу способов, не восходя, а нисходя по ней. В нынешнем году, например, земледельческих работников

окончательно нет. Спрашивается, куда они девались? или лучше сказать: где причина такой наклонности земледельческой промышленности к упадку? Главной причиной явления все-таки возрастающий недостаток рук. Вспомните, сколько новых отраслей промышленности возникло в последние 10 лет. Укажем только на железные дороги, черпающие весь громадный контингент из той же земледельческой среды. Кроме того, вера в собственные силы увлекает к более самостоятельному труду, чем труд простого работника. Правда, подобный расчет часто оказывается ошибочным. Но ошибаться свойственно человеку. Говоря о причинах наклонности нашего земледелия к расхитительному хозяйству, вытекающих из неотвратимых явлений современной жизни, не можем пройти молчанием таких, которые сопровождаются полным сознанием. Мы говорим о явлении, получившем название *абсентизма.* Нам могут сказать нашими же словами, что *абсентизм* такой же вентилатор свободного человека, как и всякий другой и, наверно, менее предосудительный, чем пьянство. С этим мы

вполне согласны. С точки зрения сельского хозяйства мы вполне помирились бы с громадными расходами абсентизма, если бы этот вентилатор был обращен во внутрь страны, т. е. хотя в окончательном проявлении перестал быть абсентизмом. Представьте себе, что все миллионы, широким потоком безвозвратно текущие за границу, изливались бы вовнутрь страны, и вы поймете, насколько оживились бы все отрасли промышленности. Хотя абсентизм, как всякая мода, спускаясь в низшие круги, принимает уродливый вид, тем не менее он составляет как бы привилегию самых крупных собственников. Указывая на этот громадный вентилатор, ежеминутно выветривающий огромные капиталы за границу, в ущерб нашему народному хозяйству, не можем согласиться с людьми, утверждающими, что для страны все равно, проживаются ли богатыми потребителями доходы дома или за границей. Самый неверующий может воочию убедиться из бесчисленных примеров, каким образом чужие капиталы могут поддерживать благосостояние в самой непроизводительной среде. Развали-

ны древнего и дворцы средневекового Рима питают современный. При временном отливе иностранцев Рим переживает экономический кризис. Кроме прямого влияния абсентизма на наши хозяйства есть и косвенное, вредящее земледелию не менее ощутительно и наглядно. Ввиду различных земледельческих обществ и даже земледельческой академии, стоящей правительству значительных издержек, мы вправе заключить о его заботливости по отношению к земледелию. Выступая на такой дорогой путь, правительство очевидно превзошло законные упования, какие земледельческая среда могла возлагать на него. Там, где нет возможности не только удобрить поле, но и вспахать его удовлетворительно, земледельческая академия — по малой мере блестящее украшение, коринфская колоннада, за которой скрывается холодная станционная изба с разбитыми лошадьми и повозками. Ни в каком коммерческом предприятии, а тем более в земледелии, способы производства не в состоянии заменить хозяина. Вся задача в хозяине, и его личный интерес лучше всякой академии заста-

вит его обратиться к наилучшему по обстоятельствам способу производства. Доставьте хозяину возможность быть хозяином, и вы окажете делу неизмеримо более пользы, чем могут оказать академии, кафедры, выставки, призы и медали. В этом смысле новые законы о найме рабочих, о порубках и потравах принесли земледелию гораздо больше пользы вышеупомянутых средств поощрения. Итак, в земледелии главным и незаменимым двигателем является *хозяин,* а в абсентизме он-то и отсутствует, *его-то* и нет. Здесь нельзя не заметить странного и как бы противоречивого явления, присущего сельскому абсентизму. Крупный, наследственный землевладелец у нас более всякого другого производителя необходим при своем хозяйстве. Между тем он же единственный хозяин, отсутствие которого не приводит его к неизбежному разорению. Вы купили на 20 тысяч земли с целию получения на этот капитал 10 процентов. К концу года ваш хутор не выручил 2 тысяч оборотного капитала, а такое явление далеко не невозможно. Чтобы вести хозяйство в будущем году, вы заняли недоста-

ющую тысячу. Продолжая хозяйство с подобным же результатом, вы по истечении 10 лет с причислением процентов займа неизбежно дойдете до *нуля.* Тогда как хозяин большой поземельной собственности, остановившись на самом непроизводительном способе хозяйства, не требующем оборотного капитала, может сказать: «Да, я получал 5 рублей с десятины, а теперь получаю 1 рубль, но у меня 10 000 десятин, а в Дрездене жизнь дешева и я обхожусь». Посмотрим, в какой мере поощрительно действует соседство подобных крупных имений на окружающие их мелкие хозяйства, представляющие большинство. Приводим нам лично известные примеры. Имением отсутствующего владельца заведует управляющий. Сказано высылать за границу 10 тысяч. В продолжение двух лет управляющий высылает по пяти — и за то спасибо. Зато в имении последний лес порублен, изгажен и безобразно растаскан мужиками. Хлеб молотится пополам со снегом, следовательно, гуменный корм к весенним оттепелям сгнил и скотина попадала. Наконец выведенный из терпенья владелец является требовать отче-

та. Оказывается, что имение за 2 года дало 20 тысяч доходу, на извлечение которого за это же время израсходовано 22 тысячи, а весь недочет покрыт из капиталу имения. Результат не блестящий, но, чтобы исправить дело, надо самому за него приняться. А как за границу ехать необходимо, то владелец уезжает, и дело продолжается на прежнем основании. Другой пример. В многолюдном селе, в кругу средних землевладельцев, огромным имением отсутствующего управляет прикащик. «Матвей Матвеич! — спрашиваем мы одного из тамошних владельцев. — Вы так нуждаетесь в работниках, а между тем у вас под руками село в несколько тысяч душ?» — «У нас, — отвечает Матвей Матвеич, — и думать нечего нанять работника. Башняковский прикащик всю землю раздает исполу». Земля отличная. Старые навозники. Это бы еще не беда. Мало ли кто раздает исполу. Но тут маленькое обстоятельство, вследствие которого все добиваются взять землю именно там, а не у другого. Нынешней осенью прибегает ко мне крестьянин. «Одолжите, — говорит, — месяца на два, рубликов двести». — «На что

тебе?» — «Да, признаться, — говорит, — мы у башняковского исполники. Так на сторону-то он опасается продавать копны с поля. Сторонним в примету будет. А мы и так с ихнего поля домой хлеб возим. Где ж стороннему за мной усчитать, сколько я поднял? Так он нашему брату по рублю копну ржи продает. Сами изволите знать, лестно за эту цену получить копну, когда она для нас три рубли стоит». «Разумеется, — заключил Матвей Матвеич, — я мужика прогнал, тем не менее у многих крестьян по сю пору стоят скирды копен по 200 из башняковской купленной ржи. Кто ж после этого к вам пойдет в работники из вашего села?» Кстати. Слыхивали ли вы об обработке экономической земли из четвертой копны с тем, что три копны поступают в пользу крестьян и только четвертая в пользу экономии? Между тем в большой экономии под ведомством управляющего нам довелось видеть подобную диковинку. То ли еще бывает! В той же экономии ежегодно накашивается громадное количество сена, из которого оставшаяся к новой уборке без употребления половина *сжигается.* Спрашивается, зачем

накашивать то, чего девать некуда? Ввиду того, что к 15 ноября (к заговенам), т. е. ко времени расчета прежних и найма новых рабочих, цены на рожь бывают низки, а на пшеницу высоки, вы, с большими усилиями приготовив пшеничное поле, собрали 100 четвертей отличной пшеницы. Вы заранее торжествуете. На ближайшем небольшом хлебном рынке вам с удовольствием дадут по 8 р. за четверть. Но не успели вы еще показать образчика, как из-за границы пришла телеграмма в абсентическое большое имение: *«Денег, во что бы ни стало»*. В имении с прошлогодней непроданной пшеницей набралось 2000 четвертей. Вы просите с единственного денежного торговца по 9 рублей, а он отвечает: «Мы эва какую партию купили по шести, а на вашу надо по четвертачку скинуть». Но довольно примеров. Какой же на практике очевиднейший результат абсентизма? И здесь он может быть определен a priori. Человеку, получавшему 2/0 с имения, несомненно выгодно продать его, капитализируя из 5/0, а покупающему из 5/0, выгодно извлекать из него 6/0 или 7/0. Ежедневный опыт показыва-

ет, что на этих основаниях земли крупных владельцев переходят в руки всякого рода мелких промышленников, в том числе и крестьян. Прекрасно, скажете вы, капитал из неумелых рук переходит в умелые. Новый хозяин, заплативший сравнительно высокую цену, не может, не разоряясь, довольствоваться прежнею доходностью имения. С экономической точки зрения возражать на это нечего.

Франция не умела хозяйничать, а Пруссия умела, и результат у всех на глазах. *Деньги к деньгам.* Не все ли равно, стоит ли X или Y во главе предприятия? Но в сущности выходит не все равно. Во-первых, говоря вообще, земли, при подобной перемене хозяина, нисходят на низшую степень способов хозяйства. Высший способ, требующий большой и разносторонней сообразительности, предполагает известную степень умственного и нравственного развития, которой нельзя ожидать в упомянутых промышленниках. Если крестьяне иногда с пользой перенимают рациональные приемы больших хозяйств, то это не более как перенимание, а инициатива все-та-

ки на стороне людей более развитых. Правда, в печати иногда появляются баснословные рассказы о чудесах крестьянского хозяйства, но в сельском хозяйстве такие вести возбуждают только веселость. Так, в № 3 «Современной летописи» от 18 января 1871 года г. Дубенский, говоря о крестьянском и господском хозяйстве в *Опольщине* Владимирской губернии, рассказывает о крестьянских молотилках следующее: «Молотилкам этим недостает махового колеса, а часто веялки. Маховым и в то же время приводным служит одно колесо, которое притом часто делают небольшого поперечника, от чего ход и работа машины тяжела и требует больше силы, хотя работа и чиста. Молотилка при 3-х лошадях и при 2-х или 3-х погонщиках из мальчиков, девочек или стариков и при 6-ти взрослых рабочих, легко вымолачивает в 10 рабочих часов в сутки 6000 снопов *крупной вязи*, если только снопы заранее подвезены в молотильный сарай. В противном случае требуется еще 3 лошади и 3 рабочих, для подвоза. При 6 лошадях и при 10 взрослых рабочих, подростках или стариках, легко успевают вымолотить и даже

сыромолотом вывеять, убрать солому и зерно, в 12 часов в сутки — 6000 снопов». Если бы это было так, то, несмотря на упрек г. Дубенского крестьянским молотилкам в неуклюжести и тяжести, они на деле превосходили бы все существующие молотильные снаряды. Для сравнения возьмем нашу собственную молотилку, которую и по конструкции и по результатам смело можно назвать очень хорошей. В продолжение 12-часовой работы в сухой сентябрьский день в нее запрягают 3 перемены по 4 лошади заводских маток, каких наверное нет у владимирских крестьян; кроме того, две перемены по 3 лошади подвозят снопы и одна или две лошади ходят на веялке, что составляет 20 лошадей. При этом, считая и погонщиков, заняты молотьбой 30 человек, и, если нет задержки, обмолачивается 60 копен, т. е. 3120 снопов. Итак, по словам г. Дубенского, владимирская колотовка, при 1/3 рабочей силы, молотит вдвое более хлеба против хорошей, т. е. превосходит последнюю в механическом отношении в 6 раз. Воля ваша, тут что-нибудь да не так, и едва ли можно строить теории на подобных данных.

Мы указали на матерьяльные неудобства, возникающие при переходе поземельной собственности из рук высшей интеллигенции в руки низшей. Справедливость требует указать и на нравственные, связанные с этим явлением, так как нравственный элемент в жизни связан с матерьяльными ее условиями. В равноправном гражданском обществе всякого рода монополии и привилегии немыслимы, но подобная равноправность не в силах лишить известного рода имущество присущих ему качеств. Как ни тасуйте землевладения, а ему всегда и везде присуще цивилизующее начало. Фразы: «В нашей *местности, округе, участке, губернии* этого не слыхать или так не водится», — слышатся повсюду. Но никто не слыхал тех же фраз в приложении к *нашему переулку, улице* или *кварталу.* Чувство солидарности настолько же слышится в первом случае, насколько его нельзя ожидать в последнем. Самый заклятый крепостник из развитого общества, на словах, а быть может, и на деле, заявляющий себя исключительно эксплуататором поземельной собственности, носит в душе глубокое убеж-

дение, что помимо коммерческих отношений к окружающей среде на нем лежат нравственные обязанности иного свойства. Сила этого сознания возвела и продолжает возводить Россию на ту степень цивилизации, которой она достигла в течение каких-либо 150 лет. Самая печать, беспрерывно обращающаяся к земству с требованиями, конечно, имеет в виду эту интеллигенцию, а не безразличную массу уже потому, что до последней, за ее безграмотностью, не дойдут никакие возгласы. Можно говорить что угодно, но одно незнание или недобросовестность могут отрицать громадные заслуги нашего земства. Земство размеживает, судит, лечит, учит грамоте и т. д. на свой счет, изыскивая, при своей скудости, новые на это средства. Отрицать роль и значение интеллигенции в деле землевладения невозможно. Преградить путь свободному переходу собственности из рук в руки одинаково немыслимо в интересах всех и каждого. Но когда дело идет о желании, можно ли желать, чтобы поземельная собственность переходила к лицам, неспособным удовлетворять нравственным обязанно-

стям, связанным с этого рода имуществом? Негры на плантациях редко жаловались на владельцев, постоянно жалуясь на их приказчиков-негров. То же самое повторялось у нас при крепостном праве. Это не случайность, а неизбежная сила вещей. Мы не видали хозяйства крестьянина, купившего в прошлом году 1800 десятин и собравшегося сломать прекрасную господскую усадьбу. Мы готовы верить, что этот крестьянин отличнейший человек, но вполне уверены, что с его полей никто не увезет лишнего снопа и что он не поцеремонится взыскать следующее ему по закону с своего брата-крестьянина. Зато мы ежедневно видим примеры самой беспощадной эксплуатации крестьян лицами низшей интеллигенции. В этом случае отсутствие преданий образованной среды кидается в глаза и самая грамотность таких лиц оказывается орудием эксплуатации.

«Вот крестьянин Сидоров, — говорит судья, обращаясь к пятерым крестьянам-ответчикам, — ищет с вас 32 рубля, взятых в долг в разное время. Желаете вы формального разбирательства или думаете кончить миром?»

Один из крестьян. Мы и сами не знаем, зачем он нас на суд тягал. Кажется, завсегда ублаготворен нами. Разве мы от долгу отказываемся? Мы ему и дома — говорили. *Сидоров.* Говорить-то говорили, да не отдаете. Ты ничего не калякай, а деньги-то отдай. *Судья* одному и ответчиков: Петров! вы должны 30 рублей? *Петров.* Должен. *Судья.* Когда ж вы отдадите? *Петров.* К Масленой 30, да к Петрову дню 30. *Сидоров.* Нет, я ждать не могу. Мне самому нужны деньги. *Судья.* Петров! я вам рассрочиваю уплату на ваши сроки. *Сидоров.* Нет, я недоволен. *Судья.* Это ваше дело. Но уплата рассрочена. *Петров Сидорову.* Ведь 14 рублей получил проценту? *Сидоров.* Это что? Это годовые за те 30, а за другие 30?

Оказывается, что другие 30 заняты в феврале и им еще и году нет. Ответчики, как видно, далеко не безнадежные плательщики, но при настоящем положении дела человек иного, чем Сидоров, разбора не пустит капитала в такое рискованное дело. Другой пример.

На суде грязно одетый человек, с руками, не знающими мыла, владеющий до 2000 десятин, частью на свое, частью на чужое имя.

Крестьянин другой год ищет с него недоплаченных 100 руб. за раскопку пней и раскирковку поля, по письменному условию, в котором неопытный крестьянин обязался раскирковать землю и *выбрать* коренья. В условии сказано не *выбирать*, а *выбрать*, чего очевидно невозможно исполнить сразу. В прошлом году разбирательство отложено было за невозможностью освидетельствовать поле, засеянное пшеницей. В настоящее время ответчик-владелец доказал, что были выпаханы *два* корня, и потому не только отказывался от расчета по заработку, но требовал условленной неустойки в 200 рублей. На предложение мировой ответчик, засунув грязный палец в карманную книжку законов, восклицает: «Помилуйте, это потачка мужикам! *Какой же это прогресс? Это наш прогресс убежал у лес*». Раскрывая книгу читает: *Договоры должны быть изъясняемы по словесному их смыслу*. *Судья.* Прошу вас воздерживаться от неприличных выражений. *Ответчик.* Извините, господин судья. Мы люди необразованные; учены на липовый грош. Тонко говорить не умеем.

Дело кончается миром. Затем тот же ответчик, являясь в качестве истца, предъявляет штук 20 не исполненных крестьянами договоров. Крестьяне признают неисполнение. Возьмем для примера один. *Судья.* Мироннычев! Вы не выставили двух подвод? *Мир.* Точно. Не выставили. *Судья.* Здесь сказано, неустойки по 1 рублю с подводы. *Мир.* Точно, батюшка. *Судья.* Не желаете ли расчесться? *Мир.* Где ж, батюшка! расчесться? Отработаем.

Луч радости загорается в глазах истца. *Судья.* Не сойдетесь ли миром? *Все крестьяне.* Что ж, мы с великим удовольствием. *Истец.* Господин судья, позвольте нам удалиться для совещания.

Через 1/4 часа стороны заявляют об окончании дела миром. Миронычев обязуется по зимнему пути выставить 4 подводы под хлеб с неустойкой по рублю за каждую. Все остальные мировые в том же роде. Истец знает наперед, что условие будет исполнено наполовину и представит, таким образом, perpetuum mobile. Согласитесь, что редкий владелец из более развитого круга согласится на такого

рода обороты, а если бы и согласился, не имел бы такого успеха. Мы с вами не пойдем в кабак заключать сделки. Мы не знаем в подробности всех домашних обстоятельств данного крестьянского семейства, а эти люди все это знают и всюду пойдут. Виртуозность их на этом поприще поистине изумительна.

Перед судьей 12 человек крестьян.

Судья. Ну что? опять с жалобой на Рыбина? *Все разом.* Что, батюшко! измучил. *Судья.* Не говорите разом. Верно, Артемову опять доверяете говорить? *Все.* Доверяем. Чего же не доверить? *Судья.* Зачем вы, Артемов, ходите ко мне артелью, коли не слушаете моих советов? *Артемов.* Что ж нам, батюшко, делать? Разорил. *Судья.* Сколько вы раз были у меня из-за прошлогодних 362 рублей. *Артемов.* Раз, должно быть, 6 были? *Судья.* Почему? *Артемов.* Да все он бегал от повесток в другой уезд, на другую конторскую карьеру. *Судья.* Получили вы от меня 362 рубля, которые я вытребовал от главной конторы? *Артемов.* Получили. Много довольны. *Судья.* Что говорил на суде поверенный от главной конторы, выдавая деньги? *Артемов.* Да, знать, говорил,

что Рыбин разочтен конторой и она за него больше не в ответе. *Судья.* Что я говорил вам тогда? *Артемов.* Известно что. *Судья.* Что же известно? *Артемов.*, Добру учили. *Судья.* Говорил я вам, что у Рыбина в городе никакого дома и имущества нет и что если вы будете запускать за ним расчеты, то придете опять сюда и получите пустой исполнительный лист? *Артемов.* Говорили. *Судья.* Говорил я, что вы к хорошему хозяину не пойдете, а отыщете такого, с которым придется плакать? *Артемов.* Истинная правда. Говорили. *Судья.* После этого искали вы у меня зимой с Рыбина 175 рублей? *Артемов.* Искали и исполнительный лист получили. Он вот он. *Судья.* А еще что я сделал по этому листу? *Артемов.* Застановили в карьере рыбинский камень. *Судья.* Но много ли, по вашему, было камня? *Артемов.* Рублей на 150, знать, было. *Судья.* Куда же он девался? *Артемов.* Объегорил, т. е. во как объегорил. *Судья.* Т. е. вы же сами на своих подводах свезли Рыбину камень в Орел. Он получил деньги, а от вас ушел, и вы вернулись с пустыми руками? *Артемов.* Знатно объегорил. С тем, что говорит, собственно для

вас делаю. Хочу по-Божьему рассчитаться. Здесь, говорит, с укциону за него и половины, что я вам должен, не дадут, а там, говорит, прямо в конторе получайте у подрядчика. Свалили мы на чей-то двор, а пришли в контору, нас в шею. Вот и исполнительный лист. *Судья.* Теперь кроме этих 175 вы еще наработали у того же Рыбина в карьере на 140 рублей, так или нет? *Артемов.* Так точно. *Судья.* Есть в карьере неподнятый камень? *Артемов.* Какой там камень, с полсаженки плитняку, может, наберется. *Судья.* А где сам Рыбин? *Артемов.* А кто ж его знает? Вот уже недели с две завертелся куда-то. Так мы к вашей милости. *Судья.* Узнайте, где Рыбин, тогда приходите, а теперь не приму вашей просьбы. *Артемов.* Где ж нам его искать? *Судья.* Это не мое дело, вам в просьбе отказано. Ступайте. *Все.* Где ж нам теперь, Господи, суда искать? (Уходят.)

За время нашей судейской деятельности дел до 500 с подобным характером перешли через наши руки. По всей линии Орловско-Елецкой дороги между ст. Золоторевой и Архангельской взысканы в пользу крестьян

по суду десятки тысяч с разных второстепенных и мелких подрядчиков по производившимся работам, и по сей день много исполнительных листов лежат без действия, частью по несостоятельности подрядчиков, а частью потому, что они сумели на полученные из главной конторы деньги накупить недвижимости на чужое имя. Так, один из них, должный золоторевскому обществу более 2000 р., купил, как мы слышали, 400 десятин земли. Между тем жалоб на неуплату землевладельцами задельной платы рабочим почти нет, и не было случая, чтобы правильная жалоба рабочего в этом смысле осталась без удовлетворения.

Причины такого явления объясняются всеми условиями подобных исков. Землевладелец, не рассчитывающий рабочего, рискует остаться без рабочих, которых нанимает постоянно в известном околотке. Иск обращается к недвижимости, которая никуда скрыться не может. Такие дела разбираются в короткий срок, и за неисправность определено законом огромное взыскание с неправого ответчика.

Сказанного достаточно, чтобы судить о степени важности земледелия в кругу других деятельностей. Степень эта так высока, что составляет единственную существенную, тогда как все другие по отношению к ней являются второстепенными и вспомогательными. После потребности дышать, удовлетворяемой помимо воли организма, первая потребность — Ѣсть, т. е. жить, как показывает самое тождество этих понятий и выражающего их глагола в древних и новых языках: — *Ѣсть* и *есть*.

Земледелие, в сущности, не какая-либо потребность жизни, оно сама жизнь. Из этого неоспоримого положения вытекают два следствия. 1-е. В земледельческом государстве поощрять земледелия нельзя, как нельзя поощрять жизнь. 2-е. В таком государстве ни один специальный деятель, если он искренно желает успеха даже своей специальности, не должен ступить шагу, не оглянувшись на земледелие и не сообразив, не может ли это вредно подействовать на последнее. Крестьянская реформа, железные дороги и новое судопроизводство до того изменили корен-

ные условия нашего земледелия, что его без преувеличения можно назвать делом новым. За последние 10 лет оно кидается по всем направлениям, отыскивая новых путей, и не только не отыскало их окончательно, как по отношению производства, так и по отношению к сбыту, но едва ли еще настало время определить эти пути в будущем. Еще далеко ему до того квиетизма рутины, в котором оно покоится на Западе и которым так любовались наши поэты до крестьянской реформы. У нас, где большинство нив находятся в руках, сравнительно с крестьянами, крупных владельцев, последним, теперь или никогда, время взглянуть на это дело со всей сериозностью, какого оно ожидает.

Пора понять ту простую истину, что у нас арендаторов, прикащиков и старост не только нет, но надолго и быть не может. Все эти люди у нас могут только быть посредствующими орудиями хозяина и могли быть самостоятельными деятелями только в области рутины. Но туда, где первым деятелем является нравственная личность, где любовная, справедливая и цивилизующая деятельность

неминуемо должна ложиться краеугольным камнем всего дела, посылать вместо себя другого — немыслимо. Отсутствующий владелец еще может, с грехом пополам, держать себя так, чтобы пензенские его арендаторы или прикащики его любили, но послать туда такого прикащика, который вызвал бы любовь окрестного населения к отсутствующему неаполитанцу, мудрено. В этом случае личный интерес первого крупного землевладельца-крестьянина или мещанина выставит его непобедимым конкурентом, хотя и в ущерб общему делу. Там, где дело идет об цивилизующем призвании землевладельческой среды, из которой исходит суд и главные земские деятели, нельзя вместо себя посылать другого. Тут надо или добросовестно отказаться от дела, или, запасшись основательным общечеловеческим образованием, какое дают одни университеты, поступить на добросовестное служение. В этом случае высшее университетское образование далеко не прихоть, не роскошь, какими оно было до реформы, а насущная потребность, которой обойти нельзя, если у страны есть будущность. Не служебная

карьера с ее чинами, а самое дело этого требует, и нельзя достаточно благодарить настоящее Министерство народного просвещения за его сериозный взгляд на высшее образование. Можно положительно сказать, что терпимое прежде: «Мы все учились понемногу чему-нибудь и как-нибудь», к которому, и то с фехом пополам, могут быть приравнены какие-то *мнимо-реальные* гимназии, отныне не может быть терпимо в качестве условий для публичной деятельности. Ремесленники могут учиться *чему-нибудьи как-нибудь*, но люди, призванные вести народ по всевозможным путям преуспеяния, обязаны пройти школы высшего образования. Если современные землевладельцы этого не поймут и, увлекаясь мыслию, что вовеки веков можно отсидеться в местном кругу личных вкусов и удовольствий, то таким неверным расчетом они не изменят сущности дела, а только на неопределенное время задержат неизбежный ход его. Крестьянин, купивший 2000 десятин на берегу Оки, сначала хотел сломать прекрасный господский дом и уничтожить усадьбу, а теперь просит за нее 30 тысяч и го-

ворит, что продать ее — значит изгадить все имение. Если он сам, ходящий летом в бараньей шапке, в один год понял, в чем дело, и держит для сына рысаков, при наезднике в 25 руб. в месяц, то поверьте, что внук его силою вещей будет приведен на лекции Пиндара и философии. Не напоминает ли вам, читатель, этот крестьянин с сыном другого, выведенного Аристофаном в «Облаках»?

И там рысаки и новая обстановка жизни вынуждают отца отдать сына в школу Сократа. Ничего нет нового под солнцем, и сила одинаковых обстоятельств приводит к одинаковым результатам.

Единственно в интересах земледелия решаемся сказать несколько слов об одном из важнейших вопросов, стоящих теперь на очереди. Мы говорим об общей военной повинности. Эта мера может как прямой источник народного образования оказать стране неисчислимые благодеяния. Она ослабит то безнравственное чувство отвращения к делу государственной обороны, которое заявляло себя в народе такими действиями, как, например, членовредительство. Но всех этих благ

можно только ожидать при одном условии. Сроки службы должны быть уменьшены до последней крайности, но зато в течение этого срока человек должен быть непрерывно на службе. Если трудно однажды в жизни оторваться от насиженной среды, то подвергаться таким хозяйственным кризисам по нескольку раз — слишком тяжело.

V. Матвей Матвеич

Можно ли во всех отношениях лучше удовлетворить предсказаниям, чем исполнил это 1870 год, ныне канувший в вечность. Всю осень дождь лил как из ведра. Хлебная уборка производилась урывками и с необыкновенным напряжением, а молотьба с половины сентября должна была остановиться до морозов. Около половины ноября, в ненастную погоду, по невылазной грязи, нам с письмоводителем пришлось ехать верст за 30 на разбирательство щекотливого дела, требовавшего осмотра на месте. Хотя мы стороною знали, что все дело было salto mortale промахнувшегося подрядчика и гражданский иск ос-

новывался на неопределенном выражении контракта, а уголовное обвинение оказывалось чистой клеветой, но как клевета относилась к женщине, пользующейся всеобщим заслуженным уважением, то задача состояла не в одном оправдании обвиняемой, а в непременном, безусловном окончании дела мировою. Порядочная женщина не может равнодушно относиться к тасканию ее имени по публичным заседаниям хотя бы вследствие явной клеветы, и суд не должен упускать из виду этой стороны дела. Разбирательство было назначено в доме обвиняемой. Ночевать там было негде, а произвести осмотр и обмер в поле, спросить до 30 свидетелей и разобрать сложное дело, проехав по невылазной грязи 60 верст, все это в один день тоже невозможно. К этим соображениям присоединилась боязнь за женское судоговорение, отличающееся, как бы это покороче сказать, — излишней субъективностью. Размышляя о способах избежать двойного неудобства, мы остановились на мысли ночевать на полупути у Матвея Матвеича и просить его принять на себя защиту знакомой ему особы. Матвея

Матвеича Хрящева я знал еще лихим гвардейским корнетом, владетелем славного в свое время орловского жеребца Ашонка. В настоящее время Матвею Матвеичу лет под 40. Он давно в отставке, отец семейства и ревностно принялся за устройство наследственного имения. Хорошо владея новыми языками, особливо немецким, он много и с толком читает, но охотно говорит только о практических сторонах жизни. Подвижной, как ртуть, он дома не посидит на месте и постоянно ищет производительного занятия. Он вечно в поле, на гумне, в коровнике, в саду или в кабинете за письменным столом над контрактами, планами, со счетами, ключами или деньгами в руках, а не то на крыльце пред собравшимися рабочими. Даром он не истратит лишней копейки, но там, где предприятие обещает успех, он не задумается пустить в оборот тысячи. Лет уже десять принялся он перестраивать свою старинную усадьбу, каждый год у него стройка, и, надо сказать правду, все строится отлично. Ближайшие соседи Матвея Матвеича говорят: дай Бог ему поскорей отстроиться — он так пристрастился к по-

стройкам, что, когда у него нечего будет строить, он, верно, перестроит наши усадьбы. Еще до открытия в нашей местности железных дорог мы все покупали сажень березовых дров по 8 рублей. Матвей Матвеич по поводу значительного маслобойного производства запасся большим количеством березовых дров. «Матвей Матвеич, почем берете сажень?» — «По 12 рублей». — «Да ведь это в 1 1/2 раза дороже нашего!» — «А по-моему, вдвое дешевле. Я принимаю сажень у себя на дворе, а вы в лесу. Там он вам наберет лицевую сторону сажени, а сзади и не смотри; да кроме того, что ему за дело, что при. перевозке у вас раскрадут дрова. А тут он три раза в неделю приедет посмотреть, куда идет его лес. Посмотрите-ка мою кладку. Если вы хоть одно лишнее поленце поместите в мою сажень, я заплачу вам 100 рублей».

Все переняли методу покупки дров у Хрящева. Разумеется, несмотря на свою практическую деятельность, Хрящев при непрестанном отыскивании новых путей дела нередко попадал в непроходимые места. Но в таких случаях он упорно молчит об убытках. На

словах он постоянный оптимист.

После обеда выехали мы из дому и часов в 7 вечера, впотьмах, добрались до усадьбы Хрящева. У главного подъезда большого дома нас кто-то окликнул. «Тут, верно, нельзя пройти?» — спросили мы сторожа. «Точно так, — стройка». — «Покажи, любезный, где же можно пройти». — «Пожалуйте за мною на тот конец». Тарантас шагом зашлепал к противоположному углу дома. Из погреба мелькнул фонарь и, ползя к нам навстречу под проливным дождем, освещал скользкую полоску по грязи положенных досок. «Ниже свети!» — крикнул фонарю дворник, помогавший нам выйти из тарантаса. «Извольте ступать по доскам», — прибавил тот же голос, обращаясь к нам. Держась рукою за месившего грязь дворника и стараясь не соскользнуть с узкой тропы, мы припомнили Блондена на канате. Доски привели нас к дверям подвала. «Сюда, пожалуйте сюда», — сказал фонарь, освещая скользкие каменные ступени. Хватаясь за что попало, мы стали спускаться. Дверь отворилась, и мы очутились в каменном подвале, слабо освещенном ручною лампой.

Оглядевшись немного, мы увидали вверху подвала светлое отверстие, к которому вела новая, девственно-чистая лестница. На верхней площадке, в ярком освещении, стоял Матвей Матвеич. «Извините, ради Бога, — торопливо проговорил он нам навстречу. — Хорошо, что вы нас предупредили. У нас такой хаос с этой постройкой. Как вы не сбились с дороги в такую ужасную погоду? В бельэтаже до сих пор нет свободного утла, и потому позвольте вас просить на мезонин, который доведен до степени обитаемости». Пока мы раздевались, Матвей Матвеич уже засуетился по другому поводу. «У вас назначено разбирательство, — сказал он, обращаясь к нам, — но где же вы будете разбирать?» — «Здесь, в этой передней: чем это не камера? Прикажите только поставить стол и стулья, а в портфеле у нас все нужное для разбирательства». — «Этим я сейчас распоряжусь, — сказал Матвей Матвеич. — Если вы обедали, так пойдемте наверх к жене и сейчас подадут самовар». — «Нет, лучше покажите ваши работы в бельэтаже. Отсюда слышно, как там строгают, пилят, рубят, — а потом прямо приступим

к разбирательству. Тяжущиеся, верно, собрались. Дел немного и в перспективе самовар и отдых. Так будет гораздо удобнее и приятнее, чем наоборот». — «Пусть будет по-вашему», — отвечал Матвей Матвеич, отворяя дверь во внутренние покои, наполненные рабочими. Мы вступили в царство досок, взгроможденных паркетин, стружек, кирпичу и пыли. Все работы производились в наилучшем виде. Видно было, что хозяин ничего не жалеет и зорко за всем следит. «Кажется, — смеясь заметил Матвей Матвеич, — первым на разбирательстве явится ваш давнишний знакомый, бывший воспитанник Горыгорецкого института, мой прикащик на отдельном хуторе. Набрался он разных умных слов, но в сущности довольно бестолковый человек. Намедни устраивали на хуторе новый колодезь с насосом. Приезжаю и вижу, что дело не ладится. Спрашиваю, не послать ли за мастером? „Помилуйте, — отвечает горыгорецкий, — зачем же? Это так просто — при давлении на рычаг образуется в трубке цилиндра торичеллиева пустота. Я это сам могу устроить“. С тем я и уехал. „Ну что, — спрашиваю я

через два дня, — уладил насос?“ — „Нет-с. Нижний клапан как-то не ладится“. — „Эх, брат, — говорю я, — торичеллиева пустота-то, я вижу, у тебя в голове“. Он меня ужасно боится».

Импровизированная камера была готова. Горыгорецкий обвинял крестьянина в угрозе нанести ему удары бывшим в руках рычагом и в произнесении слов: лошади твоей хвост отрезали, так смотри, как бы тебе голову не отрезали. Крестьянин ничего не отрицал, говоря, что был пьян и ничего не помнит. Свидетели подтвердили обвинение. Обвинитель даже обиделся предложением мировой. Услыхав, что крестьянин приговорен к месячному аресту, горыгорецкий пришел в негодование. «Помилуйте, я недоволен!» — восклицал он. «Чем?» — «Как же можно: ну если б он мне голову отрезал? Матвей Матвеич сказал, что он семью бы мою кормить не стал. Говорят: и тебя-то даром кормлю». — «Это сюда не относится. Вы недовольны, подавайте отзыв на съезд. Но едва ли это к чему-либо приведет: присуждена высшая мера взыскания». — «Помилуйте!» Через час разбиратель-

ства кончились и тяжущиеся ушли. Явилась баба лет 50. «Что вам угодно?» — «Уйми ты его, батюшка, отец родной!» — «Кого?» — «Мужа моего лиходея. Пропил он меня грешную совсем. Тащит все из дому. В прошлую субботу пошла я в чуланчик, глядь — из моего сундука пробой вырван и холсты повынуты. Говорю ему: это ты, разбойник, холсты повытаскал? Я, говорит, а тебе что за дело? — говорит. А у меня, мой батюшко, в одном холсте зашито было 15 рублей. Жизнь свою положила на эти деньги. Недоела, недопила, их припасала на черный день, а он, враг-то, пропил холст и невдомек, что там деньги». — «Куда же он его снес?» — «Да кто ж его знает?» — «Были вы в волоста?» — «Была, батюшко! Говорят: отбузуем тебя розгами, коли опять придешь. Все мужнино, и ты сама мужнина». — «Не могу принять вашей жалобы. Это волостное дело». — «Куда ж я теперь пойду?»

В коридоре нас встретил Матвей Матвеич. «Мой рядчик, плотник, хочет обратиться к вам с жалобой. Рабочий из соседнего уезда взял у него 15 рублей задатку, на работу нейдет и все говорит: отдам деньги, а не отдает.

Нельзя ли ему помочь?» — «Можно. Он сейчас получит повестки, а завтра вечером разберем».

В мезонине Матвей Матвеич с обычными извинениями указал на предназначенные нам спальни, не нуждавшиеся, по полнейшему комфорту, ни в каких извинениях. Через коридор в большой, еще не штукатуренной комнате любезная хозяйка ожидала нас за самоваром.

Только тот, кто в осеннюю ночь езжал по нашим черноземным проселкам, поймет, как отрадно войти в светлую, теплую комнату к приветливым хозяевам — и наслаждаться контрастом непосредственно окружающего с тем, что происходит за надежными стенами. Не будучи записным архитектором, можно было полюбоваться изяществом плотничьей и столярной работы в комнате. «Ну, батюшка, Матвей Матвеич, честь вам и слава. Такой добросовестной работы нам давно не приходилось видеть, да еще среди степи».

«Ведь хлопотливо! — воскликнул Матвей Матвеич. — Я довольно терпелив, а и мне надоело с нашим народом — это ад».

«Очень рад вашему восклицанию. Оно дает мне повод предложить вопрос, на который жду откровенного ответа. Я знаю, что у вас нынешней весной сожгло грозою конюшни и скотный двор и что все это в отличном виде выстроено вновь. Скажите, возможно ли было все это исполнить в период, следовавший за крестьянской реформой и предшествовавший новому судопроизводству?»

«Вы хотите, чтобы я в вашем лице сказал комплимент новому суду?» — «Вы шутите, а я говорю серьезно». — «А серьезно тут не может быть сравнения. Теперь трудно, а тогда было невозможно. Мировые судьи нам необходимы, как пугалы на огороде, хотя в степи подчас далеко и трудно до них добраться. Признаюсь, самого меня подчас подмывает дать какому-нибудь сельскому деятелю тумака, но как подумаешь, что дело может дойти до суда, — и положишь гнев на милость. В первое время реформы некоторые хозяева так и нанимали с *боем*, но теперь юридические понятия распространились и такими незаконными вставками не пестрят условий».

«Да, господа! человек вечно недоволен настоящим, но хорошее и худое узнается по сравнению».

«Не хотели ли для сравнения отведать этих кренделей?» — заметила хозяйка.

«На то и суды, чтобы охранять нас», — заметил Матвей Матвеич.

«Бесспорно. Но только общество нередко требует от судей помощи там, где у них руки связаны. Там, где они развязаны, — дела идут гладко. Вспомните потравы. Это были формальные войны с ночными набегами, засадами и кровавыми отступлениями. Теперь о подобных вещах не слыхать. Прошлым летом мещанин подал жалобу на крупного землевладельца, которого стадо зашло на пар истца и, следовательно, не могло причинить большого убытка. По расчету в повестке значилось, что за мнимую потраву следует с землевладельца 40 рублей. Знаете ли, какой был результат?»

«Очень хорошо знаю, — отвечал Матвей Матвеич. — Тесть мой, потому что дело идет о нем, прислал со старостой письмо, со вложением 40 рублей в пользу истца. Это так.

Эта статья в порядке, но вы сказали, что судьи лишены возможности помогать нам, насколько бы желали. Я не догадываюсь, на что вы намекаете?»

«Тут нечего намекать. Стоит только указать на недостаточность солидарности между судом и исполнителями другого ведомства, например: полицией и волостными старшинами. Мы можем их предавать суду за известную каплю неисправности, и суд, после долгой переписки, присудит известную каплю взыскания, невзирая на то, что эти капли падают проливным дождем и в совокупности портят дело. Этого мало. У вас в руках исполнительный лист. Вы являетесь к исполнителю, и тот прямо вам говорит: „Дай 25 рублей — сейчас взыщу, а без этого не поеду“. Вы идете к судье. „При ком он это говорил?“ — Разумеется, глаз на глаз. — „Не угодно ли возбудить формальное дело?“ — Клевета на письме. — „Как вы мне посоветуете поступить? — спрашивают судью. — У меня украли хомуты, выдернув пробой из притолки“. — „К следователю“. — „Взлом“. — „Неподсудно“. — „Но ведь следователь приедет, пожалуй, че-

рез полгода, когда все следы воровства исчезнут. Вы бы тут же на месте и скоро разобрали дело. А то пойдут таскать прислугу в свидетели в уезд — и все-таки кончится ничем. Не можете ли вы разобрать?“ — „Не могу“. — „Ну так я и заявлять не стану полиции“. — „Как вам угодно“. Можно еще указать на неудобство другого рода. Вы едете по степи. Над вами произведено насилие. Вы жалуетесь сторонним лицам, свидетелям происшествия, но по обстоятельствам не можете остановиться и ехать к судье. Обстоятельства со всеми уликами доходят до судьи — и он не может ничего сделать, потому что нет обвинителя. Знаете Чижовскую гору, на старой Курской дороге?»

«Как не знать. Около самой дороги земство отдало песочную карьеру рядчику на Елецкую чугунку — и они там, рядом с дорогой, разрыли страшный овраг».

«Про этот-то овраг я и хочу рассказать. Прикащик подрядчика вместо того, чтобы считать свою работу пришельцем на большой дороге, стал считать проезжих пришельцами и между прочим остановил малороссі-

янина с воловыми подводами под предлогом, что фуры, проезжая по дороге, преградили путь песчаным подводам. Хохол был явно в своем праве. Он ехал по большой дороге, но прикащик требовал с него штраф за минутную приостановку возки, а когда хохол на это не согласился, отнял у него свитку и ушел в карьеру. Если б хохол был на лошадях, то, оставя обоз на постоялом дворе, поехал бы к судье за 24 версты, но на воле ехать некуда. Поплакал, поплакал, да и пошел с обозом далее. Все это происшествие было мне известно, но что я мог сделать без обвинителя? В сущности, тут до грабежа один шаг — но не грабеж, а самоуправство. Что касается, — заметил Матвей Матвеич, — до разрозненности судебной власти с исполнительной, то для нашего брата, степняка, это обстоятельство является источником бесчисленных затруднений. Но не надо упускать из виду, что эти затруднения лежат не в законодательстве, а в нашей земской бедности. В городах этих затруднений нет. Закон прямо указывает на вполне зависящего от судебной власти исполнителя, судебного пристава, а мы, по бедно-

сти, содержим одного такого пристава при мировом съезде, возлагая его обязанности по уезду на становых за небольшую приплату к их казенному содержанию и на волостных старшин без всякого вознаграждения. Что ж удивительного, что всякое решение, вошедшее в законную силу, попадая в совершенно чуждую сферу полиции, а тем более волостного правления, подвергается, смотря по обстоятельствам, новому процессу осуществления? Сделайте так, как говорит закон. Поставьте всюду ваших судебных приставов, и весь этот ералаш прекратится».

«Вы правы, Матвей Матвеич. Указанное вами средство вполне законно и радикально. Жаль только, что оно связано с двойным неудобством — новыми, значительными расходами для земства и в большинстве случаев несообразным с ценою иска обременением крестьян. Судебный пристав *едет* взыскивать с крестьянина рубль и по тому самому вынужден взыскать с него до четырех рублей вознаграждения в свою пользу. Итого вместо рубля пять. А волостной старшина взыскивает на месте без всякого вознаграждения. По-

этому предоставить мировому суду право наложения на исполнителей штрафа, хотя бы в размерах пяти рублей, едва ли не практичнее. Тем более, что подчинение волостных судов мировым судьям в апелляционном порядке — одна из насущнейших потребностей. Вы знаете, что мировым судьям отбою нет от просителей, недовольных решениями волостных судов. Называя этот суд *лапотным судом*, они прямо говорят: „Вчера сам же он меня ограбил, а сегодня пьяный меня судит“. Кроме того, волостные старшины не умеют или не хотят предать делу суда той серьезности, без которой оно идти не может. Сплошь да рядом ответчики и обвиняемые по несколько раз кряду не являются по вызову суда, а несчастный истец или обвинитель и в полгода не добьется разбирательства. Даже у добросовестных, но безграмотных старшин всем ворочают волостные писаря, нравственный уровень которых, за немногими исключениями, едва ли не самый низкий во всей волости».

«Со всем этим, — сказал Матвей Матвеич, — нельзя не согласиться. Я согласен, что

подсудность незначительных краж со взломом мировым учреждениям избавила бы нас, пустынножителей, от многих затруднений и значительно уменьшила бы самое воровство, но на возбуждение преследования за самоуправство помимо обвинителя я не согласен. Видно, вашему хохлу не довольно тошно пришлось, коли он не поехал жаловаться. Положим, подобные случаи не редкость, но преследование обид, помимо обвинителя, мне кажется, повело бы к большим недоразумениям, как, например: к невозможности окончить дело примирением».

«Вы правы, Матвей Матвеич. Такого рода преследование могло бы быть допущено как исключение при несомненных данных. Но зато, с вашей точки зрения на дело, обидчик поступит наиболее благоразумно, лишив обиженного, без членовредительства, способности явиться на суд».

Старинные английские часы пробили 11, и хозяйка ушла на покой. Вскоре письмоводитель последовал ее примеру — и мы с Матвеем Матвеичем остались одни. «Вы не хотите спать?» — спросил он меня. «Нет. Должно

быть, крепкий чай совершенно прогнал мою усталость и я с удовольствием посижу. Хотя вы давеча, Матвей Матвеич, и повернули мои слова о новом суде в шутку, но я, как сельский обыватель, возвращаюсь к этому, для нас интересному вопросу и прибавлю, что, несмотря на прежнее кулачное право, дела с рядчиками при новых порядках даже лучше, чем были при крепостном праве. Вы, может быть, этого не помните, а я очень хорошо помню. Бывало, к помещику хоть не ходи жаловаться на его крестьянина. Это считалось личной обидой. При патриархальных отношениях это, впрочем, понятно. Также относился эскадронный и ротный командир к жалобе на его солдата, так и до сих пор отец слушает жалобу на сына».

«Вы говорите — я не застал, — воскликнул Матвей Матвеич. — Давно ли это было? Мало ли я повозился с этим явлением? Вы не застали моего дядю Обручева?»

«Нет, не застал, но застал доживающую последние дни его жену Анну Игнатьевну, которая в бездетной старости пристрастилась к дорогим куклам. Помню ее старинный дом,

соединенный с церковью липовой аллеей, проходившей через такой же сад».

«Стало быть, вы, хотя отчасти, знаете обстановку, в которой мой покойный дядя прожил безвыездно лет 20. Предоставив хозяйство крепостному прикащику, Михаиле Ефремову, дядя сам ни во что не вмешивался. Крестьяне его были народ ловкий, частию зажиточный, но по большей части отъявленные мошенники. Принявшись за хозяйство, я, как ближайший сосед, поневоле вступал с ним в разные отношения и иногда принужден был обращаться к дяде с жалобами. Что это была задача нелегкая, вы поймете, узнав образ жизни моего покойного дяди. Дядя мой, отставной флота капитан 2-го ранга, проведя всю жизнь на корабле, перенес свои привычки в наследственный дом и как бы переменил один корабль на другой. Напившись рано утром чаю с ромом, он отворял дверь из залы в гостиную и начинал прогулку из комнаты в комнату, заложа руки за спину. В 12 часов он неизменно произносил: „Анна Игнатьевна! кажется, адмиральский час пробил!“ На это тетка, не отвечая ни слова, подавала

ему ключики от буфета. Выпив порцию, дядя безмолвно возвращал ключи и снова пускался гулять из комнаты в комнату до обеда в 2 часа. После обеда тоже прогулка до чаю и затем до ужина. Летом каждое воскресенье дядя надевал синий фрак с желтыми жилеткой и брюками и отправлялся по аллее в церковь. Молился он усердно и только возмущался торопливостью старого подслеповатого дьякона с разбитым голосом. Каждый раз, когда на ектенье дьякон начинал торопливо бормотать, дядя останавливал его замечаньем: „Ну кто гонит? куда торопится?“ А когда, поминая королеву, дьякон, по старой памяти, поминал и ее покойного супруга, дядя снова восклицал: „Не надо супруга, давно умер. Эка память!“ Во время пребывания дяди в деревне только однажды кучер попытался вовлечь его в домашние хлопоты, и то неудачно. Кучер пришел доложить, что на каретном сарае, над самой каретой, крыша протекла и что надо ее починить. „А я тебя об этом спрашивал?“ — сказал дядя. „Никак нет“. — „Михаиле! дай ему 20 линьков, чтобы он не совался не в свое дело“. Карета сгнила, но ни-

кто уже не пробовал обращаться к дяде. В первое время моего хозяйства я сунулся было к дяде с жалобой на мужика, но увидал, что неприятность выходит большая, а пользы никакой. С тех пор закаялся».

«Из этих слов, Матвей Матвеич, я должен заключить, что вы не отвергаете мнения насчет облегчения экономической деятельности новыми порядками. Либо произвол, либо закон. Закон, ограждающий мошенника от самоуправства честного человека, но не ограждающий последнего от грабительства мошенника, создал бы новое царство произвола в пользу мошенников».

«Все это прекрасно, — сказал Матвей Матвеич, откидываясь на спинку стула. — Никто, более нас с вами, не способен оценить блага нового жизненного строя; блага цивилизации. Но, воля ваша, нельзя подчас не пожалеть о многом хорошем, первобытном, могучем, ежедневно смываемом набегающей волной этой цивилизации».

«Вы, Матвей Матвеич, хотите поднять тему, которую я уже слыхал, а именно: *что из ржи делают спирт, но из спирта невозможно*

сделать прежнюю рожь».

«Это именно я и хотел сказать. Цивилизация такая тычинка, с которой привыкшее к ней растение уже никогда расстаться не может. Дикие лошади сами разгребают снег, добывая себе корм, а попробуйте выпустить на зиму ваш табун. Уцелеет ли хоть одна?»

«Прекрасно, Матвей Матвеич. Не будем спорить против очевидности, но желательно бы видеть образчик той первобытной ржи, которую цивилизация переделывает в спирт».

«Что касается до меня, — сказал Матвей Матвеич, — то при наших ежедневных столкновениях с сельским людом я их вижу на каждом шагу.

Вот один из них. Нынешним летом в сенную уборку мне доложили о приходе отставного солдата, снявшего у меня десятину земли под овес. „Что тебе надо, Терентьич?“ — спросил я солдата. „Пришел попросить, чтобы вы мне простили шесть рублей за овес“. — „Что ты, брат! С ума, что ли, сошел? Ты знаешь, я этого ни для тебя, ни для кого другого не сделаю“. — „А я с тем пришел, что знаю,

что вы для меня это сделаете. Потому что это особ статья“. — „Что такое за статья?“ — „А вот изволите видеть. Был у меня во рту рак, и мучился я с ним года три. Прошлой осенью невмоготу пришло, и свезла меня старуха в больницу в город. Там меня дохтора выпользовали и сказали, если опять откроется, более полугода не проживешь. Весной тот самый рак опять за свое взялся, и стало к зиме мне помирать. Так я думаю своей старухе припасти эти шесть рублей и пришел просить ваше высокоблагородие с меня их сложить“. — „Уж не врешь ли ты, брат? Раскрой рот“. Во рту оказалась страшная язва. „Ну хорошо, прощаю тебе шесть рублей“. — „Ваше высокоблагородие, не будет ли у вас работы косьбы? Уж так расстараюсь, через великую силу. Надо старухе деньжонок припасти“. Терентьич во все время уборки работал неутомимо, заработал своей старухе еще шесть рублей, а после осенних заговин умер».

На другое утро мы стали собираться в недальний, но по времени года мучительный путь.

«Право, не знаю, — сказал Матвей Матвеич, — зачем вы меня-то тащите?»

«Нет, Матвей Матвеич, не отказывайтесь от доброго дела. Нечего вам толковать, что без вас там, кроме путаницы и новых неудовольствий, ничего не выйдет».

Матвей Матвеич как-то сдержанно улыбнулся и велел себе запрягать тарантас. Дорогой, несмотря на дневной свет, кучер Матвея Матвеича таки заехал в такие глубокие колеи, что правое крыло тарантаса оторвалось. В поле, версты за три за барской усадьбой, у спорной песчаной карьеры мы нашли истца-обвинителя и целую толпу сторонних людей и свидетелей. Под мелким осенним дождем приходилось писать обмер и показания. Обвиняемая заявила, что просит Матвея Матвеича быть ее поверенным. «Позвольте, — обратились мы к обвинителю, — взглянуть на документ, на основании которого вы работаете». — «Что касается документа, то я признаю, что подписала его сама», — сказала ответчица. «Вы доверили мне защиту — позвольте мне отвечать». — «Ах! виновата, сделайте милость». В конце документа было ска-

зано: до приступления к работе настоящее условие должно быть засвидетельствовано в волостном правлении, но этого засвидетельствования на условии не оказалось. Окончив громко чтение, мы подумали: неужели Матвей Матвеич упустит из виду это обстоятельство? Тогда придется разбирать дело по существу, т. е. провозиться целый день над бессмысленнейшей кляузой. «Позвольте спросить, господин судья, засвидетельствован ли документ?» — спросил Матвей Матвеич.

Обвинитель: «Мы только сейчас слышали полное признание документа ответчицей, и я прошу господина судью записать это признание в протокол». *Ответчица:* «Я только сказала...» *Матвей Матвеич:* «Позвольте вас спросить — доверяете ли вы мне защиту, или угодно вам самой вести ее?» *Ответчица:* «Ах! извините — я замолчу». *Матвей Матвеич:* «Ответчица признала свою подпись на документе, но как главное условие истцом не исполнено, то есть документ не засвидетельствован, то я не могу признать его законным и считаю всю произведенную работу нарушением права чужой собственности».

Обмер признан тяжущимися верным, и все мы, под дождем и по грязи, потянулись к барской усадьбе. После долгих разъяснений дела нам с Матвеем Матвеичем удалось склонить горячащиеся стороны к мысли о мировой сделке. Начались бесконечные комбинации новых условий, и уже стемнело, когда мир был заключен. Надо было все записать, и поднялись новые споры об отдельных выражениях. Словом сказать, вместо того, чтобы попасть к Матвею Матвеичу к третьему часу, как мы надеялись, мы тронулись в обратный путь в 10 часов вечера в непроглядную темноту и под проливным холодным дождем. Кучера Матвея Матвеича, как более знакомого с местностью, мы пустили передом. Но какое знакомство с местностью возможно в абсолютной темноте? Лошади, продрогнув, чуть не несли, и мы постоянно кричали нашему кучеру, чтобы он не пробил оглоблями переднего экипажа. Ни за какие колеса или патентованные оси нельзя поручиться при такой скачке впотьмах по ямам и выбоинам, и мы каждую минуту могли очутиться на боку, в грязи. «Господи! — воскликнул наш письмо-

водитель, которого, кажется, порядком толкнул верх тарантаса. — Что бы подумал столичный судья о подобном путешествии?» Наконец нам показалось, что мы едем под изволок и, следовательно, подъезжаем к усадьбе Матвея Матвеича. Через полчаса вчерашний фонарь проводил нас в подземелье, и оттуда мы вышли на свет Божий, т. е. к ожидавшему нас до 12 часов ночи обеду.

Те же причины произвели то же действие. Напившись кофею, мы снова засиделись с Матвеем Матвеичем, и разговор, скользнув по известиям с театра войны, перешел на самую интересную для нас тему современного сельского быта.

— Что же, Матвей Матвеич, как же быть с разбирательством плотника? Теперь, верно, уже все спят?

— Виноват! — воскликнул Матвей Матвеич. — Плотник еще давеча просил передать вам, что прекращает иск. Ответчик, получа повестку, уплатил деньги.

— Ну и прекрасно, что повестки так миротворно действуют.

— Да, да, — воскликнул Матвей Матвеич, — дорогой мне пришел на память замечательный образчик старой ржи, и я на досуге хотел вам передать его. Вас не клонит ко сну?

— Нисколько.

— Но ведь это целая повесть?

— Тем лучше.

— Постараюсь рассказать дело, как оно совершилось на моих глазах.

— Я слушаю.

— Филипп Ильин был один из перешедших ко мне, по наследству от тетки Анны Игнатьевны, крестьян. До выхода на выкуп крестьяне, по старому обычаю, приходили к нам на Святой христосоваться и разговляться, и при этом случае Ильин всегда являлся с женой, или, как он говорил, со своей старухой Натальей. Несмотря на принадлежность к распущенному обручевскому обществу, Ильин был, как говорится, хороший мужик. Хотя в праздник при поднятии икон он и напивался не хуже другого, но вел дом в порядке, и домовитая Наталья всегда умела его вовремя увести от народа и уложить в укромном месте. Не будучи богатым, Ильин был

вполне мужик зажиточный. Лошади у него были хорошие, а к его чалому мерину не раз приценялись барышники, и даже один помещик ладил купить его в корень. Но Филипп ни за что не продавал своего любимца. Ни у кого не было таких коров, телят и домашней птицы, как у Натальи. Когда зимой нужно было достать свежих яиц, мы прямо обращались к ней, хотя она неохотно брала за них деньги, под предлогом, что это дело домашнее. Филипп был человек сдержанный и, хотя пользовался уважением общества, никогда не был говоруном на сходке, да и дома работал более молча. Когда я принял их общество, Филиппу было лет 50, а Наталье лет 40. Смолоду Филипп, должно быть, был очень красив, чего нельзя было предполагать о широкоплечей, приземистой и несколько рябоватой Наталье. Детей у них было двое. Красавец сын и дочь Лукерья, напоминавшая мать. Сына они женили на красивой девке Аннушке — из хорошего крестьянского семейства. Страстно любя сына, Наталья с первых дней полюбила красавицу Аннушку, и своя *Лушка* отошла у ней на второй план. Филипп нико-

гда не высказывал своих чувств и даже покрикивал на домашних, но видно было, что он доволен своей семьей. Но недолго пришлось ему наслаждаться невозмутимым счастьем. Через полгода красавец сын его умер от горячки, оставив Аннушку бездетной вдовою. Удар был ужасный. Потужили, потужили старики и увидали, что жить им приходится ни при ком. Все их добро должно после них пропасть, а как Лушке еще и лет не вышло, то и положили они взять в дом приемыша и отдать за него Аннушку. Выбор стариков пал на бобыля Егорку, жившего то там, то сям в работниках. Широкоплечий, рослый, рыжий и проворный, Егорка показался Филиппу надежным работником и сумел понравиться Наталье, а может быть, и Аннушке. Филипп не ошибся. Егорка оказался ловким работником в поле и около дома. По старому обычаю, молодые после свадьбы явились к нам с курами и полотенцами, и мне с первого разу не понравились прыгающие серые глаза Егорки. Но дело было сделано, и мы поздравили и отблагодарили молодых. На Святой Филипп с Натальей пришли христосоваться.

Выпивши стаканчик водки, Филипп стал разговорчивее. «Ну что, Филипп, твой чалый?» — «Слава Богу». — «За зиму-то, говорят, у тебя две лошади пали?» — «Что там пали. Какие наши лошади? Лажу я одну лошадку, вашей милости можно сказать. У шедовского повара заводская кобыла. Шедов-то испугался, больна, говорит. Да задармо ее из завода и спустил. Вот она к повару-то и попала. А повару-то за нее 150 рублей давали. Просил 200. А теперь, слышно, загулял. Вот от этой матки нашему брату — жеребят-то завести. У меня Егорка всеми этими делами орудует. Золотой малый». Егорка действительно достал превосходную вороную кобылу, о которой мечтал Филипп, и в продолжение лета я не раз любовался ею. В то же время до меня дошли слухи, что Егорка один из ревностных посетителей вновь открывшегося кабака, хотя Филипп и не знает всех его похождений.

Так прошло лето. В темную осеннюю ночь, когда в рабочей избе у меня еще не ложились, караульщик услыхал звяканье железа у двери ржаного амбара. Убедясь, что кто-то старается отворить амбар, караульщик тихо

вернулся в избу и пригласил с собою рабочих. Бросившиеся к амбару работники никого не нашли у двери, но побежавшие за амбар схватили бежавшего человека, оказавшегося Филипповым Егоркой. В замочной скважине на двери амбара нашли тонкий железный прут, перегнутый в виде ключа. Егорка в тот же вечер был сдан на руки сельскому старосте. Вы знаете, что подобных вещей, особливо в сельском хозяйстве, оставлять нельзя. Тем не менее я попытался окончить дело домашним наказанием и с этой целью велел позвать Филиппа. «Ну вот, Филипп, мы с тобою глаз на глаз. Скажи мне по душе, виноват твой Егорка или нет?» Филипп, стоявший с опущенными глазами, поднял их на меня и с расстановкой проговорил: «Нет, не виноват». — «Теперь я тебя, Филипп, спрошу другое: можно ли это дело оставить так? Во-первых, у меня собирались обокрасть амбар, а во-вторых, все станут говорить, что твой Егорка пойман на воровстве. Стало быть, надо идти до суда». — «Стало быть, до суда», — отвечал Филипп, разводя руками. Я подал объявление. На другой день Крещения сот-

ский явился к Филиппу вызывать его домашних к судебному следователю, к которому уже перед Рождеством был отправлен Егорка. «Кого ж это требуют?» — спросила Наталья. «Да тебя», — отвечал сотский. «Батюшки», — вскрикнула Наталья, всплеснув руками, и повалилась у стола, около которого стояла. Она не вынесла предстоящего ей позора уголовного суда. Хотя совершенно здоровая до тех пор, Наталья скоропостижно умерла на глазах полицейского сотского, тем не менее дело не обошлось без обычных, особливо в крестьянском быту, тяжелых формальностей. Вы помните, — сказал Матвей Матвеич, — что лет пять тому назад в нашем приходе произошла радикальная церковная реформа, наделавшая много шуму в околотке. Нет надобности говорить здесь об истории, вследствие которой оба штатных священника были переведены на другие места. Тем не менее собственные дома их оставались в селе за ними и за их семействами, и потому возникло большое затруднение, касательно помещения священника, присланного на время для исполнения должности. Новоприбывший маленький и

худенький священник кое-как поместился в каменной церковной сторожке. Понятно, что в качестве исправителя чужих прегрешений он крепко держался формальностей и потому затруднялся хоронить скоропостижно умершую, даже при обстоятельствах, при которых умерла Наталья. Между тем к семейным воплям по Наталье присоединился вой Аннушки по Егорке, посаженном судом на полгода в острог. Филипп ходил мрачный, как туча, но никому не жаловался на свое горе. Так прошло 6 недель, и в доме все приготовилось к поминкам Натальи. Аннушка и Лукерья напекли блинов, нажарили картофелю, а Филипп пригласил священника. Отправив службу, маленький священник снял церковные одежды и вместе с двумя причетниками сел за стол, на который Аннушка поставила блины. Будучи по сану старшим лицом, он первый положил перед собою на особо приготовленную тарелку блин и стал его есть. Но, не съевши и половины блина, кашлянул, захрипел и повалился на лавку. Несмотря на общее желание присутствующих спасти очевидно подавившегося священника, все при-

нятые меры остались безуспешны, и через пять минут на лавке, под святыми, лежал труп священника. На этот раз поднялась суета страшная. Причетники, оставшиеся единственными блюстителями церковного обряда, боясь окоченения трупа, одели его в полное облачение, но поднять из избы Филиппа не решились, и самого Филиппа отправили на подводе за становым. Приехавший за 30 верст становой дозволил отнести священника в занимаемую им церковную сторожку, и хотя не нашел достаточных причин для вскрытия, но не разрешил погребения до уведомления о случившемся духовного начальства; а священника, как преждевременно облаченного, приказал разоблачить. Филиппу снова пришлось отвозить станового за 30 верст по великопостным зажорам и просовам. Измучив пару лошадей, он запряг свежую, и на этот раз в корень попала его любимица, вороная кобыла. Был ли Филипп отуманен всеми невзгодами и плохо сдерживал рьяную кобылу, или дорога была слишком тяжка, но дело в том, что вороная кобыла у самого крыльца станового пристава пала, и

Филипп дотащился до дому на пристяжной. Когда на Святой крестьяне пришли к нам христосоваться, Филиппа между ними не было. Спрашиваю старосту: «Отчего нет Филиппа?» — «Никуда не показывается, — отвечает староста. — Вот и сегодня, в большой праздник, вышел на гумно, сидит под соломенным ометом, лицом в поле и плачет. Мы было зазывали его выпить водочки. „Ну вас, — говорит, — не надо“». Мне, однако, удалось зазвать его к себе, угостить и несколько ободрить, указывая на то, что главе семейства без окончательного разорения нельзя так от всего отказываться. В самом деле, в крестьянском быту и нравственно убитый человек не может оставаться праздным. Филипп снова принялся за хозяйство, а к хлебной уборке вернулся Егорка из острога. В начале овсяной уборки Аннушка пришла к жене моей просить какого-нибудь лекарства Филиппу, который третий день не сходит с печки от засорения желудка. Это было во время утреннего кофея. Набравши всякого рода домашних лекарств, я в полдень отправился сам навестить Филиппа. Еще за порогом избы я услы-

хал его оханье. «Что это ты, Филипп, завалялся? — спросил я больного. — Вставай-ка, брат. Я тебе приготовил отличную десятину овса косить». — «С великою бы радостью, — отвечал больной, — да, видно, дело не к тому идет». — «Что ты! Вот дадим тебе лекарство, и завтра ты опять будешь молодцом». Действительно, я не поскупился на касторку и ушел в полной надежде на хороший исход. Другие занятия отвлекли мои мысли от больного Филиппа, а на следующее утро мне доложили о приходе старухи, соседки Филиппа. «Что скажешь, Матрена?» — спросил я старуху. «Да Филипп твоей милости приказал долго жить». — «Как, умер, когда?» — «Да вчера вечером. Ты знаешь, какое теперь время, рабочего народушку по избам-то никого. Только старый да малый дома, а то все в поле. Вот и я, старуха, осталась с ребятишками. Притворила двери в избу и на задворок и села в сенцах прясть. Вдруг почудилось мне, словно кто-то кличет. Глянула через порог на улицу и обмерла. Через порог торчит в сенцы человечья голова. „Матрена, а Матрена!“ Тут-то уж я по голосу узнала, что это Филипп из сво-

ей избы на руках приполз. „Что ты, Филипп, зачем?“ — „Помирать, — говорит, — хочу. Так пришел тебя попросить: сходи ты к барину, попроси от меня, чтоб он не оставлял моей Лушки“. Проговорил только всего и опять пополз домой. Хотела я ему подсобить подняться. „Не надо, — говорит. — Ноги отнялись. Сам доползу“».

Вечером домашние нашли еще Филиппа в живых, но уже без языка, а часам к 12 ночи он скончался. По окончании хлебной уборки я вспомнил просьбу Филиппа и, позвав сельского старосту, узнал, что опасения покойного касательно судьбы его дочери вполне оправдались. Рыжий Егорка, ставший по крестьянскому обычаю полновластным главою двора, выгонял единственную наследницу из дому, не давая ей ничего в приданое. Принудить его к выдаче наследства законным путем не было возможности. Я решился заманить Егорку в западню. Вызвав его к себе в переднюю через сельского старосту, я приказал последнему, забрав с собою двух сторонних свидетелей, обождать с ними у меня за дверью, в сенях.

«Что ж ты, Егорка, не даешь Лушке никакого приданого?»

«А что ж ей давать? Все мое».

«А холсты-то ее?»

«Холсты Аннушкины».

«Так-таки ничего и не дашь?»

«Ничего не дам».

«Врешь, этому не бывать. Отдай ей половину холстов».

«Помилуйте, за что?»

«А вот за что: ты видишь, дверь на крючке, и я тебя бить буду до тех пор, покуда ты не согласишься выдать холсты».

«Да как же так?»

«Очень просто. Сейчас за виски — и пошла писать».

«Ну, уж, видно, делать нечего, отдам половину холстов».

«У вас корова и телка. Корову оставь себе, а телку ей».

«Помилуйте, за что?»

«За виски».

«Что делать, так и быть, отдам телку».

«Из шестнадцати овец — ей восемь».

«Помилуйте, это разор!»

«Бить буду».

«Да уж извольте, видно, так и быть».

Таким образом, перечислив все приданое Лукерьи, я громко повторил все, следующее ей по разделу, и, заставив Егорку выразить свое согласие, приотворил двери и спросил старосту и свидетелей: слышали ли они, чем Егор награждает Лукерью? «Слышали, батюшка!» Таким образом, при небольшой денежной помощи с моей стороны Лукерья оказалась обеспеченною на счет приданого, а вскорости я узнал, что она идет замуж за односельца, вся семья которого была мне известна с самой дурной стороны. Первым делом моим было позвать Лукерью и всеми мерами постараться расстроить это сватовство. Убежденный в нелепости ее намерения, я указывал ей на безнравственность, на худую славу и на бедность семьи, в которую она шла, предсказывая, что не пройдет году, как и ее имущество будет так же беспутно промотано, а ее ожидает безотрадная жизнь. В продолжение моей речи Лукерья стояла с опущенными глазами и, перебирая руками полу

кафтана, не произнесла ни одного слова. Под конец, убежденный в полном успехе, я спросил: что ж, Лукерья, надо отказаться? Уж я тебе сыщу не такого жениха. «Как же можно, — сказала Лукерья, подымая на меня глаза, — я пропита». — «Кто ж тебя пропил?» — «Сам старик». — «Филипп?» — «А то кто ж».

Напрасно старался я убедить Лукерью, что слово покойного отца, данное во хмелю, не обязывает ее погубить свою молодую жизнь. Ничто не помогло. Она стояла на своем, что такого сраму, чтобы пропитая девка отказалась от жениха, и не слыхивано. Я махнул рукой, и Лукерья добровольно вошла в семью, в которую была пропита отцом.

Приложение

Стихотворения, написанные в Степановке

[Текст отсутствует]

Комментарии

[Текст отсутствует]

Примечания

1

с самого важного (лат.)

[^^^]

2

Есть здесь еще и кухня (фр.)

[^^^]

3

«Русский вестник» 1862 года № 3 и 5.

[^^^]

4

ясно (фр.)

[^^^]

5

ничего, кроме хорошего (лат.)

[^^^]

6

Один еврей стоит двух немцев, один армянин — двух евреев, один русский — двух армян (нем.)

[^^^]

7

«Платон мне друг, но истина...» (лат.)

[^^^]

8

Мы нисколько не выдаем приведенного расчета за математически точный. Для нас важно указать, что ахиллесова пята не на правой ноге, как думает большинство, а на левой.

[^^^]

9

Нам приятно заявить, что в настоящее время на это страшное зло обращено должное внимание и нынешним летом можно ожидать самых утешительных результатов.

[^^^]